

Л У Ч

А л ь м а н а х

В литературном альманахе «Луч» собраны произведения группы литераторов, проживающих в Кливленде, - евреев-беженцев из бывшего СССР. Основными темами сборника являются тоталитаризм и антисемитизм - и то и другое хорошо известно авторам по собственному опыту, которым они считают своим долгом поделиться с читателем.

Составители альманаха Юрий Герт и Яков Липкович.

Произведения, включенные в альманах, печатаются в авторской редакции.

Обложка художника Александры Брин.
Компьютерный набор Галины Беляевой.
Корректор Наталья Тишонко.



*This book is made possible through the generous support
of the Jewish Community Federation of Cleveland*

LUCH

(R A Y)

Collection of literary works

The *LUCH (RAY)* collection comprises the literary works by a group of writers residing in the Cleveland area. They are all Jewish refugees from the former Soviet Union. The basic topics of most of the stories and essays are totalitarianism and anti-Semitism. The authors have first-hand experience living in a totalitarian and anti-Semitic state, which they feel necessary to share with the readers.

Collection compiled by: Yuriy Gert and Yakov Lipkovich.
All the works have been edited by the authors.

Cover design by Aleksandra Brin
Computer layout by Galina Belyaeva
Proofreading by Nataliya Tishonko



*This book is made possible through the generous support
of the Jewish Community Federation of Cleveland*

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
INTRODUCTION	10

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

ИСАЙ АВЕРБУХ (Израиль) Стихи	13
ЯКОВ ЛИПКОВИЧ Мама. Из воспоминаний	21
Большой перегон. Чужой дом. Первая командировка. Рассказы	30
СВЕТЛАНА ДОМБ Carmina Burana. Эссе	51
ВЛАДИМИР ЕДИДОВИЧ (Нью-Йорк). В канун Йом-Кипура. Рассказ . Yom Kippur Eve	53
ЗОЯ ВИЛСОН (ФАЛЬКОВА) Стихи	64
ТАМАРА МАЙСКАЯ INSURANCE. Money Machine	68
На кого я похожа. Рассказы	77
ЛЕВ РАХЛИС (Атланта). Петуховская маца. Главы из поэмы	87
МАРИНА СТУЛЬ На любовь свое сердце настрою. Из воспоминаний	97
РУФЬ ТАМАРИНА (Россия). Стихи	112
ЮРИЙ ГЕРТ На берегу. Лазарь и Вера. Рассказы	115

ИСКУССТВО

ЮРИЙ ГЕРТ Парадоксы Иосифа Суркина. Очерк	143
МАРИНА СТУЛЬ Таланту годы не помеха. Faïna	146
Театр кисти Вадима Немировского	151
Контрасты Александры Брин. Страницы из блокнота	154
ЯКОВ ЛИПКОВИЧ Художник о себе. Очерк	158

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

ИСААК ФУРШТЕЙН Сжатый очерк истории евреев Соединенных Штатов Америки	160
БОРИС КОЛКЕР Мы живем в Кливленде. Очерк	172
АННА ГЕРТ Столыпинская утопия в контексте истории. Российская демократия и разбойный капитализм. Статьи	186
ДЖОРДЖ СОРОС Капиталистическая угроза. Эссе	194
Перевод и послесловие Анны Герт	205

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

ЯКОВ СТУЛЬ Как управлять здоровьем	209
-------------------------------------------------	-----

ИЗ ЗАБЫТОГО ПРОШЛОГО

П.Я. ЧААДАЕВ О МОИСЕЕ	216
Коротко об авторах	218



Еврейская Федерация города Кливленда

От поколения к поколению...

Сделать лучше мир, в котором мы живём

Древние еврейские ценности, такие как *тикун олам* (стремление сделать лучше мир, в котором мы живём), *цедака* (благотворительность) и *чезед* (добро) способствовали сохранению национального единства евреев, разбросанных по всему миру в течение тысячелетий. Именно эти ценности, являясь источником силы и вдохновения, легли в основу создания в 1903 году Еврейской Федерации города Кливленда. Эти ценности лежали в основе работы Федерации по мере того, как она постепенно превращалась в одно из самых крупных в северном Огайо агентств, занимающихся сбором средств, получением грантов и планированием общественной жизни, стремясь сделать лучше жизнь в Кливленде и во всём мире.

Начало

Первые евреи приехали в Кливленд из Германии в 40-х и 50-х годах 19 века. К концу 70-х годов они обосновались на новом месте, открыли синагоги и образовали различные агентства, оказывающие помощь сиротам, инвалидам, старикам. В 80-е годы 19 века эта небольшая община пережила наплыв новых иммигрантов, которые продолжали искать убежища в Америке вплоть до 20-х годов 20 века. Вынужденные покинуть пределы России и других стран восточной Европы из-за войн, голода и преследования, приехав в Америку, эти люди стали широко использовать социальные агентства, синагоги, и благотворительные организации для того, чтобы выжить и построить новую жизнь в Америке.

Организации эти финансировались на деньги небольшой группы щедрых доноров, а также различных социальных групп. Вскоре сбор средств стал весьма обременителен для доноров. В 1902 году было предложено следующее решение: объединить ресурсы и время для создания единой организации, которая скоординирует все благотворительные усилия. Предполагалось, что созданная федерация сможет координировать все усилия по сбору денежных средств, проводя ежегодную благотворительную кампанию с последующим распределением собранных средств. Высказывалось предположение, что единовременный дар мог бы повлиять на множество жизней.

20 ноября 1903 года восемь благотворительных организаций – Jewish Orphan Asylum (позднее получившая название Bellefaire Jewish Children's Bureau), Montefiore Home for the Aged, Denver Hospital for Consumptives, Council Educational Alliance (позднее ставшая известной под названием Jewish Community Center), Infant Orphan's Mothers Society, Council of Jewish Women, Mount Sinai Hospital Hebrew Relief Association (позднее получившая название Jewish Family Service Association) – объединили свои усилия с целью создания Федерации Еврейских Благотворительных Обществ (Federation of Jewish Charities). Во время первой кампании по сбору средств в 1904 году было собрано 41.350 долларов, в то время как в 2001 году во время кампании по сбору средств было собрано 28.853.513 долларов. Собранные средства пошли на финансирование 16 местных агентств, а также на международные программы и помощь в переселении беженцев.

Обеспечение нужд общины

Первоначально предполагалось, что Федерация будет собирать и распределять средства. Но её основатели вскоре решили вменить ей в обязанность дополнительные функции, такие как наблюдение за бюджетом и координация программ, наиболее эффективным образом отвечающих нуждам общины. В 1926 году в связи со вступлением в Федерацию новых членов, она изменила своё название на Еврейская Благотворительная Федерация (Jewish Welfare Federation).

В середине 30-х годов, обеспокоенная развитием антисемитизма в США и за рубежом, особенно в Германии, Федерация организовала агенство – Еврейский Общественный Совет (Jewish Community Council). В его функции входило налаживание отношений с различными агенствами в США и за рубежом, а также создание прочных связей с нееврейскими организациями Большого Кливленда. В 1951 году Еврейская Благотворительная Федерация (Jewish Welfare Federation) и Еврейский Общественный Совет (Jewish Community Council) слились и образовали Еврейскую Федерацию города Кливленда (Jewish Community Federation of Cleveland). Сегодня Федерация активно участвует в решении важнейших внутренних и внешних проблем, а также проводит большую разъяснительную работу, что способствует активному участию еврейской общины в общественной жизни в сотрудничестве с другими культурными, социальными и политическими группами, а также единению всех евреев, независимо от разницы в их убеждениях и происхождении.

Начиная с конца 40-х и вплоть до 70-х годов 20 столетия Федерация сделала очень много для обеспечения роста кливлендской еврейской общины, абсорбировала тысячи евреев, переживших Вторую Мировую Войну и сыграла решающую роль в создании и выживании государства Израиль. Она также сыграла ведущую роль в планировании социальных программ, должным образом распорядившись накопленным капиталом, а именно вложив деньги в строительство нескольких синагог и агенств таких, например, как Центр Еврейской Общины (Jewish Community Center) на Мэйфилд Роуд в Кливленд Хайтс. В это же время Федерация стала создавать различные фонды и программы, понимая, что развитие филантропии является лучшей гарантией её жизнедеятельности в будущем. Сегодня различные фонды и гранты поддерживают новаторские социальные программы и позволяют Федерации и впредь заниматься филантропической деятельностью на благо еврейской общины и населения в целом.

Переселение евреев из бывшего СССР

В 80-е годы 20 века, через 100 лет после того, как первые евреи из России начали прибывать в Кливленд, Федерация под давлением местных активистов сыграла ведущую роль в том, что судьба евреев в Советском Союзе стала центром внимания национальной общественности США. Это послужило началом движению «Отпусти мой народ», результатом которого явилось то, что Советский Союз согласился на выезд евреев из СССР. С 1989 года Федерация помогла более, чем 6.000 евреев из бывшего СССР иммигрировать в Кливленд, а также оказала помощь более, чем миллиону евреев, иммигрирующих из Советского Союза в Израиль.

В этом Федерация тесно сотрудничает с Еврейским Агенством Помощи Израилю (Jewish Agency for Israel-JAFI), Американским Еврейским Комитетом по Распределению, «Джойнт» (American Jewish Joint Distribution Committee, “Joint” или JDC) и ХИАС’ом (HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society). Деятельность Федерации спонсируют тысячи людей, которые делают пожертвования во время ежегодной кампании по сбору средств на нужды евреев (Campaign for Jewish Needs), проводимой Федерацией (и ранее известной под названием кампания по сбору средств в Еврейский Благотворительный Фонд - Jewish Welfare Fund Appeal). Программы еврейских агенств оказывают помощь более чем 80%

евреев в бывшем Советском Союзе; большая часть собранных средств в Израиле также идёт на переселение евреев из бывшего СССР.

Кроме того, Федерация помогает тем евреям, которые остались в бывшем Советском Союзе, возродить иудаизм, который был запрещён в течение 70 лет. Федерация помогает Еврейскому центру в Санкт Петербурге занять ведущую роль в общине и обрести экономическую независимость, пытаясь в то же самое время установить прочные личные человеческие контакты между членами двух общин. Музыканты, художники, врачи, учителя из Кливленда и Санкт Петербурга участвовали в различных программах обмена между двумя странами.

Выделение средств на образование

На внутреннем фронте Федерация предприняла смелый шаг по развитию и резкому увеличению средств, отпускаемых на различные еврейские образовательные программы. Сегодня на повестке дня стоит необходимость помочь тысячам и тысячам детей и взрослых осознать свою принадлежность к еврейскому народу и причастность к его традициям. Федерация также установила очень тесные рабочие отношения с местными синагогами, которые считаются одними из самых прочных в стране.

Сила Федерации состоит в том, что тысячи евреев являются членами различных синагог и других еврейских агентств и самой Федерации, где бессчётное количество волонтеров разрабатывают политику и наблюдают за деятельностью этих организаций, участвуя в работе десятков различных комитетов. На сегодняшний день, благодаря прочным связям между общественными лидерами и профессионалами, создана надёжная система, обеспечивающая согласие, эффективное использование людских и финансовых ресурсов, позволяющая эффективно идентифицировать и решать возникающие проблемы. Участие волонтеров в кампании по сбору средств позволяет Федерации выделять 93 цента с каждого собранного доллара на нужды агентств, которые она поддерживает, что делает эту кампанию одной из наиболее эффективных кампаний по сбору средств в стране.

Во второй половине 20 века Федерация старалась пересмотреть свои ресурсы с целью большего удовлетворения нужд растущей и изменяющейся общины (сегодня в Кливленде насчитывается 80 тысяч евреев). Федерация всё больше обращается ко всем членам общины с просьбой о волонтировании. Федерация стала той общей почвой, которая объединяет евреев любой религиозной ориентации, вырабатывающих совместные решения от имени всей общины в целом. В последнее время всё больше и больше волонтеров принимают участие в работе различных общественных организаций Кливленда таких, как Юнайтед Вэй (United Way), Муниципальные школы Кливленда (Cleveland Municipal School District) и Хабитат фор Хьюмэнити (Habitat for Humanity).

Если посмотреть в будущее

Федерация играет также ведущую роль в пересмотре отношений между еврейскими общинами северной Америки и еврейскими общинами мира. Она наводит мосты между евреями в Кливленде и евреями в других странах, развивая конкретные программы, которые объединяют людей и оказывают непосредственное влияние на их жизнь, например программа дошкольного образования для иммигрантов из Эфиопии в Израиле. Она неутомимо работает, поддерживая право Израиля на существование и помогая народу Израиля выжить и противостоять враждебным силам в ближневосточном регионе.

Устремляя свой взор в 21-й век, Еврейская Федерация Кливленда продолжает, преодолевая время и границы, претворять в жизнь девиз, провозглашённый более 100 лет тому назад её основателями: помочь евреям по-настоящему ощутить себя евреями и сделать лучше мир, в котором мы живём.



From Generation to Generation ...

Making the World a Better Place

The ancient Jewish values of *tikkun olam* (making the world a better place), *tzedakah* (righteousness) and *chesed* (kindness) have sustained the Jewish people around the world for thousands of years. These values, providing tremendous sources of spiritual strength and inspiration, are the foundation upon which the Jewish Community Federation of Cleveland was established in 1903. They remain at its core as the Federation has grown into one of Northeast Ohio's premier fund-raising, grant-making and community-planning agencies, improving lives in Cleveland and worldwide.

The early years

Cleveland's first Jews arrived from Germany in the 1840s and 1850s. By the late 1870s they had settled in, set up synagogues and supported a variety of agencies to care for the orphaned, infirm and aged. In the 1880s this small community was swamped by a wave of *landsmen schaften* ("old country" newcomers) who continued seeking asylum in America until the 1920s. Driven from their homes in Russia and Eastern Europe by war, famine and bloody oppression, the newcomers looked to the Jewish community's welfare agencies, synagogues, and trade and neighborhood charities to survive and build new lives in America.

These organizations were all funded by a small group of generous individual donors and social or civic groups. Donors were overwhelmed by competing and often contentious fund-raising efforts. In 1902, the largest charities proposed a solution: pool resources and time to form an umbrella organization – a federation – of charities. Then, let this federation coordinate fund-raising and allocations for member charities with a once-a-year campaign. One gift, these visionaries said, will touch many lives.

On November 20, 1903, eight charities – the Jewish Orphan Asylum (later known as Bellefaire Jewish Children's Bureau), Montefiore Home for the Aged, Denver Hospital for Consumptives, Council Educational Alliance (later the Jewish Community Center), Infant Orphan's Mothers Society, Council of Jewish Women, Mount Sinai Hospital and the Hebrew Relief Association (later Jewish Family Service Association) – united to form the Federation of Jewish Charities. Its first campaign, in 1904, raised \$41,350; in 2001, the campaign raised \$28,853,513 to fund 16 local beneficiaries and international relief and resettlement programs.

Meeting community needs

The Federation's original mandate was to raise and distribute funds. But founders soon added budgetary oversight and coordination of programs to meet community needs in the most effective and efficient way. In 1926, the addition of new agencies brought a name change – Jewish Welfare Federation.

In the mid-1930s, alarmed at anti-Semitic developments in the United States and abroad, especially in Germany, the Federation created an advocacy agency, the Jewish Community Council. It broadened relations with national and overseas agencies, and started to build strong relations with non-Jewish organizations in Greater Cleveland. In 1951, the Jewish Welfare Federation and the Jewish Community Council merged to create the Jewish Community Federation of Cleveland. Today, the Federation's community relations activities address critical domestic and international issues and foster informed civic participation in collaboration with diverse cultural, social and political groups and individuals, as well as help bring together Jews of all backgrounds.

From the late-1940s through the late-1970s, the Federation took firm steps to ensure the growth of Cleveland's Jewish community, absorbed thousands of Jewish survivors of World War II, and played a pivotal role in the birth and survival of the state of Israel. It took on a community planning role for social services, guiding the Jewish community through the biggest capital-expansion program it has ever experienced, including the construction of several synagogues and agencies such as the Jewish Community Center on Mayfield Road in Cleveland Heights. During this time, the Federation began to significantly build its endowment and foundations program, sensing that increased philanthropy was the best guarantee for future vitality. Today, endowment and foundation grants support innovative services, and the grant-making program is engaging succeeding generations in philanthropic activities that benefit the Jewish and general communities.

Resettling Jews from the former Soviet Union

In the 1980s, a hundred years after the first Russian Jews began arriving in Cleveland, the Federation, spurred on by local activists, took a prominent role in bringing the plight of Soviet Jews to the nation's notice, with a "Let My People Go" movement that resulted in the Soviet Union eventually agreeing to let Jews leave. Since 1989, the Federation has helped more than 6,000 Jews emigrate to Cleveland from the former Soviet Union, and has helped in the *aliyah* (immigration) to Israel of more than 1 million Jews from the former Soviet Union.

These activities are done primarily in partnership with the Jewish Agency for Israel (JAFI), the American Jewish Joint Distribution Committee (the "Joint" or JDC), and HIAS, the Hebrew Immigrant Aid Society, and funded by the thousands of individuals who contribute to the Federation's annual Campaign for Jewish Needs (formerly known as the Jewish Welfare Fund Appeal). Jewish Agency programs reach more than 80 percent of all Jews in the FSU, and much more of its work in Israel involves resettling Jews from the FSU.

In addition, Federation is fostering the rebirth of Judaism among those who choose to remain in the FSU and celebrate a heritage that was denied to them for seven decades. The Federation has partnered with the Jewish community in St. Petersburg, Russia, to help develop communal leadership and economic self-sufficiency, and at the same time build very close, personal connections between individuals in the two communities. Musicians, artists, doctors, teachers and others from both Cleveland and St. Petersburg have participated in exchange programs to visit each others' countries over the years.

Funding education

On the home front, the Federation made a bold policy move to develop and dramatically increase funding for formal and informal Jewish education programs; its ambitious agenda for Jewish continuity today is strengthening the Jewish identity of thousands of youth and adults each year. It also began a working partnership with local synagogues that is the finest Federation-synagogue relationship in the nation.

The Federation's strength lies with the thousands of Jews affiliated with their synagogues, other Jewish agencies, and the Federation itself, where countless dedicated volunteers set policy and oversee the organization through dozens of committees. Today, the partnership of lay leadership and professional staff has created a consensus-building process that makes the best use of human and financial resources to identify and solve problems. Volunteers' participation as fund-raisers is also the reason the Federation allocates about 93 cents of every annual campaign dollar it collects directly to agencies it supports – ranking it among the most efficient fund-raisers in the country.

Throughout the last half of the 20th century, the Federation looked inward to focus its resources on meeting the needs of a growing and changing community (today there are 80,000 Jews in Cleveland). Increasingly, the Federation has been reaching outward and encouraging the Jewish population to engage in volunteerism throughout the community. The Federation has become a common meeting ground for Jews of all beliefs and self-identifications who can work on issues on behalf of the greater community.

Recent programs have matched volunteers to a growing number of Cleveland organizations, such as the United Way, the Cleveland Municipal School District and Habitat for Humanity.

Looking to the future

The Federation also has become an international leader in redefining relations between the North American Jewish community and Jewish communities around the world. It is building bridges between Cleveland's Jews and those overseas through direct, hands-on programming that brings people together and has direct impact on their lives, such as an early-childhood education program for Ethiopian immigrants to Israel. And it is working tirelessly to support Israel's right to exist and help its people survive in a regional fraught with hostility against Jews.

As the Jewish Community Federation of Cleveland heads into the 21st century, it continues to reach out – across time, across the community, across borders – to carry out the mission its founders envisioned almost a hundred years ago: to help Jews connect to Jewish life and make the world a better place.



У НАС В ГОСТЯХ

ИСАЙ АВЕРБУХ

Израиль

ПРИСЯГА ПЕРВОЙ СВОБОДЕ

И - свершилось: среди бела дня
Рассечена железная граница...
Шалом, Свобода! Узнаешь меня?
Иду к тебе, желанная Царица,
К твоим дарам счастливо причаститься.
Готов влюбиться я в твою красу
И поклоняться, как Прекрасной Даме...

Но та, Другая, что в себе несу,
Та, Первая, которую годами
Растил в душе, как сказочную быль,
С которой и в тюрьме свободен был,
С которой, сладчайшею из женщин,
Сошелся тайно, преданно любил
И гордо жил, не будучи повенчан,
Она - со мной...

И нынче ей, Другой,
Испытанной и самой дорогой,
Перед тобой, свободная Европа,
Я присягаю в верности до гроба:
Всегда и всюду быть самим собой!

*27 ноября 1971,
Вена*

* * *

К библейским буквам сердцем я приник,
Душа ивритом жаждет окропиться,
Но в ней царящий русский мой язык
Своею властью не готов делиться.
Который год, живя в родной стране,
Я речь ее позорно не осилю,
Пока гудит он, русский стих, во мне,
Как самолет, несущийся в Россию.

И вновь, отравлен и заморожен,
Целую музу русского барака,
Склоняюсь над нею с поднятым ножом,
Как Авраам - над телом Исаака.

1974,
Иерусалим

РУССКАЯ СОСНА

Россия-мать, Россия-сука!
А.Синявский.

И вновь - Синай. Синай, крутой страницей
В мою судьбу, наверно, ты войдешь...
Мы в декабре стояли на границе;
Густела ночь, и лил холодный дождь.

И ветер дул, холодный и свистящий,
А ты не спи - границу карауль...
Но как-то вдруг в песке нашли мы ящик,
Сосновый ящик от советских пуль.

Как знак войны и горького привета
От дальней-дальней северной земли...
Еще не близко было до рассвета,
И мы костер - согреться - разожгли.

Мы упоенно грелись под навесом,
А ветер дул, и ночь была темна;
Мы вспоминали с другом об Одессе -
В костре горела русская сосна.
Ах, мать-Россия, пулями своими

Зальешь ты мир, терзая и губя...
Россия-сука, проклятое имя,
Я все равно еще люблю тебя.

И до сих пор тебе спасенья жажду
И вслед тебе с надеждою смотрю...
Хоть ты меня еще убьешь однажды,
Я все равно тебя благодарю.

Благодарю, что годы без ответа
К тебе взывал я в муке и тоске,
Благодарю за то, что в жизни этой
Я говорю на русском языке.

Благодарю еще за то, что знаю:
Мне от тебя погибель суждена
За то, что здесь, в глухой ночи Синая,
Меня согрела русская сосна.

31 декабря 1977

В ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ

В пустыне Иудейской,
На базе, где служу,
Звучит язык еврейский,
Куда ни погляжу.

И носятся завзято,
Как будто во хмелю,
Еврейские ребята,
А я их так люблю.

Рассар* их чуть с приветом,
И что ни час – миздар**,
А я у них при этом
Еврейский санитар:

Заботу и сердечность
Яви и будь им друг.
А по пустыне вечность
Раскинулась вокруг.

Еврейская природа,
Еврейская еда...
Хоть не дана свобода
Солдату - не беда.

Над головой повисли
Густые звезды. Ночь.
Безрадостные мысли
Я прогоняю прочь.

Свободы, верно, нету,
Но, плакать не спеша,
Еврейские сонеты
Творит моя душа.

* Рассар (иврит) - старшина.

** Миздар (иврит) - построение.

Пронзительно мечтает
И весело поет,
А по небу летает
Еврейский самолет.

И гордо сердце бьется:
Моя, моя страна!..
Но в небесах смеется
Скептически луна.

Смеется с укоризной
И словно бы в укор...
Безумной жаждой жизни
Я полон до сих пор.

Забывши, что однажды,
Как все вокруг, умру,
Я полон этой жажды,
Особо поутру.

Мне дух дороже хлеба,
Я холоден к вещам,
Но что-то колет слева,
Особо по ночам.

Не век, не без предела
Нам по земле скакать -
Мне часто стало тело
На это намекать.

Однажды, мол, устанет
Резвиться, горячась,
И неизбежно грянет
Его последний час.

И сгину в бездорожье
И невозвратной мгле...
Но мне при этом все же
Лежать в Святой земле.

Здесь, где цветет весной
Любимая страна...
Не смейся надо мною
Скептически, луна!

1990

МОНОЛОГ ГАЛУТСКОГО ЕВРЕЯ

Кто поймет меня? Кто посочувствует мне?
Я чужой, я чужой в этой жесткой стране,

Я трагически чувствую день ото дня,
Как вокруг не хотят и не любят меня.

Я подавлен, разбит и почти позабыл,
Что когда-то страну эту очень любил,

Видел в ней и судьбу, и надежду свою,
И готов за нее был погибнуть в бою,

И мечтал послужить ей с открытой душой...
Как же вышло, что здесь я настолько чужой?..

И каким отвратительным смрадом разит,
Когда только и слышу, что я паразит:

Все они за меня погибали в бою,
А вот я лишь беру - ничего не даю,

И поэтому беды их - все от меня,
Так порою тебе и заявят, кляня.
Этой лжи не придумать подлее и злей,
И безумней. Но спорить не вздумай ты с ней -

Лишь впустую потратишь бессчетные дни,
Потому что и сами не верят они

В свои дикие речи, а просто, губя,
Объясняют тебе, что не любят тебя.

И еще расскажу в глубочайшей тоске:
У себя на работе я на волоске,

А дурак, что почти на меня не смотрит,
Правит мною и важно в начальстве сидит.

Ясно даже ему, что талантливей я.
Ну и что? Ведь страна-то - его, не моя!

Но я тоже считаю ее ведь своей!
Ах, наивный и глупый галутский еврей,

До сих пор ты у этих иллюзий в плену...
Он - не ты воевал ведь за эту страну!

И не вспомнят - здесь в памяти словно провал, -
Что и я, что и я за нее воевал...

Но довольно мне ныть над судьбою своей;
Я обычный галутский советский еврей.

Не впервые с евреями в жизни земной
Приключается то, что случилось со мной.

И во все времена, не любя и браня,
Никакая страна не приемлет меня.

Ах, Израиль, ты - светоч в галутской судьбе,
Но граница - стеною... Пробьюсь ли к тебе?

1978

ОСЕНЬ

Рассвет. Над Израилем - осень.
Идут проливные дожди,
И гром устрашающе грозен,
А я улыбаюсь: «Гряди!»

И вот вспоминаю, как небыль,
Тех дней неуютную даль,
Когда посеревшее небо
Во мне разливало печаль.

А нынче мне дождь - как награда.
Не зря я сегодня зовусь
Нотеа - работником сада
И в сердце, признаться, горжусь,

Что вышел на эту дорогу...
А что там еще впереди? -
Как будто зывают к итогу
И осень, и эти дожди...

Немного счастливых улыбок
Я вызвал на этой земле
И столько грехов и ошибок
Наделал, блуждая во мгле.

И буду наказан, быть может,
Прощения не заслужив...
Но все же не попусту прожит
Тот путь, где поныне я жив.

Где в рое пустых и ненужных
Страстей, отравляющих кровь,
Бывала и верная дружба,
И подлинный труд, и любовь.

Где все же прибился к причалу,
Лишенный ветрил и руля,
И выстоял - и обласкала
Мне душу Святая земля.

Где принял судьбою не ветхий,
А вещей и вечный Завет,
И в сердце сияет нередко
Его исцеляющий свет.

И все-таки сущая правда,
Что, веря, молясь и любя,
Уже ничего мне не надо
На этой земле для себя.

Слетают незрячие страсти
С души усмиренной моей:
Ни славы не жажду, ни власти,
Ни денег, ни новых друзей.

А только стоял бы Израиль,
Да если б Россия спаслась,
И мир, что расколом изранен,
Обрел бы согласие и связь.

Не вылечит гневная битва
Наш мир, погруженный во тьму, -
Быть может, простая молитва
Всего-то нужнее ему.

И с этим, единственно с этим
Встаю каждый день поутру
И счастлив, что жив я на свете
И так же счастливо умру.

И крикну в безбрежную просинь:
«Теперь меня, Боже, суди!»
Рассвет. Над Израилем - осень.
Земля принимает дожди.

1986

МОЛИТВА У СТЕНЫ ПЛАЧА

Стою с тобой наедине
Перед твоей святыней, Боже,
Здесь, у Стены, и здесь, в стране
Уже не гость и не прохожий.

Здесь я судьбу свою и дом
Избрал не просто наудачу...
Зачем же в Городе святом
Я по ночам, как грешник, плачу?

Нема, почти без языка,
Не одолев его стихии,
Как отсеченная рука,
Душа тоскует по России.

О эта мука-немота,
Обрывки фраз и мыслей крохи -
И жизнь покажется пуста,
А дни бессмысленны и плохи.

О Господи, к душе больной
Ползут отчаянье и ересь,
Но в том, что есть Ты надо мной,
Я никогда не разуверюсь.

И как была б ни нелегка
Мне безъязыкая свобода, -
Твоя, конечно же, рука
Нам указала путь Исхода.

И если даже, мой Творец,
Я встречу здесь, скорбя и воя,
Почти вначале свой конец -
На то Твоя святая воля.

И пусть во мне тоска и муть
С их отупляющею болью -
Не дай мне только обмануть,
Лишь дай мне, Боже, быть собою.

Лишь дай мне ясности ума
И чистоты души и неба
Здесь, где не ждет меня тюрьма,
Ни горький вкус чужого хлеба.

1972



ЯКОВ ЛИПКОВИЧ

МАМА

Из воспоминаний

1. Еще не было человека, который бы при виде фотографии мамы над моим письменным столом не воскликнул: «Кто эта красавица?» - «Мама моя», - всякий раз, сияя, отвечал я. - «Мама?» И в самом деле трудно было поверить, что это очаровательное существо - чья-то мама, тем более автора этих строк, уже давно перешагнувшего порог старости. Я помню, как Давид Иосифович Золотницкий, выдающийся театровед и критик, и его жена, Вера Михайловна Красовская, автор многотомных историй русского и мирового балетов и - крепче держитесь за стул! - правнучка Анны Петровны Керн, чуть ли не потеряли дар речи при виде маминой фотографии... «Вера, Верочка, ты посмотри, посмотри... какая... какая... какая...» - и блестящий театровед и стилист, написавший много тысяч красивых и умных фраз, не мог найти каких-то два-три слова, чтобы передать свое восхищение...
2. Конечно, мы с братом с детства знали, что мама наша самая красивая на свете, знали и... не замечали ее красоты. Да нам и некогда было любоваться правильными чертами маминого лица. У нас были свои дела, у нее - свои. Она готовила, стирала, убирала, стояла в очередях, обшивала себя и нас, таскала тяжелые сумки, укладывала меня и брата спать, ссорилась и мирилась с папой. А как только выдавалась свободная минута, читала зачем-то, как утверждала одна из ее подруг, еврейских классиков, справа налево. Эти и некоторые другие книги лежали у нас на шкафу, подалеже от чужих глаз, а не стояли на полке рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Подперев кулачком свою прелестную голову с разбежавшимися по спине черными кудрями, она спешила дочитать страницу (главу, книгу) и снова приняться за шитье или готовку...
3. Боже, как мало я тогда знал о ней! Ничего не знал ни о ее жизни до нас, ни о ее родителях. И она, и отец как-то обходили в разговорах при мне эту тему. Только потом, спустя много, много лет, я узнал, что мамины дедушка и отец были когда-то знаменитыми раввинами. Особенно прославился ее отец, Яков Рудерман. К его голосу прислушивались евреи не только Белоруссии и Литвы, где он немало способствовал распространению хасидизма, но и других стран, в том числе и Соединенных Штатов. Его богословский труд «Дом Иакова», изданный в Нью-Йорке в 1908 году, - один из раритетов Еврейской секции Библиотеки Конгресса. Когда дедушка посетил Штаты, его наперебой приглашали выступить перед паствой ведущих синагог. А потом предлагали стать в них главным раввином... Вернувшись в 1909 году в Россию, он тем самым почти на столетие отсрочил эмиграцию нас, своих потомков, в Америку. Умер он в 1916 году под гогот и свист разгулявшейся солдатни...

4. Бабушку нашу, его жену, звали Геня Рапопорт. Кроме моей мамы, у нее с дедушкой были еще двое детей - будущая моя тетя Люба (Либеле) и будущий мой дядя Лева (Лейбочка). Как это ни печально, он, в отличие от своих сестер, был очень маленького роста. «Просто у дедушки и бабушки, - как утверждал мой брат, - не хватило на него материала!» Кстати, первой красавицей в семье считалась тетя Люба. Даже моя мама говорила, что ей далеко до тети Любы. В отличие от мамы-брюнетки, тетя Люба была яркой блондинкой, ну, скажем, типа Мэрилин Монро. Высокая и стройная, с огромными - в пол-лица - голубыми глазами, она властно привлекала к себе внимание прохожих, как мужчин, так и женщин. Естественно, она недолго сидела в девках. Ее отхватил один шустрый паренек, для которого смысл жизни состоял в том, чтобы ничего не упустить. У мамы же с ее острым и метким язычком, с ее глубоким, живым и беспокойным умом, поклонников было поменьше, но это были ребята серьезные, прочитавшие не одну сотню книг и умевшие разбираться в людях и политике. Папа тоже был среди них...
5. О том, как познакомились папа и мама, мы с братом слышали с детства. А было это так. Две семьи - мамина и папина - не сами, а через третьи лица - решили их во что бы то ни стало познакомить. Но не брать же их за руки и подводить друг к другу? «Тоже мне проблема, - сказала мама. - Опишите его мне.» - «Высокий, носатый, когда задумывается, выщипывает из носа волосики...» - описали ей папу. «Достаточно!» - решила мама. Было назначено время и место встречи. Папа пришел первым. Он стоял в задумчивости и дергал себя за ноздрю. Мама не стала ждать, когда он вспомнит о цели своего прихода, и первой подскочила к нему: «Вы Соломон Липкович?» - «Я, - очнувшись, ответил папа и удивленно спросил: - А вы Песя Рудерман?» - «Вам что, показать паспорт?» - насмешливо спросила мама. «Нет, обойдется, у меня записаны ваши приметы, - и он вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку и, поглядывая на маму, прочел: - Самая красивая... самая добрая... и...» «И, конечно, самая умная?» - подсказала весело мама. После всего этого маме ничего не оставалось, как взять отца под руку и повести в кино на Чарли Чаплина. Во время сеанса отец признался маме, что слышал о ней и от друзей. А те видели ее в гимназических спектаклях по Чехову «Медведь» и «Свадьба», где мама исполняла главные роли Елены Ивановны и госпожи Змеюкиной. На это мама тут же шепотом, чтобы не мешать соседям смотреть фильм, сыграла: «Ах, оставьте меня в покое! Дайте мне поэзии, восторгов! Махайте, махайте!». Подкрепив свое знакомство с пьесами Антона Чехова, мама и папа через несколько дней зарулили в ЗАГС и под звонкое чихание вконец простуженной регистраторши оформили свои отношения...
6. Я появился на свет ровно через девять месяцев. Не скажу, что все с моим рождением получилось гладко. Родился я, как гласило семейное предание, мертвым: не дышал, не шевелился, не подавал голоса и не пускал струю. Но я был, по словам родителей, такой хорошенький, такой хорошенький, что врачи решили оживить меня. И оживили. И вот уже семьдесят три года я пожинаю плоды этого воскрешения из мертвых. Но тогда и отцу, и матери, поверьте, было не до шуток. Впрочем, в моем детстве я умирал много раз. И всякий раз меня спасала от страшного удушья мама. Не дожидаясь прихода врачей, она по подсказке няни бросала меня то в горячую, то в холодную воду, и я приходил в себя. Теперь-то я уверен, что на этом лихом перепаде температур и выковывался мой достаточно стойкий еврейский характер. Папа же, как ни странно, терялся и каждый раз, когда я умирал, колотился головой о стену. Не исключено, что стоявший от этого грохот тоже в какой-то мере способствовал моему возвращению к жизни...
7. Родился я в Киеве, куда случайно, то ли в поисках работы, то ли для продолжения учебы в институтах, то ли чтобы навестить родных, занесло моих молодых родителей. Потом, спустя двадцать лет, я еще раз побывал в этом

прекрасном городе, но уже с танками Третьей гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. О существовании Бабьего Яра я тогда не знал. Как и не знал, что большинство наших киевских родственников нашли там свою мученическую смерть. Родственники же по маме остались навсегда во рвах неподалеку от Минска, о чем я узнал тоже только после войны.

8. Но к войне я еще вернусь. А сейчас давайте перенесемся в город Брянск, куда отец был назначен на работу. Жили мы поначалу, как я сейчас помню, на какой-то городской горе, в подвале, с прыгающими перед окнами лягушками, с которыми я установил вполне дружеские отношения, а затем на улице, примыкающей к папиному заводу фруктовых вод (папа там был, чем я немало гордился, коммерческим директором). Мама же тогда еще не работала: на ее попечении уже было двое сорванцов, я и маленький братец, который чуть ли не с трехлетнего возраста проявлял живой интерес к политике и слабому полу - водил пальчиком по газетным строчкам, пытаясь прочесть, что там пишут о противных капиталистах, и при первой же возможности заглядывал под юбки своих ровесниц. Одно время, примерно в том же возрасте, его также интересовало, что сколько стоит. Так, однажды, когда умерла старая приятельница родителей, он двумя ручонками вцепился в мамину юбку и плача допытывался, сколько стоят похороны. «Два рубля!» - отмахнулась от ответа мама. «Ровно или с чем-то?» - не отступал он. «С чем-то!» - бросила мама. С этого дня я дразнил братишку: «Эй ты, с чем-то!»
9. И все-таки, помимо возни с нами, с хозяйством (мы даже, чтобы не голодать, обзавелись несушкой, которая вскоре стала пятым членом семьи; шестым членом семьи была трехногая кошка, перебежавшая к нам от соседней напротив), мама неожиданно для себя стала видным общественным деятелем нашей окраины. Не знаю, кому первому пришла в голову мысль выдвинуть ее в депутаты городского совета, но все мужчины от угла с Пионерской до угла с Комсомольской и в большинстве случаев тайком от своих жен проголосовали за нее. Надо сказать, что она не подвела избирателей: взяв меня за руку, а маленького брата за шиворот, она свой рабочий день начинала с беготни по начальственным кабинетам, добываясь для родной улицы то ремонта водопроводной колонки, то замены деревянных мостков возле соседского дома, то выдачи продовольственных карточек сбежавшей от голода на Украине семье. Не скажу, что отец был доволен ее новым поприщем. И, как помню, не скупился на попреки за недостаточное внимание к дому. Однако повторять их не буду. Могу только заверить читателей, что ни одного грубого, а тем более непечатного слова произнесено не было. Самое большое, что позволял себе отец, - это выразительно повертеть пальцем у виска. И тогда мама, по-видимому, вспомнив свои гимназические спектакли, восклицала, театрально вздымая руки: «И этот человек на днях мне клялся в вечной любви!» На что отец, усмехаясь в фигурные усики, изрекал всего два слова: «Эстер Каминская!». Для меня в то время имя великой еврейской трагической актрисы было пустым звуком, впрочем, как и имена других великих актеров, от Гаррика до Качалова. В этих родительских стычках я, конечно, был на стороне мамы, хотя и не вмешивался, опасаясь отцовских подзатыльников, на которые он временами был щедр... После одной из таких ссор и произошел этот почти трагический эпизод, едва не стоивший маме, а возможно, и мне или брату жизни...
10. Мы стояли у окна трое - я, мама и младший брат - и с интересом наблюдали за тем, что делалось на дворе. Несколько взрослых пятнадцати-шестнадцатилетних ребят, включая сыновей хозяев флигелька, в котором мы жили, устроили под нашими окнами стрелковые соревнования. Пуляли они из мелкокалиберки по доморощенной мишени - торцу огромного бревна, приготовленного для распилки. Стреляли ребята примерно с десяти метров и поэтому редко кто мазал. Правда, в яблочко, подрисованное красным карандашом, попадали тоже

нечасто. Шум стоял невероятный: как стрелков, так и зрителей, привлеченных выстрелами из соседних дворов, охватил спортивный азарт. Желающих помериться с другими меткостью становилось все больше и больше. И тут появился папа, мрачный-премрачный после вчерашней ссоры с мамой. Однако мама ему улыбнулась, и он мгновенно оттаял. Ну, ясное дело, я порадовался за них. Но читайте, что было дальше. Проходя мимо стрелков, отец вдруг замедлил шаги и остановился. Проводив взглядом несколько не очень удачных выстрелов, отец попросил у ребят ружье и, подмигнув нам с мамой, выстрелил. Звякнуло тоненько стекло. Мама ойкнула и схватилась за грудь. В окне зияло круглое отверстие со множеством отходящих от него трещин. Такое же круглое пятно, наливавшееся темной кровью, прямо на наших глазах выступило на маминой груди. Бледный, как смерть, отец бросился домой. Случилось невероятное. Пуля ударила в срез бревна и рикошетом угодила в маму. Отец побежал вызывать «скорую», а мама сидела на табуретке и радостно твердила: «Как хорошо, что в меня... Как хорошо, что в меня...». И в самом деле, возьми пуля правее, она попала бы в брата, левее - в меня... Это была первая пуля, которую она отвела от меня. Когда я девятнадцатилетним мальчишкой попал на фронт, я был преисполнен глубочайшей уверенности, что, если я останусь жить, то только благодаря маминой любви, незримо сопровождавшей меня по всем фронтовым дорогам. Перед боями в момент величайшей опасности для меня я доставал из кармана письмо мамы, ее первое письмо мне на фронт, и украдкой целовал его. Вот это письмо, которое я как самую дорогую реликвию берегу по сей день: «Дорогой сынок! Милый мой, не знаю, дойдет ли мое письмо до тебя. Но мои мысли и мое сердце полны тобою. Мой страх очень велик за тебя. Умоляю Бога, чтобы ты и твой отец перенесли все нарастающие опасности спокойно и благополучно, чтобы мы могли еще встретиться с вами. У меня больше нет слов, мое сердце рвется к вам, молюсь день и ночь за вас. Я уверена, что мы встретимся еще и будем вспоминать вместе дни тревог и страха. Сын мой, целую тебя традиционно три раза, и верь, что везде тебя будет защищать любовь матери. Целую, целую, целую. Мама.» В местах, где я когда-то прикасался губами, бумага со временем пожелтела, и слова, написанные простым карандашом, стерлись. Стерлись на бумаге, но в памяти остались. Я много чего позабыл, но это письмо знаю наизусть...

11. Да, судьбе было угодно, чтобы сорок первый год наша семье встретила в Ленинграде, куда за хорошую работу в местной промышленности перевели отца. Маме же, как всегда, хватало забот с нами - со мной и братишкой. Особенно с братишкой, которого невозможно было увести со двора, где он якшался со всякой малолетней шпаной, набираясь у них чего угодно, только не здравых мыслей. Маме приходилось то и дело искать его по дворам и выдергивать из кучи малы. В отличие от него, я свое свободное время после школы проводил за книгами, добывая, по выражению мамы, «свои ясные черные глазки». За чтением я обычно запускал руку в сахарницу и однажды даже оставил всю семью без сахара, за что и был наказан соответствующей получасовой нотацией отца. Хорошо, что на этот раз обошлось без заслуженной оплеухи. Словом, жили мы тогда от одной папиной зарплаты (девятьюстами рублей) до другой. Изо дня в день ели тушеную картошку с микроскопическими кусочками мяса. Завтраки и ужины также были необременительны для желудка: сладкий чай и ломоть хлеба с едва различимым, почти прозрачным слоем масла. На одежду и прочие буржуазные глупости денег просто не хватало. Мама несколько раз порывалась устроиться на работу, но отец, в очередной раз дернув себя за ноздрю, доставал из какого-то дальнего кармана хорошо угаенную записку и шлепал ею о стол: «Купи там чего надо детям!» И мама покупала на нас целый килограмм мяса - на неделю. Но один раз мама все-таки поступила на работу - воспитателем в детский садик. Для этого ей пришлось окончить двухмесячные курсы дошкольных

педагогов и даже сдавать экзамен трем солидным профессорам, которые, судя по всему, понимали толк в женской красоте: стоило маме только войти в аудиторию, где шел экзамен, как ей тут же, не дожидаясь развернутых ответов, ставили пятерку. И один профессор даже поцеловал ей ручку. Может быть, мама и преувеличивала, но я сам видел, как старались угодить ей продавцы-мужчины. И не только продавцы. Я был потрясен, когда маме вдруг ни с того ни с сего отдал честь незнакомый милиционер...

12. А потом в нашу жизнь, как и в жизнь многих миллионов, ворвалась война. Меня взяли в армию, маму с братом эвакуировали в Кировскую (ныне снова Пермскую) область. Отец остался в осажденном Ленинграде и вскоре был арестован по доносу одной дамочки, которой он не ответил взаимностью. Спасло папе жизнь, как ни странно, то, что ему дали несколько лет и загнали в Соликамские лагеря. Останься он в умирающем с голоду Ленинграде, лежать бы ему в одной из сотен братских могил. Когда отца с другими осужденными везли на Север, он выбросил из вагона письмо-треугольничек с новым адресом мамы, в котором сообщал, что арестован, осужден и что отбывать срок, судя по всему, будет в Соликамске на лесоповале. Расчет был простой: кто-нибудь да поднимет письмо и опустит в почтовый ящик. Так оно и произошло. Понимая, что и тебя, может быть, не сегодня-завтра повезут в том же направлении, люди не перешагивали через знакомые треугольнички, а подбирали их и отправляли по указанному адресу...
13. Через несколько недель папино письмо пришло в село Круглыж, где в то время в интернате для эвакуированных ленинградских детей жили мама и брат. Мама работала в нем помощницей посудомойки, что считалось большой удачей. Письмо отдали брату, который несмотря на то, что ему было уже тринадцать, всячески увивал от чтения чего бы то ни было, от книг до писем. Он крутил письмо в руках до тех пор, пока это не заметила учительница. «Что это за письмо у тебя?» - спросила она. «Не знаю», - ответил он и отдал письмо. Она прочла и ужаснулась: у Романа Липковича отец осужден, и это в то время, когда весь народ... и т.д. На другой день маму и брата как членов семьи врага народа изгнали из интерната, то есть обрекли на голодную смерть. Но мама не растерялась и прямо с ходу организовала в селе первый в его истории детский сад. Теперь колхозницы, уходя на работу, могли быть спокойны за детей - никто из них не устроит дома пожара, не убежит в лес, где рыскают голодные волки, не упадет с печи или с полатей, не съест какую-нибудь гадость. Этот список бед, подстерегающих маленьких детей, можно продолжать до бесконечности... Два года отдала мама чужим детишкам. Одних соплей она, Господи, вытерла сколько! А сколько попок отмыла без мыла, которое давно, чуть ли не с первых дней войны, стало дефицитом. И следила за тем, ох, как следила, чтобы ни одна хлебная крошка не досталась мышам и крысам, которых расплодилось видимо-невидимо. И еще сказки рассказывала затаившим дыхание детишкам - пушкинские и непушкинские, народные и ненародные, русские и нерусские, которых знала великое множество. Братишка же выполнял обязанности кухонного мужика: выносил, приносил, убирал, отгонял, колол, растапливал, охранял, приколачивал, запрягал, распрягал, привозил... всего не упомнишь! Дети настолько привыкли к маме, что начинали реветь, когда их уводили домой. На казенном языке справки, выданной потом маме, это звучит так: «Дана настоящая П.Я.Рудерман в том, что она организовала и открыла в Круглыжской сельхозартели Свечинского района Кировской области дет. ясли и дет. сад, которые просуществовали три сезона уборочной и посевной кампании. П.Я.Рудерман, освобождая колхозниц от заботы о детях, этим самым принесла большую пользу колхозу, поднимая производительность труда колхозниц. П.Я.Рудерман проявила исключительную заботу о детях. Справку заверяет колхоз. Пред.колхоза (неразбор.) Счетовод Суровцева.» Интересно, как бы

описали эту деревенскую историю Василий Белов и Валентин Распутин, коим всюду мерещатся коварные замыслы сионизма? Нет, нет, не хочу даже фантазировать на эту тему!..

14. К счастью, всему приходит конец. Пришел конец и эвакуации. Как только стало известно об освобождении Ленинграда от вражеской блокады, мама сразу же завербовалась по объявлению на телеграфном столбе на Ижорский завод, что в Колпине. Было это в 1944 году. Если подробно описать возвращение мамы и брата в Ленинград, будет трудно поверить, что это правда, а не сочинено литератором. Ехали много суток в неотопливаемой теплушке, как назывался этот вагон по старинке. Торбу с картошкой, которую им, расщедрившись, отсыпал колхозный кладовщик, украли на первой же станции. Все восемь дней они ехали, меняя последние мамины тряпки на такие же жалкие картофелины. Но поддерживала мечта. «Первым делом, как только приедем, - фантазировала мама, - примем душ или ванну... отоспимся на наших старых кроватях... сходим в столовку...». Прямо-таки расчудесная жизнь рисовалась маминему воображению под стук вагонных колес... До Моховой, где был наш дом, они не шли, а летели. И старались не замечать ни еще не убранных блокадных сугробов, ни забитых фанерой окон, ни провисших проводов, ни редких, очень редких машин... И вот наконец родной дом. Огромный петлистый двор, где когда-то брат гонялся с мальчишками и выяснял с ними отношения. Знакомый подъезд с железными завитушками по обе стороны. Первая дверь направо. И, как всегда, - незапертая? Да и зачем ее запирать, когда их огромная коммунальная квартира - тот же проходной двор, что и весь дом? Есть ли кто живой? Кажется, есть. Слышны чьи-то шаги, голоса, музыка из репродуктора. Вот и их комната. До революции здесь была бильярдная единственного хозяина квартиры графа Дурново, тогдашнего министра внутренних дел. Отдыхая от безнадежной борьбы с революционерами, он любил загонять шары самому себе. Потом бильярд куда-то сгинул, но на паркете остались следы от его тяжелых ножек... Ключ давно в маминой руке. Она пробует просунуть его в замочную скважину, но он не лезет. Удивлению мамы и брата нет границ. Как же так? Ведь это их комната, где они прожили десять лет? Там их вещи, мебель, кровати, книги, стол - все их? И вдруг изнутри, как обухом по голове, чей-то сердитый хриплый голос: «Ну кто там? Чего надо?» - «Это мы, хозяйева комнаты!» - робко подала голос мама. «Какие там хозяйева?» - «Как какие? Настоящие. Мы только сегодня вернулись из эвакуации!» - «А на хрена вернулись?» - «Как на хрена? - продолжала удивляться мама. - Это наш город, наша комната!» - «Была ваша, стала наша, - со смешком добавил голос. - Как там в Ташкенте, урюк поспел?» - «А ордер на эту комнату у вас есть?» - перешла на официальный тон мама. «У нас все есть! Даже тапочки с помпоном!» - «Я подам на вас в суд и вас выселят!» - пригрозила мама. «Давай шпарь! - спокойно прореагировал новый хозяин комнаты. - Фамилия моя...» (и он назвал фамилию, которую я уже основательно позабыл).
15. И мама с братом вышли на улицу, чуть живую ленинградскую улицу с двумя, нет, с тремя прохожими на всем протяжении от Пестеля до Белинского. Куда пойти? Кому они нужны? И все-таки в этом все еще малолюдном городе было много покинутых и вымерших квартир и комнат. Первые дни мама и брат ночевали на вокзале, а потом какой-то счастливый случай вознес их на последний этаж огромного дома на проспекте Маклина, бывшем Английском проспекте. Там они жили до тех пор, пока кто-то не надоумил их попросить меня прислать им справку, заверенную моими фронтовыми командирами, что я разрешаю матери и брату прописаться на моей площади на проспекте Майорова. Да, да, на моей жилплощади. Еще до войны родители отца, то есть мои дедушка и бабушка, понимая, что срок их жизни подходит к концу, прописали меня, своего любимого внука, к себе. Вот такие были небольшие советские хитрости, одни из многих.

16. А жизнь шла своим чередом. Каждый день мама вставала в пять утра и бежала на вокзал, чтобы успеть к колпинскому поезду. Расчетчица термического цеха - так называлась ее должность. За три года войны, включая, естественно, и Ижорский завод с его полувоенным режимом и лютыми строгостями, мама из прекрасной цветущей женщины, на которую заглядывались все мужчины, превратилась в доходягу-дистрофика, в чем только душа держится. И понятно, почему ее принимали за блокадницу... Спасти ее могла лишь другая работа, поближе к дому. И такая работа нашлась: один из первых после блокады детских садиков. Но педагогов там хватало, и только должность уборщицы была вакантной. «Уборщица так уборщица!» - согласилась мама, и в тот же день ее заявление с просьбой об увольнении легло на стол начальника термического цеха. Тот поглядел на маму и... подписал.
17. А в это время брат, устроившись в доме, в котором они жили с мамой, электромонтером, с еще одним приятелем, еврейским мальчиком с Моховой, ходили по вызовам и устраняли неполадки с электрическим светом. Платили им гроши, да и те они отдавали мамам. Но, как известно, голь на выдумки хитра. И завертелось! То в булочной, что напротив, то в парикмахерской, что наискосок, то в магазине, что по соседству, когда полно там было народу, вдруг ни с того, ни с сего гас свет. И надо же, что именно в эти минуты поблизости топтались и переглядывались наши электромонтеры. Раз, два, три - и... свет снова заливал помещение! Ну, естественно, ребятам платили за это. Если бы не мама, перед которой они имели неосторожность похвастаться своими успехами, они бы установили свой тайный контроль над электроэнергией во всем районе, включая Театральную площадь с Мариинским театром и консерваторией. Мама прочла им целую лекцию о высоком призвании человека и предложила вернуть деньги тем, кого они нагрели.
18. Между тем свою вину перед парикмахерской, булочной и т.д. брат искупил подвигом (если хотите, назовите это как-то иначе). Во имя чего бы вы думали? Ленинградской музыки. Целых два дня о брате только и шли разговоры в... консерватории! Даже больше, чем о Шостаковиче, Элиасберге и Мравинском... Началось все с того, что брат пришел в свое домоуправление, а ему там очень вежливо сообщили, что больше не нуждаются в его услугах. «Подумаешь!» - хмыкнул брат и пошел по направлению к Театральной площади, заходя и узнавая по пути, не нужен ли им электромонтер. То ли его вид мальчишки не вызывал доверия, то ли уже были наслышаны о его подвигах на бывшем Английском проспекте, но никто не хотел брать его на работу. И только в консерватории к нему отнеслись благосклонно, но предупредили: работать он будет помощником электромонтера, но числиться ассенизатором. «Это точно, что мне не надо будет говно вывозить?» - на всякий случай уточнил он. «Точно. Точно! Говночистов и без тебя хватает!» - успокоили его. Электромонтер, чьим помощником стал брат, был глубокий старик, начинавший работать здесь, как шутили, еще при «Могучей кучке». Сил у него хватало лишь на то, чтобы целый день бурчать что-то про евреев. Но, тем не менее, он был доволен братом, который как ошпаренный метался по этажам, устраняя неполадки в сети. А электропроводка за годы блокады и впрямь пришла в ужасное состояние. Ее срочно надо было менять, но, как всегда, на это не хватало государственных средств. Последняя довоенная пробка полетела в первый день работы брата на новом месте. Теперь повсюду, на всех этажах, торчали «жучки». «О, дед, боюсь, - делился брат со своим дряхлым начальником, - так и спалить недолго консерваторию!» - «Ну и ... с ней! Туда ей и дорога!» - отзывался тот. И опять начинал что-то бурчать о евреях, которые не могут починить большой консерваторский орган. Разумеется, евреи тут были ни при чем, но орган действительно не подавал голоса чуть ли не с первых дней блокады. И что с ним стряслось, никто, включая самого великого органиста профессора Брауде, не понимал. Кого только не приглашали найти

причину молчания, но все, как один, разводили руками. А орган был огромен, в полздания. «Мама, послушай, - захлебываясь от восторга, делился с ней брат, - понимаешь, там одних труб несколько тысяч. И у каждой трубы свой голос, свой тембр. Здорово, правда?» - «Здорово, конечно, здорово, - говорила мама. - Но что с ним случилось? Почему он безмолвствует, как народ у Пушкина?» - «Приезжали какие-то профессора из политехнического института, только пожимали плечами...» - «Вот ты и займись органом!» - весело предложила мама. «Я?» - у брата даже челюсть отвисла. «А кто же, я?» - ответила мама. На следующее утро брат, придя на работу, первым делом разыскал профессора Брауде. Тот сидел в своем кабинете и сочинял какую-то музыку. «Мальчик, что тебе надо?» - спросил он брата, переминавшегося с ноги на ногу на пороге. «Хочу найти неисправность органа». - «Сколько тебе лет?» - «Пятнадцать!» - «Боже мой, на, держи!» - и он отдал ключи брату. Начал брат с мотора, качавшего огромные мехи. Посмотрел, есть ли в нем напряжение, все ли приборы на месте. Затем пошел проверять по линии. Обошел все этажи. И в одном тайничке, куда никто не заглядывал - надо было проползти на четвереньках, - обнаружил перебитый проводок. Соединил концы, и орган ожил! Растроганный профессор Брауде прослезился и обнял брата. Потом достал из кармана пятьдесят рублей и сказал: «Возьми, купишь себе конфеты!» - «Конфеты так конфеты!» - серьезно ответил брат и взял деньги. «Или в кино сходишь!» - подумав, сказал Брауде. «Можно и в кино. На детский сеанс!» - деликатно намекнул брат на скудный дар: папиросы «Беломор», которые он тайком от мамы покуривал, стоили... двадцать рублей за пачку. Брауде понял намек и добавил еще четвертную. Через десять дней улыбающаяся физиономия брата появилась на общеконсерваторской Доске почета среди прочих выдающихся личностей - гордости советской музыки. И это еще не все. В тот же вечер ленинградское радио торжественно сообщило, что коллективом консерватории наконец введен в строй знаменитый большой орган, не работавший всю блокаду. Как брат ни напрягал слух, о нем, творце победы, никто даже не вспомнил. «Сынок, - обняла мама взгрустнувшего брата, - им просто стыдно признаться, что орган запустил мальчик. Простим их?» - «Простим», - с трудом выдавил из обиженных уст брат...

19. Второй радостью, затмившей первую, было возвращение из Соликамских лагерей отца. Там у него выпали все зубы, здорово поредели волосы, а давление поднялось до таких цифр, что первый же врач «скорой» уложил его в постель и велел лежать до тех пор, пока оно не придет в норму. Но полежал он всего один день и, махнув рукой на все врачебные предписания, пошел искать работу. И на пятый день набрел на нее. Правда, с окладом, если не ошибаюсь, что-то около восьмисот рублей (до денежной реформы), хотя должность его звучала солидно - зав. производством Музгиза. За две недели он с помощью мамы, которая мгновенно вникала в суть дела, освоил основные издательские премудрости. А уже через месяц установил добрые деловые отношения со всеми типографиями города, где печатались книги и ноты его издательства. И дела у Музгиза впервые за многие годы пошли на лад...
20. Папа был нашим единственным кормильцем. Мама всякий раз ломала голову, чтобы ее мужчины - отец и мы с братом - не вылезали из-за стола голодными. Как бы то ни было, обед наш состоял обычно из двух блюд - перлового (фасолевого, горохового) супа и тушеной картошки с намеками на мясо. О таких деликатесах, как колбаса и сыр, мы и не вспоминали. У отца, для которого миска лагерной баланды еще недавно была маяком, освещающим дорогу к жизни, все просьбы к маме сводились к одному - суп должен быть таким, чтобы в нем ложка стояла. И мама старалась. Как ей это удавалось, знала только она. И мы, как ни странно, были сыты. Больше того, она еще ухитрялась подкармливать моих друзей - ребят с нашего курса, с которыми вместе я готовился у нас к экзаменам. Я помню, с каким аппетитом они наворачивали мамино варено.

Было, конечно, подозрение, что мама отдает им свое. Но вводила в заблуждение ее улыбка - довольная и поощряющая...

21. Я всегда поражался маминой готовности поделиться с людьми последним. И с теми, кого она любила, и с теми, кого недолюбливала, и с теми, с кем она вообще не имела никаких дел. Раз человеку плохо - какие могут быть разговоры? Был у меня в школе дружок - Гошка Пухов. И вот что он, уже будучи генерал-лейтенантом, рассказал мне незадолго перед моим отъездом в Америку. В сорок первом году, перед отправкой на фронт, он забежал к нам, чтобы попрощаться со мной. Но меня не застал. Я как раз сдавал экзамены в Военно-медицинскую академию и попутно ночами использовался как даровая рабочая сила на товарном дворе соседнего Финляндского вокзала. Так что дома была одна мама. Гошка признался ей, что увольнительная у него до вечера, но идти ему некуда: родные эвакуировались, а дома хоть шаром покати. Мама без лишних слов напоила его, накормила, уложила поспать с часок в мою кровать. И когда он уснул, простирнула его портянки, гимнастерку, сбегала к соседу-сапожнику, чтобы он срочно подбил Гошке подметку в сапоге. Затем напекла из последней муки тарелку блинов и, когда Гошка проснулся, усадила его за стол и пока он не умял все блины, не отпускала в казарму. Прошло много, много лет, и когда в начале девяностых годов по Ленинграду разнеслись слухи о предстоящих еврейских погромах, генерал-лейтенант в отставке Георгий Федорович Пухов, человек глубоко уважаемый в военных кругах, обзвонил всех знакомых евреев и предложил им на всякий случай пожить у него. Первый звонок был к нам. Но мы не поехали. Решили - будь что будет!
22. Нездолго мы с братом прожили с родителями после войны под одной крышей. В начале пятидесятых годов и я, и он дружно разбежались по своим только что созданным семьям. Наконец-то у мамы и у папы появилась своя жизнь, отдельная от нас. А с выходом отца на пенсию у них объявилось много свободного времени, которое надо было чем-то занять. И тут случилось новое чудо. Отец вдруг узнал, что мама тайком от него, от всех нас пописывает стихи. И стихи неплохие. Как человек, причастный к литературе, я с ходу стал главным маминым консультантом. Теперь каждое ее стихотворение, прежде чем быть переписанным набело в альбом, заказанный отцом в одной из лучших типографий города, посылалось мне на прочтение. Причем со строгим наказом - никакого снисхождения, никаких скидок на возраст, родство и болезни. Резать правду-матку. И я резал. И мама послушно дорабатывала неудачные строчки и строфы. А дальше произошло вот что. Как-то композитор Овчинников пожаловался папе, что хочет написать несколько детских песенок, но нет подходящих текстов. И вдруг отца осенила мысль: а что если... «У меня есть одна знакомая поэтесса, - осторожно начал он, - она пишет, на мой взгляд, неплохие стихи. Есть у нее и стишки для детей. Хотите почитать?» - «Хочу!» - сразу же согласился Овчинников. Как голодный волк, набросился знаменитый композитор на мамины стихи. И пошло-поехало! И зазвучали песенки на слова мамы с экранов телевизоров, по радио, с эстрады. Чуть ли не в каждом детском садике, взявшись за руки, водила хороводы и распевала мамины песенки детвора. Впервые как настоящий литератор мама стала выстаивать приятные очереди к кассам разных учреждений культуры, получая литературные гонорары. Теперь и отец, и мать ходили на всякие вечера и встречи в Доме композиторов, Филармонии, Доме писателей не как бедные родственники, а как равные с равными. Но жизнь человека коротка, как детские стишки. Давно нет в живых ни отца, ни мамы. И никто уже не ходит на их могилки. Никто. Даже мы с братом, уже старики - он, живущий в Швеции, я - в Штатах. Так распорядилась судьба. И ничего не изменишь...

БОЛЬШОЙ ПЕРЕГОН

Рассказ

1

Боже, до чего же противно Пилипенко жрал виноград. Не спеша, лениво, как в замедленном кино, он выбирал из тяжелой грозди большие матово-янтарные ягоды и как-то очень обыденно, привычно отправлял в рот. «Дамские пальчики», с таким спокойным изяществом переносимые его тонкими и длинными пальцами белоручки, медленно соскальзывали с его полнокровных, пухлых губ на невидимый проворный язык. Пилипенко ел свой виноград так, словно и не было этих страшных восьми месяцев ленинградского голода, когда свою ежедневную норму - сто двадцать пять граммов тяжелого, влажного, черт знает из чего выпеченного, земляного хлеба - они дрожащими от нетерпения руками делили на три равные части, но лишь немногим из ребят удавалось растянуть паек на весь день, не съев сразу. Трудно, ох, как трудно поверить, что еще неделю назад пределом их блокадных мечтаний была лишняя тарелка прозрачного, без единой жиринки и без единой крупинки, перлового супа. А теперь они только и делали, что ели. Ели в столовых на продпунктах, куда их водили строем во время долгих остановок на больших станциях, ели у себя в поезде, куда после коротких и дружных налетов на привокзальные базары они шумно уносили с собой в фуражках, кульках, полевых сумках, а то и просто в покрасневших от мороза руках печеную картошку, соленые огурцы, пирожки с морковкой и капустой, молоко в чудом уцелевших маминых чашках - короче говоря, все, чем еще могла поделиться с ленинградскими доходягами обнищавшая северная деревня. Иногда среди местных жителей, приторговывавших на вокзалах, неизвестно откуда появлялись приезжие молодцы с почти заморскими яствами, такими, как яблоки, груши, виноград. Стоили эти чудо-фрукты баснословно дорого, и только счастливые единицы могли позволить себе такие расходы. Пилипенко - один из них: его отец, по слухам, был какой-то важной шишкой в Смольном. Поначалу, не зная этого, ребята долго не понимали, каким образом у Витьки Пилипенко сохранялся довоенный цвет лица - с огромным в половину щеки румянцем и чистой, белой, как будто слегка припудренной кожей. И лишь перед самой эвакуацией стало известно, что его частые увольнительные в город под предлогом болезни бабушки имели совсем иную цель - родное дитяtko тайком подкармливалось дома обкомовскими разносолами...

Илюша Коган с трудом оторвал взгляд от заметно поредевшей грозди и неловко взобрался на верхние нары. Его место было справа, у окошка, за которым уже третий день лютовал мороз и безучастно тянулась нескончаемая белая простыня. Редко-редко мелькали какие-то деревушки, по самые крыши занесенные снегом, и появлялось нечто живое, перемещавшееся среди далеких сугробов - иногда пешеход, иногда крестьянские сани, иногда неизвестно как уцелевший, не реквизированный военными властями колхозный грузовичок. Но сейчас, в этот поздний вечерний час, Илюше было не до зимних пейзажей, хотя и в остальное время он смотрел в окошко только тогда, когда поезд замедлял ход и весь взвод разом, как по команде, настораживался - не станция ли впереди с ее обязательным базаром? Впрочем, деньги у Илюши кончились еще вчера, да и имел он всего жалкую тридцатку, которую ему сунул на перроне отец, сам едва волочивший ноги, какой-то весь обесцвеченный голодом и гнетущими предчувствиями. Оставалось последнее - выменять еду на вещи, которые, в сущности, ему не принадлежали, - вторую пару казенного обмундирования. Но когда сегодня утром он заглянул к себе в вещмешок, то ни гимнастерки, ни галифе там не обнаружил. Стащить их могли только в бане, куда их водили вчера во время многочасовой остановки в Вологде. Украл, наверно, кто-то из чужих. Свои бы на такое не пошли, что было, однако, слабым утешением. Разложив на нарах остатки своего убогого имущества, Илюша так и не нашел ничего подходящего для

обмена. И тогда он, не долго думая, снял с себя единственные кальсоны с отчетливым жирным штампом военно-медицинской академии - родной альма-матер - и на первой же станции неожиданно лихо, как ему показалось, обменял их на тюрю из прокисшего молока, кусков сала, черного хлеба и перестоявшей сизой картошки. Уж очень ее нахваливала торговка - громадная старуха с безгубым и впалым ртом бабы-яги. Пока с жадностью ел, не чувствовал ничего такого, зато сейчас, к вечеру, от этого поросячьего месива - от чего же еще? - его стало мутить и даже слегка лихорадить. Каких-то полчаса назад он попробовал вырвать, но безрезультатно. Только пальцем все горло оцарапал...

Вскоре тошнота вроде бы отступила, и Илюша, чтобы согреться, укрылся с головой своей длинной офицерской шинелью. Незаметно для себя стал подремывать под ровный, убаюкивающий перестук колес. Сквозь приближающийся сон он слышал, как Женька Бантыш снял с гвоздя гитару и, удобно устроившись у раскаленной печурки, у которой, очевидно, уже собрался цвет их десятого вагона, взял несколько первых аккордов. Начал он, естественно, с «Фиаметты», нежной и трогательной песенки, непонятно каким образом пережившей не только две войны - первую мировую и гражданскую, но и все последующие этапы, включая индустриализацию, коллективизацию и в довершение всего сорок первый год с его неразберихой, поражениями и блокадой. Женька пел приятным, ясным, чистым голосом, которому вторила гитара: «Играй, шарманка, Фиаметта, пляши, любовь - приманка для беспечной души...»

Господи, откуда только у Женьки, такого же доходяги, как и все (Пилипенко, разумеется, не в счет), брались силы часами петь и играть на гитаре? Притом безотказно, по первой же «просьбе трудящихся».

Вот и сейчас кто-то попросил, и Женька тут же взнуздal общую любимицу: «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, играй, гармонь, играй на все лады...»

Песенка сразу напомнила вчерашнее, когда к ним в теплушку неожиданно пожаловала Аня. Прежде всего ее, конечно, привлекали музыкальные вечера, которыми на весь эшелон прославился их десятый вагон. Аню как дорогую гостью усадили на самое почетное место - на старое безногое кресло, подобранное ребятами на одном из разъездов - по-видимому, его кто-то незадолго перед этим выбросил из проходившего состава. Женька был в ударе. Он не просто пел, он жил в своих песенках. В разных песенках у него по-разному лучились глаза, играла улыбка, склонялась голова - прекрасная женькина голова с маленькими, почти женскими ушами. Спел он по просьбе Ани и свою коронную - «Андрюшу». За те два огромных перегона, что Аня проехала с ними, она ни разу не посмотрела в сторону Илюши, оттесненного приятелями на самый край нижних нар. Нет, один раз взгляд ее все-таки скользнул по нему, но так, как будто он был неодушевленным предметом...

О Лике же, второй девушке с их курса, он и не вспоминал. В отличие от Ани, она была ужасно нескладна, неженственна, не пользовалась успехом даже у нетребовательных «папуасов», как называли за глаза ребят из последнего - неленинградского - пополнения. Обеих зачислили в академию вопреки существующему положению, запрещавшему прием женщин в высшие военные учебные заведения. Но, как известно, нет правил без исключения. Их зачислили в академию по личному указанию товарища Ворошилова. Учили, как поговаривали, заслуги отцов, когда-то в гражданскую войну сражавшихся под командованием будущего «первого маршала».

Сквозь дремоту Илюша услышал барственный голос Пилипенко, очевидно, дожавшего свой виноград и присоединившегося к остальным:

- Женька, давай «Поручика»!

«Неужели будут петь «Поручика» при Ане?» - испугался в своем беспокойном полусне Илюша. И сразу же отлегло от души, когда вспомнил, что Ани сейчас нет.

Женька, между тем, уже погонял «Поручика»:

*В поезде сидел один военный,
Обыкновенный
Пижон и франт.
Чином был всего лишь он поручик,*

Но дамских ручек (иногда пели «штучек») был генерал.

Сидел он с краю и, напевая...

Все дружно подхватывали припев, состоящий из набора почти не поддававшихся воспроизведению диких и невразумительных звуков.

Согласно песенке, пребывал поручик в одиночестве недолго - всего куплет и припев. Вскоре его мужское сиротство было приятно нарушено:

Вот в вагон вошла весьма серьезно

И грациозно

Одна мадам...

Чем кончилась эта неожиданная встреча, догадаться нетрудно. Песенка о лихом поручике предназначалась явно не для женских ушей...

Под эту скабрезную песенку начала века с ее бессмысленным припевом, всякий раз петардой взрывающимся над составом, как ни странно, и уснул Илюша. Проснулся он от сильной тянущей боли в нижних этажах кишечника - так называл эту часть живота один из академических профессоров - юморист и циник. В равномерно покачивающемся вагоне стояла дремотная ночная тишина. Давно разбрелись по своим местам на нарах и уже дрыхли без задних ног любители хорового пения. Кто-то во сне разговаривал с собой. С нижних нар доносился сдавленный храп. Тихо постанывал почти рядом, через одного, Женька Бантыш - у него в Ленинграде остались мать и старшая сестра, которые когда-то, в первые дни блокады, чтобы быть рядом с ним, отказались эвакуироваться.

Боль в животе усиливалась. Порывисто и в то же время осторожно, чтобы не разбудить соседей, Илюша перетащил свое злосчастное туловище на край нар и, спускаясь, не рассчитал - наступил кому-то на ногу.

- Осторожно! - сердито упрекнул его чей-то сонный голос и затем насмешливо добавил. - Что, приспичило?

Расстегнув брючный ремень, Илюша бросился к двери. В конце концов, не он один маялся животом. Несло всех, за редким исключением. Кое-кто ходил даже с кровью. Хорошо еще, если поджимало на подходе к какой-нибудь станции или в поле у закрытого семафора. Но нередко это случалось на долгих перегонах, и тогда те, кто был половчее, ухитрялись облегчаться прямо на ходу поезда. Других же, кто не хотел рисковать, поддерживали под руки приятели.

Илюша до сих пор также обходился без посторонней помощи. Правда, вчера, когда поезд вдруг резко крутануло на повороте, его чуть не сбросило под колеса. Удержался, надо сказать, чудом.

Но на этот раз фортуна неожиданно повернулась к нему спиной. Пока он возился с тяжелой, постоянно заедавшей дверью, произошло то, чего он больше всего боялся. От ужаса у него даже выступил холодный пот на лице. Такого еще ни с кем не бывало. Если кто узнает, завтра же об этом заговорит весь курс, вся академия. Станет известно преподавателям. Дойдет слух до Ани. И уж злые языки не дадут спуску. Тогда ничего не останется другого, как повеситься или застрелиться во время дежурства...

Господи, только бы никто не узнал. Решение пришло мгновенно. Торопясь, пока все спят, Илюша залез под нижние нары и там, в униженной тесноте, снял с себя горемычные шаровары. Потом с трудом выбрался из гимнастерки и, сунув ноги в узкие рукава, с немалыми усилиями натянул ее на себя. Сверху, на талии, затянул перевернутую гимнастерку как можно туже ремнем.

Закончив первую - главную - часть операции, он по-пластунски выполз из-под нар и, трусливо озираясь, приоткрыл дверь и выбросил свернутые в узел шаровары.

Вот и все. Счастье еще, что на нем была длинная офицерская шинель, пошитая по довоенным стандартам добросовестным академическим портным: если ходить застегнутым на все пуговицы, то ничего со стороны не видно. Конечно, рано или поздно обнаружится, что он в одной нижней рубашке и гинастерке, натянутой на голые ноги, с зияющим воротом между ног - такое и в кошмарном сне не увидишь! Но к тому времени он, возможно, и найдет выход из этого отчаянного положения. Например, одолжит у кого-

нибудь на время, до получения нового обмундирования. Правда, самое страшное, что и в этом случае не удастся скрыть свой позор.

Придерживая полы шинели, которые то и дело норовили предательски распахнуться, Илюша полез к себе на верхотуру.

- Ох, Господи, - поворчали где-то на нижних нарах, - опять кто-то обосрался!..

2

Илюша не сразу сообразил, как долго спал. Могло быть, что и час, и два. За окошком стояла все та же бескрайняя, неотступная, четырехглазая (по количеству окошек в вагоне) ночь. И не скажешь по ней, то ли сейчас по-зимнему темно, то ли и впрямь ночь. Во всем взводе только двое имели часы: обкомовский сынок Пилипенко и командир второго отделения Велимир Кутузов. Остальные как-то обходились без них. Большинство вчерашних школьников, чьи родители жили от получки до получки, до войны даже и мечтать не могли о такой роскоши.

И все-таки Илюша не ошибся, предположив, что еще глубокая ночь.

Проснулся же он от того, что их эшелон, до этого изо всех сил накручивавший километры на свои старые, еще дореволюционные колеса, сбавил ход и медленно подходил, переползая с одного пути на другой, к какой-то очень большой железнодорожной станции. Сон у большинства как рукой сняло. Через одну-две минуты весь взвод был на ногах. В привычной тесноте натягивали сапоги, надевали шинели, застегивали широкие офицерские ремни со звездой...

Открыто приближался вокзал, освещенный фонарями. И никакой светомаскировки! Похоже, в ней и надобности не было - глубокий тыл, куда, наверно, никакие самолеты не долетали - ни наши, ни немецкие.

Но вот эшелон мягко остановился, и из тринадцати теплушек посыпались первокурсники, второкурсники, третьекурсники небезызвестной военно-медицинской академии. И хотя не очень верилось, что в такую рань притащится кто-либо из местных жителей со съестным для продажи, трудно было не поддасться общему порыву. К привокзальному торжку устремились даже те, у кого не было ни гроша. По-видимому, на худой конец, рассчитывали обменять какую-нибудь мелочь: носовой платок, расческу, носки...

Кто-то бросился к зданию вокзала, спрашивая у встречных, где кипяток...

Илюша же рванулся на розыски умывальника. Он мечтал сейчас лишь о том, чтобы как можно быстрее смыть с себя ненавистные запахи. В кармане шинели у него был крохотный обмылок, найденный им на подоконнике одного из продпунктов. Спросив у какого-то железнодорожника, где туалет, он устремился туда, но, к своему великому огорчению, никакого умывальника там не обнаружил. Не было его и в других помещениях вокзала. Теперь ему не оставалось ничего другого, как где-нибудь помыться под краном - простым водопроводным краном, из которого бы текла обыкновенная холодная вода.

Но найти его оказалось не так-то просто. Он обегал, сломя голову, весь вокзал, пока не наткнулся на действующий кран. Однако невезение преследовало его и здесь. Только он пустил воду, как на него накинута с руганью какой-то тип с красной повязкой. Видите ли, вода стекала в подвал, в котором хранилось казенное имущество. И добавил: «В Ташкенте помоешься!»

И Илюша, подобрав свой жалкий обмылок, помчался дальше. Вскоре он заскочил, сам того не подозревая, во двор местного ОРСа и там, в прозрачной темноте, среди разбитой тары, увидел второй кран, из которого, воркуя, жиденькой струйкой вытекала вода. Так как вокруг не было ни души, Илюша скинул шинель и, несмотря на январский мороз, весь, с ног до головы, вымылся. Нет, он, страшась простуды, не подставлял себя под ледяную воду. Он просто смачивал носовой платок и резкими, торопливыми движениями рук протирал им свое грязное, намерзшее, отощавшее тело...

Хорошо еще, что его никто не видел во время этого тайного омовения. Можно представить, как были бы ошарашены работники ОРСа, увидев у себя на задворках голого человека. Случись такое, его тут же отправили бы в местный сумасшедший дом...

Покончив с неурочным туалетом - назовем это так, - Илюша надел шинель, застегнул ее для тепла на все пуговицы и, едва не наступив на выскочившего откуда-то орсовского кота, вышел из своего обледенелого закутка. Он прикинул: на все про все у него ушло максимум минут двадцать. Абсолютно нечего беспокоиться, что эшелон за это время мог уйти: на больших узловых станциях он стоял часами. Обычно его отправляли чуть ли не последним: считали, что ничего страшного, если будущие медики приступят к учебе в глубоком среднеазиатском тылу на два-три дня позже.

Повернув к станционному рынку, Илюша прибавил шаг. Но прибавил не для того, чтобы успеть на поезд, а для того, чтобы согреться. Уже издали в свете привокзального фонаря он увидел закутанные в теплые зимние одежды фигурки торговков. Между ними прохаживались покупатели - штатские и военные. Кое-кого из ребят даже узнал, Пилипенко, например...

Но чем ближе Илюша подходил к рынку, тем сильнее им овладевало беспокойство. Прежде всего его удивило, почему так мало покупателей. Один их эшелон выбросил из своих теплушек несколько сот человек. Куда они подевались? И еще одна неожиданность: парень в форме, толкавшийся у рядов, оказался не Пилипенко - некоторое, весьма отдаленное сходство и только!

Все это было замечено Илюшей еще издали, шагах в пятидесяти от базарчика...

Но когда расстояние сократилось настолько, что уже можно было различать лица, Илюша с ужасом увидел, что среди военных нет ни одного слушателя академии. С тяжелым предчувствием, что поезд, возможно, ушел, Илюша побежал к путям. И, действительно, эшелона на его прежнем месте не было. Может быть, его перевели на другой путь? Илюша заметался по рельсам, высматривая среди многочисленных составов столь хорошо узнаваемые тринадцать теплушек с классным вагоном впереди - для преподавателей и их семей. Но эшелон как сквозь землю провалился.

Ответ мог дать только дежурный по станции.

Илюша пулей влетел в вокзал и увидел уже знакомого железнодорожника с красной повязкой, сдиравшего со стены какое-то объявление.

Илюша бросился к нему.

- Вы дежурный по станции?

- Ну! - хмуро отозвался тот.

- Вы не скажете, где эшелон военно-медицинской академии?

- А вы кто такой? - смерил Илюшу подозрительным взглядом железнодорожник.

- Слушатель академии Коган. Вот мои документы! - Илюша достал из внутреннего бокового кармана шинели основательно помятое удостоверение личности.

Дежурный с осуждающим видом взял столь небрежно хранимый документ и заскользил по нему недоверчивым взглядом.

Вернул со словами:

- Ушел ваш эшелон, товарищ Коган Илья Аронович!

- Когда? - воскликнул Илюша.

- Минут десять назад.

- Что же мне делать?

- Не знаю. Догоняйте!

- Как? На чем?

- Скоро отправляется санитарный поезд. Он на третьем пути. Попробуйте на нем догнать!

«Ну, с медиками я быстро договорюсь!» - обрадовался Илюша и, поблагодарив дежурного за подсказку, побежал на третий путь, на котором, действительно, как раз напротив пакгаузов стоял санитарный поезд. Чистый, словно только что вымытый, с белоснежными занавесками на окнах, с большими, различимыми даже в полумраке красными крестами на белом фоне он казался таким уютным, таким по-домашнему

гостеприимным, что Илюше просто до умопомрачения захотелось сюда, в один из этих семи опрятных и теплых домиков на колесах. Его живое воображение не остановилось на первом желании. Он тут же представил себе, как его радостно встретят и приютят коллеги - военные медики, военврачи третьего, второго, а то и первого ранга, возможно, тоже когда-то учившиеся в академии, причем в тех же аудиториях и у тех же профессоров; как он здесь познакомится с Нею и как переписка, которая потом завяжется у них, пройдет через всю войну, чтобы когда-нибудь свести их уже навсегда; что именно здесь наконец он обзаведется брюками и гимнастеркой - с юмором расскажет, как украли, пока спал, дело, в общем, житейское, поймут, помогут. Он не претендует на новое обмундирование, пусть будет ношеное-переношенное, давно подготовленное к списанию и сдаче на тряпки, но вполне годное к носке - надо будет только подобрать ключ в сердце сестры-хозяйки, скорее всего, немолодой и многоопытной медицинской сестры...

Вот и штабной вагон. Возле него, на перроне, зябко постукивая одна о другую мерзнущими ногами, стоял часовой с карабином. Такой же часовой виднелся в конце состава.

- Кто у вас здесь главный? - спросил Илюша.

- А начальник поезда... военврач второго ранга, - ответил часовой. - Позвать его, что ли?

- Позовите, если не трудно...

- А чего тут трудного, сейчас позовем, - сказал солдат и поднялся в вагон. Илюша понял: пошел охотно, чтобы заодно хоть немного погреться.

Вернулся он и в самом деле не скоро, минут через десять.

- Сейчас выйдет, - сообщил он.

Начальник санитарного поезда вышел в шинели, наброшенной на высокие плечи. У него было какое-то птичье, неприветливое лицо. Он даже не спустился на перрон. Так и остался стоять в тамбуре, направляя луч фонарика на Илюшу. Вид незнакомца ему, по-видимому, сразу не внушил доверия. Если отсутствие брюк из-за длинной шинели он мог и не заметить, то отсутствие гимнастерки не могло не броситься в глаза - выдавала голая, тонкая шея, без малейшего намека на воротник. Не лучше была и шинель - грязная, помятая, с дырами от многочисленных прожогов. В общем, ни дать, ни взять дезертир с фронта.

- Кто такой? - вопрос прозвучал резко и отчужденно, как будто начальник поезда обращался не к Илюше, а к кому-то третьему, находившемуся здесь же, но только не к часовому, который, в отличие от этого невидимого третьего действительно стоял рядом, с теперь уже ничего не выражающим, одеревенелым лицом.

- Товарищ военврач второго ранга, разрешите обратиться? - вытянулся Илюша.

- Ну, обращайтесь, - нехотя ответил начальник поезда.

- Видите ли, я слушатель первого курса военно-медицинской академии имени Кирова Коган. Я нечаянно, пока бегал умыться, отстал от своего эшелона. Но дежурный по станции мне сказал, что уже на следующей станции вы догоните наш эшелон. Вы не сможете подвезти меня? Я могу постоять где-нибудь в тамбуре или коридоре! Честное слово, не буду мешать!

- У вас есть какие-нибудь документы? - как будто смягчился военврач.

- А как же! Конечно, есть! - обрадовался Илюша.

Он уверенно полез в карман и весь похолодел от страха: там было непривычно пусто. Его руки заметались по остальным карманам шинели. Но и здесь удостоверения не оказалось. Господи, куда же оно подевалось? Подожди, подожди... Нет, он хорошо помнил, что дежурный по станции вернул удостоверение. Неужели он выронил его на вокзале или потерял на путях, доставая что-нибудь из карманов? Вот только что он доставал? Что? Кажется, перчатки?

Между тем, начальник поезда терпеливо ждал, не уходил. Он всем своим неприязненно-ироническим видом выражал недоверие к этому странному, жалкому, опустившемуся человеку, неизвестно откуда объявившемуся на этой далекой тыловой станции. Так, во всяком случае, думалось Илюше, который уже по пятому или шестому

разу рылся в одних и тех же карманах. Слава Богу еще, что он вовремя спохватился и не полез в несуществующие карманы несуществующих брюк и гимнастерки - впрочем, последняя существовала, как читатель помнит, в перевернутом виде. Только потянулась рука, но тут же смущенно вернулась на место...

Удостоверение исчезло бесповоротно. В заключение, осмотрев все под ногами, Илюша жалобно взглянул на военврача и попросил:

-Товарищ военврач второго ранга, я мигом, я только сбегаю на вокзал? Может быть, там выронил?

- Я так и знал, - насмешливо заметил начальник поезда.

- Что знали? - не понял Илюша.

- Что все это спектакль.

- Можете спросить у дежурного по станции! Он вам скажет! Я сейчас сбегаю за ним!

- Я думаю, достаточно, - подытожил разговор начальник поезда. - Часовой, не забывайте о своих обязанностях! Посторонних не пускать! - и направился в вагон.

- Товарищ военврач второго ранга, я вас очень прошу! - взмолился Илюша и вскочил на подножку.

- Ничем не могу помочь, - начальник поезда задержался в дверях. - Есть строгий приказ, запрещающий подвозить посторонних лиц. Так что не обессудьте!

- Товарищ военврач второго ранга, мы же с вами коллеги! Вы же, наверно, тоже учились в военно-медицинской академии!

- Я окончил медицинский институт... Часовой! - напомнил он солдату о его обязанностях.

- Нельзя! Сказано, нельзя! - начал теснить Илюшу с подножки часовой.

- Ну и сволочи вы! - вырвалось у Илюши.

- Давай, давай отседова! Ишь ты, шустрый какой! Вшей только наносить!

Илюша в гневе сплюнул и спустился на перрон. Там в растерянности осмотрелся. Паровоз уже нервно дышал паром и ждал с минуты на минуту разрешения двинуться в путь.

- Давай, давай отседова! Мало ваш брат нашей русской кровушки попил! - уже не мог остановиться часовой.

«О чем он? - не сразу сообразил Илюша. - Ну, подлец, ну, подлец, антисемит недобитый!» - и, громко сплюнув, зашагал вдоль санитарного поезда. Издалека за ним наблюдал второй часовой, стоящий у последнего вагона.

Поравнявшись с ним, Илюша с безучастным видом перешел путь и двинулся вдоль санитарного поезда, но только в обратном направлении. И точно рассчитал. Как только паровоз дал гудок и состав мягко тронулся, он вскочил на первую же подножку...

3

Несмотря на то, что семафор был открыт, поезд шел медленно, словно сомневался, что его выпустят первым с этой большой многовариантной станции. Нечто похожее было и на душе у Илюши: каждую минуту его могли снять с поезда и задержать как подозрительную личность. И любой, даже самый мягкосердечный военный комендант, установив, что у него нет документов, не задумываясь, передаст задержанного здешним особистам. А те, пока доберутся до истины, если, разумеется, будут добираться до нее, вытянут всю душу. На это они, по слухам, большие мастера...

К счастью, никто, кроме железнодорожников, работавших на соседних путях, его не видел. А тех вряд ли можно было чем удивить - чего только не повидали они за первые месяцы войны.

И все-таки страх, что он может попасться на глаза какой-нибудь очередной сволочи, не покидал его все это короткое расстояние до открытого семафора. И только, когда по обе стороны основного пути замелькали последние пристанционные строения, Илюша облегченно вздохнул. Теперь его могли согнать лишь поездная бригада да часовые. Не

считая, понятно, «старого приятеля» - начальника санпоезда и его медицинской команды: врачей, медсестер, санитаров, часовых...

Поезд уверенно набирал скорость. Поначалу Илюша ехал стоя, держась обеими руками за поручень. Колючий, пронизывающий ветер хлестал в лицо, пробивал шинель, высоко задирая полы, обжигал слабо прикрытое тряпьем тело. Вскоре Илюша понял, что бороться с ветром легче сидя, и он сел на среднюю подножку, обхватив стынущей рукой ледяной поручень. Сейчас он никак не мог простить себе, что не спросил у дежурного по станции, сколько километров до следующей остановки. Хорошо, если пять, десять, на худой конец, пятнадцать, столько он еще выдержит. Ну, а если больше - ведь здесь, на этих северных просторах, и сто верст не считается расстоянием! Да, прежде чем отправиться в такой путь, не мешало бы это знать. Впрочем, у него не было выбора. Не пешком же добираться до следующей станции?

Между тем поезд съехал в узкую лощину, защищенную с наветренной стороны густыми заснеженными посадками. И хотя мороз и ветер здесь были помягче, у Илюши по-прежнему страшно мерзли руки и ноги. Тонкие шерстяные перчатки, выданные еще летом и пережившие вместе со своим хозяином долгую блокадную осень, во многих местах прохудились и почти не грели. Так же плохо было с сапогами. Свои верные кирзачи Илюша разбил на строевой подготовке и различных марш-бросках, которыми на первых порах увлекались курсовые командиры. Сапоги поизносились и скособочились до такой степени, что даже безотказный академический сапожник дядя Леша отказался от их починки. Те же легкие офицерские хромаша, которые сейчас были на нем, дал ему поносить командир взвода старший военфельдшер Шухин. Дело в том, что перед самой эвакуацией им зачитали приказ начальника академии, в котором четко и недвусмысленно было сказано, что брать с собой разрешается только необходимое. И прежде всего учебники, по которым предстояло учиться. Остальное же личное имущество полагалось или оставить на хранение или передать родственникам. Шухин первым из командиров нашел выход из положения. Чтобы не нарушать приказ, он решил вторую пару сапог вывезти из Ленинграда на чужих ногах. Аналогичным же способом он транспортировал вторую - парадную - шинель и другие носильные вещи. Так, с одной стороны, он делал доброе дело, а с другой - позаботился о своем будущем, словом, по-марксистски сочетал интересы личные и общественные. Но всего предвидеть он, конечно, не мог. Пока Илюша и другие, кто клюнул на соблазнительное шухинское предложение, добрались пешком от Новой Ладogi до станции Ефимовская, что составляло примерно три сотни километров, хромаша спокойно развалились, парадная шинель превратилась в тряпку, а носильные вещи благополучно, в обмен на хлеб, молоко и прочее, перекочевали к местным жителям. Впрочем, хромаша худо-бедно еще продолжали служить своему временному хозяину. Только подметки пришлось подвязать проволокой. Правда, ногам от этого теплее не стало. Вот и сейчас по самую лодыжку ноги были как чужие. Не помогла и брошюра о победе социализма в одной стране, которую он использовал в качестве стельки...

Чтобы как-то перехитрить ветер, порывами залетавший в лощину, Илюша большую часть правой полы шинели подоткнул под себя, а меньшую зажал между коленками. Потом для тепла заколол английской булавкой воротник.

Руки же он попеременно отогревал дыханием.

Вскоре поезд из лощины вырвался на широкое снежное поле, открытое всем северным ветрам. Где-то за суровыми, низкими облаками томилась слабая, обескровленная луна. За то недолгое, но чрезвычайно медленно тянувшееся время, что Илюша висел на подножке, он стремительно терял последние запасы тепла. Он чувствовал, что еще какие-нибудь десять, пятнадцать, двадцать минут - и он промерзнет насквозь, превратится в сосульку. Спасти его могло только одно: упросить, чтобы пустили в вагон. Он попробовал открыть дверь, но она никак не поддавалась. Тогда он собрался с духом и постучал кулаком. Сперва не очень сильно, но потом все громче и настойчивее. Никто, ни одна душа не отзывалась на стук. Не шелохнулась и светомаскировка на окнах. Наконец, отчаявшись, Илюша забарабанил по гулкому металлу изо всех сил. И опять никакого ответа...

- Есть здесь кто живой?! - чуть не плача кричал он в заиндевелую дверь. Он знал, что если сейчас не произойдет чуда... любого из трех... если его немедленно не пустят в вагон... если с минуты на минуту не покажется какая-нибудь станция... если - на худой конец - поезд не остановится прямо здесь, в поле... он не удержится и сорвется с подножки. И тогда уже не будет никакой разницы, упадет ли он в снег и замерзнет, или угодит под колеса.

Держась обеими руками, теперь уже совсем потерявшими чувствительность, за поручень, он стал колотить в дверь единственным, что еще как-то слушалось его - своей никому не нужной сейчас и потому бесполезной головой.

- Откройте!.. Пустите!..

Он кричал, и голос его, как он понимал, не проникал дальше тамбура...

И тут санпоезд, словно откликаясь на его отчаянный и требовательный крик, вдруг сбавил скорость и, проехав еще с километр, как бы в раздумье остановился...

4

Это могла быть и короткая, ничего не значащая в его нынешнем положении остановка в пути, и наконец вымоленное им у неведомых вышних сил неожиданное спасение. Глаза, привыкшие за долгий перегон к темноте, тщетно искали справа, по ходу состава, каких-либо признаков станции или разъезда, в конечном счете, пусть даже обыкновенного жилья, где можно было бы в случае, если его не пустят к себе медики, согреться, переждать до следующего поезда - одно огромное, необозримое, жутковатое ночное поле. Теперь он ясно сознавал, что жизнь его зависела от того, как долго простоят здесь санпоезд, успеет ли он достучаться до чьей-то доброй и жалостливой души. Кто знает, сколько отпущено ему времени - может быть, одна, две, от силы три минуты. Шанс на спасение, возможно, рядом, в каких-нибудь нескольких метрах. Не выпуская из рук поручень, Илюша оторвался от подножки и по самые колени погрузился в давно не убираемый снег насыпи. Затем, подавшись всем корпусом вперед, он судорожно ухватился за поручень соседней подножки, с невероятными усилиями, едва не опрокидываясь, подтянулся и взобрался на высокие ступеньки.

Хотя на этот раз ручка подозрительно легко ходила вниз-вверх, сама дверь, несмотря на все старания Илюши открыть ее, не поддавалась ни на миллиметр.

И опять Илюша что есть силы забарабанил по промерзшему железу обеими отможенными кулаками.

- Откройте! Пустите!

И опять ни звука в ответ, одна густая непроницаемая тишина...

Хватит ли у него сил добраться до следующего вагона, где, возможно, отзовутся на стук? Как ни страшно было Илюше снова сойти на землю, он все-таки заставил себя покинуть подножку, Утопая по колено в снегу, он с трудом передвигал ноги, то и дело спотыкался и падал. В сущности, все его передвижение состояло сплошь из отчаянных рывков и падений. Только бы успеть, только бы успеть - ни о чем другом больше он не думал. Было ясно, что, если поезд вдруг тронется, то уже ничто не спасет его. Ухватиться за поручень ближайшей подножки он еще сможет, но подтянуться и удержаться?

Но вот были преодолены последние метры, и над ним нависла долгожданная подножка. Ее нижняя ступенька находилась на уровне его груди, может быть, чуть ниже. Илюшу снова охватило отчаяние. Скользя безжизненными пальцами по поручню, он из последних сил пытался подтянуться, зацепиться хотя бы одной ногой за ступеньку. Но ни руки, ни ноги не слушались его, не могли удержать неподатливое тело.

Нет, ничего не получалось. Единственное, на что еще он был способен, это взывать о помощи. И он, обжигая легкие тугим ледяным воздухом, стал кричать, глядя на все восемь окон кригеровского вагона:

- Помогите! Помогите! Помогите же, сволочи!

Но хоть бы кто-нибудь выглянул, отозвался на его исступленный крик о помощи...

И тут Илюшу обожгла острая мысль, показавшаяся ему счастливой и спасительной. Боже, как он мог не поинтересоваться, что делается по ту сторону пути? А вдруг именно там разъезд или станция? Достаточно одной будки или домика. Ведь не обязательно, чтобы строения были по обе стороны насыпи.

Илюша опустил на колени и, глядя под вагон, пытался охватить взглядом как можно большее пространство, но обзор был сильно ограничен колесными парами. К тому же из-за высокой крутой насыпи ничего не было видно, кроме низкого и темного неба.

Преодолевая тошнотворный страх, что поезд может в любую секунду тронуться, Илюша с неожиданной решимостью полез под вагон и, обдирая в кровь колени, переполз на другую сторону. Честное слово, он даже не ожидал такой прыти от своих, почти ничего не чувствующих ног.

Но старался, рисковал зря. Увы, левая сторона была такая же безлюдная, неживая, как правая. Только метрах в трехстах темное ночное поле почти незаметно переходило в очень темный ночной лес, а тот в такое же темное и низкое небо. И никаких признаков станции или жилья.

Спасение могло быть только впереди, там, где слабо белели три первых вагона, включая штабной, и время от времени сбрасывала пар допотопная «овечка». Уж там-то, наверное, кто-нибудь отзовется! И вдруг Илюше вспомнился рассказ Женьки Бантыша о том, как на одном из участков вблизи Вологды его и еще двоих ребят из второго взвода подвез в паровозной будке старик-машинист. Конечно, тот знал, что нарушает какие-то свои строжайшие инструкции, но у него не хватило духу прогнать их - голодных, оборванных, одичавших. Немножко только по-стариковски поворчал, но взял к себе. Зато они ему всю дорогу таскали из тендера и швыряли в ненасытную топку огромные поленья. А под конец он даже поделился с ними хлебом. Эта трогательная история, происшедшая буквально на днях, как-то сразу преисполнила Илюшу уверенностью, что и с ним, если он обратится к машинисту, поступят так же благородно. Как бы там ни было, облегченно подумал он, на рабочий класс всегда можно положиться, не то что на этого подонка-врача и его команду, будь они трижды прокляты, сволочи!..

Только бы добраться до паровоза! К черту тыловых медиков с их душами и теплыми сортирами - что ж, надо сказать, устроились они неплохо, так можно провоевать всю войну...

Илюша брел по насыпи. Впереди осталось еще два вагона. С каждым шагом все уже, все круче становилась дорожка, и пройти можно было, только вплотную прижавшись к вагонам. Иногда Илюша спотыкался и падал, но тут же вставал и продолжал идти. Он сам не понимал, откуда у него еще брались силы.

Когда до паровоза было всего с десяток шагов, неожиданно звякнуло сцепление, и поезд тихо, без предупреждения пошел. Мимо Илюши проплыла одна подножка, другая. Он рванулся к третьей, но оступился и покатился под откос. Острая, пронизывающая боль резанула по ноге. Илюша поначалу даже не понял, по какой, то ли правой, то ли левой. Боль мгновенно заполнила все его промерзшее, непослушное тело...

Он пробовал сесть, но его тут же начало тошнить. Потом он с ужасом опомнился и стал кричать вслед уходящему поезду:

- Остановитесь!.. Остановитесь!..

Но тот как ни в чем не бывало продолжал набирать скорость, и не прошло и минуты, как уже вовсю, весело радуясь предстоящей дороге, высоко над Илюшей простучали колеса последних вагонов...

ЧУЖОЙ ДОМ

Рассказ

Это неважно, где и как я с ней познакомился. Ну, если вас это очень интересует, пожалуйста - в районной библиотеке. Она сидела и читала какую-то брошюру. Не скажу,

что красавица, но недурна собой, чуть старше меня, лет двадцать с хвостиком. И помню, редко-редко когда улыбалась. Что потянуло меня к ней - не знаю. Просто оказались рядом, за одним столом. До нашей встречи я полгода провалялся в госпитале. Страшно сказать, сколько хлопот доставил врачам с моей левой ногой, перебитой осколками. Но, как говорится, молодость взяла свое, и я пошел на поправку. А как только расстался с костылями, меня сразу же перевели в палату выздоравливающих, стали готовить на выписку. И тут - надо же такое! Повело меня на стихоплетство. Писал чуть ли не по стишку в день. О чем? Обо всем. Но в первую очередь, конечно, о любви, Любви с большой буквы. Вот тогда-то с легкой руки одного моего приятеля, москвича, меня, смеха ради, прозвали «наш лорд Байрон». Правда, похож я был на Байрона, как тюлень на оленя. Одно сходство, что оба писали стихи и прихрамывали на левую ногу. А в остальном - как небо и земля. Мне с моим еврейским носом и прочими еврейскими атрибутами лучше бы подыскали для сравнения другие примеры.

То, что мы сидели за одним столом - она со своей брошюрой, я со стихами Симонова, повлекло за собой и наше недолгое знакомство.

- Не помешаю? - спросил я, пересаживаясь поближе.

- Нет... если будете молчать,- предупредила она.

Через пять минут я напомнил о себе:

- Видите, я молчу...

- Спасибо, - поблагодарила она без намека на улыбку.

Прошло еще несколько минут, и я снова к ней:

- Можно посмотреть, что вы читаете?

- Пожалуйста, - по-прежнему не улыбнувшись, ответила она и передвинула ко мне брошюру.

- Ого! - воскликнул я. - Николай Островский! Жизнь и творчество. Я догадываюсь: вы преподаватель литературы в здешней школе, да?

- Много будете знать, рано состаритесь! - последовал ответ.

- Значит, тайна?

- Да, тайна, - ответила она также без улыбки.

Да, вспомнил, чем она мне... нет, не приглянулась, а только заинтересовала. Строгостью своей. Молодая и строгая. Я даже потом спросил:

- Почему вы такая строгая?

- Так вам и скажу...

- Нет, серьезно?

- Зуб болит, - отмахнулась она.

- У нас в госпитале есть очень хороший зубной врач. Хотите сведу к нему?

- Гершенфельд? - сказала она.

- Да. А вы откуда его знаете?

- Его все здесь знают, - с какой-то неопределенной интонацией ответила она.

- Так в чем же дело?

- Он всех, кто из поселка, не любит.

- Почему?

- Спросите его...

На другой день я действительно спросил доктора Гершенфельда, почему он, как я слышал, не любит поселковых. «Там, когда немцы вели на казнь всех евреев, в том числе мою маму и еще многих родственников, поселковые ох как следили, чтобы ни один еврей не избежал уготованной ему участи...». С горечью должен признаться, что тогда, когда я разводил с учительшей тары-бары, я не знал не только о поведении местного населения, но и о судьбе самих поселковых евреев. Потом я понял, в чем дело: местные об этой странице в своей жизни помалкивали, а евреев, а евреев здесь не осталось... один Гершенфельд... да и его занесло сюда попутным ветром - с армейским госпиталем...

Вот так. А теперь снова за широкий стол в районной библиотеке. Помню, что моя болтовня с учительницей вольно-невольно уперлась в «Как закалялась сталь», прочитанную мною еще до войны, в десятом классе.

- Нравится? - просил я лениво.
- Нравится! - не без вызова ответила она.
- Мужественный человек, - заметил я.
- Да, мужественный, - как бы возражая мне, подтвердила она.
- Конечно, мужественный, - согласился я. - Я вот с одной раненой ногой полгода провалялся в госпитале и свету Божьего не взвидел. Нет, правда. А он всю свою молодость пролежал парализованный и еще писал...

И тут она оживилась:

- Вы не могли бы выступить перед моим классом с рассказом о своем боевом пути?
- Мог бы... почему нет?
- Пятница вас устраивает? В два часа?
- Возражений не имеется!
- Ой, - воскликнула она, - я должна бежать!
- Наверное, он заждался, да?
- Не он, а она, наш завуч!

Тогда, помнится, я не пошел ее провожать. Наверное, лень было. Хотя, когда она направилась к выходу, взгляд мой задержался на ее стройной девичьей фигурке. И я подумал, что неплохо бы... Ну, вы сами понимаете, какие мысли приходят парню в голову в двадцать лет, всего только раз, да, раз вкусившему запретный плод...

До пятницы, в которую мне надлежало выступить перед школьниками, мы еще раз с ней встретились - у здания райкома комсомола. Я проходил мимо, она выходила оттуда.

- Ба, какая неожиданность! - воскликнул я.
- Здравствуйте, - и мы обменялись вялыми рукопожатиями. - Вы не забыли?
- Ну что вы! Всю ночь готовился!
- Вы, наверно, расскажете не только о себе, но и о своих боевых товарищах, командирах, политработниках, об их подвигах?
- Конечно, главное - о политработниках...
- Это ирония?
- Да нет. Я сам комсомолец с дореволюционным стажем...
- Опять ирония... Итак, договорились? Ну, до встречи!

И пошла, поигрывая тем, что пониже талии.

Но тут я вспомнил, что даже не знаю ни имени ее, ни фамилии.

- Девушка, подождите!

Она остановилась и с удивлением посмотрела на меня.

- Простите, я до сих пор не знаю, как вас зовут?

- Ольга Николаевна.

- Оля?

- Ольга Николаевна.

- А меня зовут Боря.

- Борис?.. Я же должна представить вас ребятам?

- Борис Абрамович Кушнер!.. Подождите, нам же по пути!

Тогда я впервые проводил ее до дому. Жила она в самом начале поселка в многооконном деревянном доме с кирпичным цоколем. С ней жила еще одна старушка, не мать, не тетя, а какая-то дальняя родственница. Надо было видеть глаза этой бабули, когда она узрела нас из окна. Только сверкнула зрачками и исчезла. Больше я ее не видел, хотя присутствие ее ощущалось по тихим и далеким шагам и скрипам...

Провожал я до дому Ольгу еще несколько раз. Она, скажу прямо, не очень-то торопилась пригласить меня зайти. Не увенчались успехом и мои робкие попытки перейти от чтения своих и чужих стихов к более тесному сближению.

- Руки! Руки! Укушу! - предупреждала она.

Но все-таки однажды мне удалось сорвать очень слабый, почти безответный поцелуй. Так что можно считать, что его и не было.

В дом же свой она пустила меня после встречи с ее учениками. Господи, чего только я им ни наговорил: и как в атаку ходил, и как самолеты из автомата обстреливал, и как

танки подбивал и многое-многое другое из репертуара современного барона Мюнхгаузена. И ведь верили, слушали, разинув рты. Да я и сам поверил в свои подвиги...

Но вернусь к рассказу о доме. Было в нем четыре или пять комнат, прямо как у больших начальников, а не у простой школьной учительницы. Честное слово, я даже растерялся, когда переступил его порог.

- Н-да... Это все ваш дом? - спросил я потрясенный.

- А чей же еще? - ответила она. - Проходите!

- Собственный или государственный? - продолжал допытываться я.

- Собственный, собственный, приманка для женихов, - криво усмехнувшись, отозвалась она.

- Н-да... - повернувшись к открытому окну в сад, я произнес упоенно. - А дышится-то как легко!

- Кому как, - ответила она.

- Вот это да! Чем же вас не устраивает эта красотища?

И тут я увидел на комодe красного дерева менору - старинный еврейский подсвечник на семь свечей, точно такой же как у моей покойной бабушки Сарры. «Шесть рядовых и один командир!» - как шутил мой дедушка Моисей.

- Странно, - произнес я.

- Что странно? - мгновенно отозвалась она.

- Что у неевреев стоит такая штукавина?

- Не понимаю, подсвечник как подсвечник. Я купила его на барахолке.

- Это еврейский ритуальный подсвечник - менора...

- В первый раз слышу... Ну и что? - пожала она плечами. - Здесь у многих есть вещи, купленные у евреев... Когда-то здесь было еврейское местечко...

- И дом этот тоже был еврейский? - с трудом выговорил я.

- Не знаю. Наверное, - ответила она...

Я окинул взглядом гостиную, и сразу же заговорили стены, пол, подоконники, окна, все, что до сих пор казалось чужим... Нет, не буду повторяться, столько уже об этом написано, я просто сел на подоконник и закрыл глаза. Вернул меня в сегодня голос Ольги:

- Боря, будешь чай пить?

- Буду, - ответил я.

Чай был крепкий, настоящей заварки. Такой чай в последний раз я пил у мамы, в сорок первом. И были еще сушки, ничем не отличающиеся от довоенных.

Мы пили молча, на меня давили стены, а на нее - пугающее молчание гостя. Я думал, она понимала, что гнетет меня, и в то же время, по-видимому, не знала, как подступиться ко мне. Нет, это недолго продолжалось. Я первым прервал тишину, сказал такое, что потом долго не мог простить себе...

- Да, людей уже не вернешь, - и я притянул ее к себе. - Ну что, будешь по-прежнему строить из себя недотрогу? Ну, иди ко мне!

- Сейчас нельзя! - оглянувшись на дверь, покачала она головой.

- Почему? - не отпускал я ее.

- Нельзя! - повторила она, отодвигаясь.

- Но когда, когда? - торопил я ее с ответом.

- Потом... когда-нибудь...

- Ну когда? Завтра? Послезавтра? Послепослезавтра? Или, может быть, через сто лет?

- На будущей неделе...

- Я запомню...

И пожаловалась, что к завтрашнему дню ей надо прочесть сорок шесть школьных сочинений о Николае Островском... я должен понять - ее класс выпускной... одна комиссия за другой... да и директорша почему-то невзлюбила, ждет не дождется, чтобы от нее избавиться...

Что я мог сделать? Так и ушел в тот вечер не солоно хлебавши...

Не скажу, что я с трепетом считал дни до следующей недели, но голова сама, как хороший счетчик, без напоминания отсчитывала их...

И вот этот день, будь он неладен, настал. Замечу, я был здорово под градусом. Вся наша палата выздоравливающих отметила мою скорую выписку, а значит, и возвращение в родную часть, ведущую бои где-то за Вислой. Война шла к концу, и мы на радостях резвились как дети: вся палата ходила ходуном.

И в этом состоянии, представьте, я двинулся за должком. Обещанная близость - вторая в моей жизни - рисовалась мне в таких вдохновляющих красках, что я прямо не чувствовал под собою ног: все это расстояние до ее дома, эти пару километров, я отмахал за считанные минуты.

Было уже под вечер, и слабый, почему-то очень слабый свет из ее окон уже издали ослепил меня и повел к заветной цели. Разумеется, это я сейчас иронизирую над собой, а тогда, а тогда... ну, сами понимаете...

Я нисколько не удивился, что все ее шесть окон на улицу были распахнуты: жара в те дни стояла, как писалось в газетах, африканская. Я подтянулся к окну и заглянул внутрь. Свет проникал через полуоткрытую дверь из дальней комнаты. Я понял, что Ольга там...

Такие решения приходят только подшофе. Что может быть, рассуждал я, смешнее и забавнее проникнуть в дом не через дверь, а через окно и таким кратчайшим путем предстать перед той, чьи объятия несомненно готовы принять тебя? Вот будет веселье, вот будет удивление! И я легко, невзирая на все еще побаливающую ногу, взобрался на подоконник и мягко, по-кошачьи, спрыгнул на пол. Потом так же мягко, на одних цыпочках, пересек гостиную и широко распахнул дверь в Олину комнату...

И тут же готов был провалиться сквозь землю. Ольга была не одна. Напротив нее за столом сидел известный всему городу чекист Крыженков и что-то записывал, Ольга что-то очень тихо ему говорила, а он делал пометки в своем блокноте. Конечно, как только они увидели меня, возникшего из ничего, они сразу же примолкли. Впрочем на лицах их было не столько удивление, сколько любопытство и ожидание, что я скажу в свое оправдание. И я начал лепетать, что спяна спутал окно с дверью, что хотел развеселить всех и т.д. и т.п.

- Вот вам, Ольга Николаевна, пример русской смекалки! - показал на меня капитан.

- Не русской, а еврейской! - зло поправила она.

Я сразу же протрезвел. В одно мгновение стянулись в тугий узел менора, дом, в котором совсем недавно жили евреи, поселок, опоясанный рвами смерти...

- Ах ты, стерва! Ах ты, сучка! - задыхаясь от подкатившей к горлу ненависти и обиды, выкрикивал я. - Пока смекалистыми евреями немцы заполняли рвы, несмекалистые соседи занимали их дома!

- Я не заняла, мне дали, дали, дали! - одним духом выпалила Ольга.

- Таковую домину? Интересно бы знать, за какие заслуги?

- Эй, лейтенант, тише на поворотах! - пригрозил Крыженков. - А сейчас давай мотай отсюда!

- И уйду. Как пришел, так и уйду - через окно! Чтобы не переступать опоганенный вами порог! Адью, стукачка!

И я вылез в окно, пошел по темной дороге к госпиталю.

Вскоре меня догнал капитан Крыженков.

- Так вот, лейтенант Кушнер, - сказал он. - Ни слова никому, что видел и слышал здесь! И о ней тоже ни слова!

- Плевать я хотел на нее!

- Ну это ваше дело, - сказал Крыженков и повернул назад к дому.

- Пошли вы все... - ну, сами понимаете, что я сказал. И он, похоже, слышал это...

А на завтра меня взяли и, осудив за дискредитацию наших славных органов, упекли в штрафной батальон, откуда я вернулся уже обрубком человека - без обеих ног...

Вот и вся история...

ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА

Рассказ-быль

Пролог

После моего окончания отделения журналистики Ленгосуниверситета ЦК партии в лице некоего своего инструктора печати Клейменова долго-долго ломал голову, куда бы приткнуть меня на работу. Разумеется, достаточно было бы вышеупомянутому инструктору снять трубку и позвонить, и перед мною раскрылись бы двери всех редакций и издательств. Но сказать прямо, по-русски: «Возьмите парня на работу!» у него по понятной причине язык не поворачивался. И вот между мной и им с полгода шла игра в кошки-мышки, в которой оба пытались перехитрить друг друга. Он ждал, что я оставлю его в покое, сам займусь своим тудоустройством, я же, потрясая по эту сторону телефонного провода своим дипломом с отличием, изо дня в день требовал, чтобы они там, в Москве, согласно существующему положению, наконец решили вопрос о моем трудовом будущем. Было это летом 1952 года, еще при жизни великого кормчего, и, конечно, нашей родной и любимой партии было не до Липковича. Именно в эти дни ее лучшие умы прикидывали на своих тайных сборищах, как бесшумно избавиться от всех евреев, а не только от меня одного. Но я, по наивности, по-прежнему теребил своего инструктора и просил о назначении. В конце концов, он не выдержал и послал меня, как говорится, подальше... пока что в Нижне-Амурскую область, ближайшую соседку Еврейской автономной.

Потом, спустя много-много лет, когда мне стало известно, что окончательное решение еврейского вопроса в Советском Союзе на первых порах должно было завершиться высылкой всех евреев в Биробиджан, я понял, что этим самым назначением в Комсомольск-на-Амуре в какой-то мере облегчалась работа наших славных чекистов: одно дело везти человека через всю Россию, другое - перекинуть его в считанные часы в соседний город.

Впрочем, нижеамурцы проявили невиданную по тем временам строптивость: отказались меня брать. «У нас своих евреев предостаточно!» - перевел их меканье и беканье на человеческий язык мой большой друг, в недалеком будущем критик и публицист Александр Рубашкин. И он убедил меня, что Клейменов не только не писал по моему поводу в Комсомольск-на-Амуре, но даже и не звонил туда.

Не менее дружные отказы в приеме на работу я получил чуть ли не от всех газет Советского Союза. И только «Бурят-монгольская правда», к моему несказанному удивлению, дала осечку. «Приезжайте», - услышал я мгновенно ставший мне родным голос с едва заметным нерусским акцентом.

Так я стал корреспондентом очень провинциальной с виду, но позарез нужной мне четырехполосной, размером с «Правду», газеты. Много чего я повидал и услышал за время моей работы в далеком песенном Забайкалье...

1

С чего начать историю моей первой командировки? Конечно же, с задания. А задание состояло в том, чтобы широко и вдумчиво описать работу сельмага одного из районов. От Улан-Удэ, где находилась редакция, до райцентра, куда я должен был нагрянуть в новом для себя качестве, было что-то около трехсот километров, суций пустяк по сибирским понятиям. На мое счастье, туда с какими-то товарами возвращалась машина того самого райпотребсоюза, чьи торговые точки я должен был описать.

Милая секретарша управляющего с чудесными раскосыми глазками подвела меня к полуторке и, обращаясь к водителю, демонстративно отвернувшись от меня, произнесла начальственным голосом:

- Вот товарищ корреспондент. Он поедет с вами!

Водитель ничего не ответил, вышел из кабины и стал сердито обстукивать пудовым сапогом каждое колесо. Мне показалось, что все эти удары мысленно предназначались мне - похоже, что, накачанный с утра центральными газетами и радио, он таким образом давал понять мне, что «народ и партия едины».

Усадив меня в кабину, секретарша помахала мне ручкой и скрылась за дверью.

Но шофер не спешил в дорогу. Ходил куда-то, покуривал самокрутку, сплевывал на тротуар и мостовую и, избегая встречаться со мной взглядом, заглядывал в кабину.

Наконец появился тот, кого он, по-видимому, ждал. Это был молоденький лейтенант в синей фуражке с малиновым околышем. Он с удивлением и даже некоторой растерянностью смотрел на меня, восседавшего рядом с водителем.

- Уступите место лейтенанту! - буркнул, по-прежнему не глядя на меня, водитель.

Я мгновенно вспомнил, что являюсь спецкором республиканской партийной газеты, то есть одним из сильных мира сего, и вскинул голову:

- Почему я должен уступить ему место?

Лейтенантские щеки запылали. Он взобрался на подножку и взволнованно заявил:

- К сведению товарища! Я имею право попросить из кабины даже управляющего потребсоюзом!

- Выходите, а то не поеду! - сказал шофер и широко распахнул передо мною дверцу.

И тут я вспомнил (разве такое утаишь от коллектива?), что вчера наш главный получил втык по прямому проводу из Москвы за недостаточную активность в борьбе с космополитизмом и порочную кадровую политику - помимо меня, за последние полгода были приняты на работу в редакции еще один еврей и один полуеврей. Словом, в любую минуту редактор мог сломаться и прогнать нас под любым предлогом, а то и просто без предлога. И меня в первую очередь, как вступившего в пререкания с представителем органов. Так что я решил лучше не связываться. И молча, с надменной усмешкой на своих непослушных еврейских губах, перебрался в кузов.

Оттуда на меня с любопытством и жалостью поглядывали остальные пассажиры: две немолодые русские женщины (одна похожая на сельскую учительницу, другая - на продавщицу), две девушки-бурятки и маленький человечек с остро отточенным карандашом в нагрудном кармашке...

Я еще раздумывал, куда сесть, а машина уже понеслась. Я едва не плюхнулся на колени одной из девчонок...

Только уселся, как тут же ко мне перебрался человек с карандашом:

- Вот вы, наверно, с законченным высшим образованием, - произнес он уважительно. - Скажите, ну, построим коммунизм, а дальше что?

- Не знаю, - буркнул я, - наверно, что-нибудь веселенькое, пляши с утра до вечера!

- А как по Марксу? - продолжал допытываться человек с карандашом.

- Я почитаю Маркса и как-нибудь сообщу вам. Ладно?

- А по Энгельсу?

- А заодно и Энгельса. Как же без Энгельса?

За подобными разговорами, как в полусне, прошло часа два или чуть больше, пока мы...

2

...не въехали в какое-то село и не остановились у столовки, около которой паслось, наверно, не меньше двух десятков собак. И надо же, едва мы спустились на землю, как нашему взору предстала большая афиша со страстным призывом к населению:

«УНИЧТОЖАЙТЕ БРОДЯЧИХ СОБАК!»

Бешенство встречается во всех странах среди собак и диких животных. До великой Октябрьской Социалистической революции эта болезнь охватывала большие территории. В последнее время эта болезнь значительно уменьшилась или совсем исчезла только благодаря решительному уничтожению собак. После войны 41-45 годов бешенство

появилось благодаря ослаблению борьбы с собаками. Одна бешеная собака может нанести до 100 поражений животным и людям.

Граждане! Уничтожайте бродячих собак» (в этом месте было добавлено от руки красным карандашом: «И евреев!»).

- Это уже лишнее! - услышал я смущенный голос учительницы. - Возьмите резинку и сотрите!

Я взял у нее резинку и в бешеном темпе, мысленно ругаясь последними словами, дотер эту чертову карандашную запись до дыр. Это видели многие. Но никто не сказал ни слова. Очевидно, решили, что, если я что-то стираю, значит, имею право на это...

О том, чтобы подзаправиться в этой столовке, разговор шел еще в дороге. Но здесь, на месте, две девушки-бурятки вдруг почему-то расхотели есть. И словно кому-то назло уселись на ступеньках в столовку, причем не с краю, а почти в серединке.

Первым, кто выразил недовольство этим, был наш мрачный водитель. Он остановился напротив девушек и сказал:

- А ну, кыш отсюда!

Они даже бровью не повели, продолжали весело говорить о чем-то на своем языке.

Тогда шофер набрал полный рот слюны и сплюнул рядом с ними. Но и это на них не подействовало.

Поднимавшийся чуть позади лейтенант с малиновым околышем произнес, обращаясь к водителю:

- Между прочим, буряты дали самый низкий процент врагов народа!

- А самый большой? - спросил человек с карандашом.

- Самый большой... - начал лейтенант и смутился, вспомнив о моем присутствии. - А зачем вам это знать?

- Так ведь не я завел разговор об этом? - нашелся тот.

- Ну и народ пошел! - возмущенно проговорил лейтенант и вслед за водителем прошел в столовку...

В столовке дым стоял столбом. Курили все, включая буфетчицу и обеих официанток. Я взял гуляш и кружку пива. Сел за свободный столик. Только начал есть, как ко мне подсел старик-старообрядец из местных. Кроме стакана водки и пары ломтиков хлеба он ничего не взял.

- Раньше мы это, - он показал на водку, - ни-ни! А теперь вот наворачиваем. Как говорится, догнать и перегнать капиталистические страны на душу населения!.. Ваше здоровье! - и, как воду, не поморщившись, выпил. Занюхал хлебом. - Может, составите компанию? - вдруг спросил он. - Я возьму?.. Вы не думайте, я сам по профессии агроном. Один журналист написал обо мне: «Энциклопедия народных примет». И этой весной я предупреждал районные организации: не спешите с севом! Ан не послушали и погорели. А ведь есть примета такая: если на верху вербы веточки голые, а внизу усыпаны почками, то ранний сев будет плохим, а средний хорошим. А им что, им главное - отчитаться! Сев закончен к такому-то, товарищ Округин!.. Лидочка, - позвал официантку, - принеси нам по 150 граммов. Но, но... я плачу!

Я слушал и попутно любовался его большой, окладистой, желтовато-серебристой бородой. Красив старик был до невозможности. Это я сейчас понимаю, что не так уж он был и стар - шестьдесят с небольшим. Он тоже смотрел на меня не без интереса, с чуть заметным недоверием...

И вдруг неожиданный вопрос:

- Скажите, вот газеты сейчас много пишут о евреях. Врут или не врут?

- Врут! - отрезал я, встретив взгляд его умных, много повидавших глаз.

- Да, я тоже подумываю, что правды там немного...

- Совсем нет!

- Недостатки есть у всех, - мягко поправил он. - Даже у англичан. Люблю англичан.

- Почему именно англичан? - удивился я: странная, весьма странная любовь для старика-старовера...

- Серьезно к жизни относятся. Умные они. Умнее всех. Никаких фокусов!

- Ну, как не было фокусов? - возразил я. - Один король Генрих восьмой чего стоил! Сколько жен казнил!

- Когда это было!.. Серьезный народ! Не то, что мы... русские!.. Уж очень много на себя берем, меньше бы надо... Кажись, пора вам?

Мимо нашего столика прошел шофер. Он покосился жестким, не без любопытства, взглядом на моего соседа, но ничего не сказал. За ним потянулись к выходу и остальные...

3

В райцентр мы приехали только под вечер. Я пошел узнавать насчет гостиницы, остальные разошлись по домам. В гостинице было всего две комнаты и пять кроватей. Одна, что у окна, была свободная. На подоконнике лежала свежая районная газетка. Как взглянул в нее, так и сел. Очерк о свиноводах на первой полосе начинался так: «И только когда наступит глубокая ночь и сопки покроются темнотой, когда свиньи улягутся спать и кругом воцарится тишина, Гомбожап Очиров вынимает закладку между страницами «Краткого курса Истории ВКП(б)» и погружается в чтение...»

Чтобы убить как-то время, я по совету хозяйки гостиницы направился в местный Дом культуры, благо что до него было рукой подать...

Как и положено, вначале был доклад. После того, что понаписано о докладчиках в сельских клубах выдающимися мастерами русской прозы, мне бы сидеть в уголку и помалкивать. Но какой автор может устоять от тайного соперничества с классиками: а вдруг?

Доклад был посвящен (вы угадали!) буржуазной сущности сионизма как агентуры международного империализма. Конечно, ничего нового в лекции не было. О том, что говорил докладчик, писали все газеты: и большие, и средние, и малые. Новым было лишь то, что он каждые полторы минуты икал. Не знаю, что он такое съел или выпил, но его красная физиономия, казалось, вот-вот лопнет, и печальный список жертв международного сионизма увеличится на одного лектора.

- Ну как? - услышал я позади себя.

Я обернулся и увидел нашего лейтенанта.

- Что как?

- Ничего, скоро возьмемся за них! - пообещал он зло.

- За кого - за них? - сдавленным голосом спросил я.

- За сионистов, мать их так! - выругался он.

- А вы разве за них еще не взялись? - спросил я.

- Это что - цветики, ягодки потом будут! - угрожающе сообщил он.

- Спасибо за информацию! - сказал я и отвернулся.

Лекция, сопровождаемая нескончаемой икотой, между тем охватывала все новые и новые сферы действия всемирного еврейства. Добралась она и до журналистов, которые в основной своей массе... ик-к!.. еврейской национальности.

- Дайте ему водички глотнуть! - не выдержал кто-то из зала.

Все посмотрели в сторону насмешливо-жалостливого голоса.

- Ну чего? Ну чего? - задергался парень в одной голубой майке с безмятежно выпирающими мышцами. - Чего такого сказал? Попить человеку дайте!

И действительно, через минуту-другую на сцене появилась одна из наших девушек-буряток и молча, с холодным, отчужденным лицом поставила на стол перед лектором стакан воды. Он поблагодарил, отпил половину стакана и продолжал лекцию. С этого момента икота быстро пошла на убыль. Теперь уже ничто не отвлекало слушателей от актуального содержания. Хотя, если быть точным, добрая треть зала, особенно молодежь, откровенно скучала. Разумеется, с тем, что с сионизмом надо кончать, соглашались все, но если выбирать между танцами и дальнейшим разглагольствованием о том, какие плохие евреи, то, ясное дело, победили танцы.

Впрочем, две трети зала составляли пожилые слушатели, как русские, так и буряты. В отличие от молодежи, они слушали внимательно, внутренне соглашаясь с тем, что евреи,

может быть, народ умный и способный, но с ними надо держать ухо востро, а то не успеешь оглянуться, как окажешься под пятой международных банков, руководимых одними евреями...

Но вот лекция кончилась, и первые три ряда засыпали докладчика вопросами.

- Правда, что у каждого еврея на сберкнижке не меньше ста тысяч рублей?

Лектор, не задумываясь, ответил:

- Не для широкого оглашения. В настоящее время идут подсчеты...

Второй вопрос:

- Ходят слухи, что Гитлер - крещеный еврей. Так ли это?

Ответ:

- Не могу сказать ни да, ни нет. Существуют на этот счет разные мнения.

Третий вопрос:

- Почему бы не разрешить всем евреям уехать в Израиль?

Ответ:

- А им и здесь неплохо! Лучше, чем всем!

Голос из зала:

- А чего им ехать туда? Там стреляют!

- Чтоб я вышла когда-нибудь за еврея? Никогда! - послышалось где-то позади меня.

Дальше слушать было выше моих сил. Я встал и, не глядя на лейтенанта, дышавшего мне прямо в затылок, молча вышел из зала...

4

Еще утром «хозяйка» гостиницы предупредила меня, что сегодня все районное начальство на партконференции.

- Где? Да в нашем ДК!..

И впрямь перед ДК уже толпился народ. Все до единого были в тщательно выглаженных костюмах, при галстуках. И не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это и есть вся партийная и советская верхушка района. То ли конференция еще не началась, то ли вышли в перерыве подышать свежим воздухом.

Конечно, появление мое не могло остаться незамеченным. Высокий, худой, с лицом, отражающим тысячелетние муки своего народа, я как бы сошел на эту площадь со страниц центральных газет, пекущих как блины фельетоны о зловредной нации. Но тут мне здорово повезло, я нос к носу столкнулся с инструктором райкома партии Митрофановым, который всего несколько дней назад побывал у нас в редакции и почтительно слонялся по отделам, выпытывая, кто сколько получает за свои публикации. Он, похоже, и в самом деле обрадовался, увидев меня, и тут же зачем-то познакомил меня с райвоенкомом и начальником пожарной команды. Узнав, какое задание привело меня в их район, он прямо-таки оперативно подвел меня к председателю райпотребсоюза, стоявшему как раз в двух шагах от нас. Это был человек чуть ниже меня ростом, с глазами, упрятыми так глубоко в глазницы, что их почти не было видно. Я не встречал в своей жизни глаз, которые столь искусно природа приспособила для вранья. Он и начал с вранья, вогнавшего не его, а меня в краску.

- Очень рад, очень рад, - распевал он своим высоким голосом. - Я уже несколько лет слежу за вашим творчеством. Мы с женой не пропустили ни одного вашего фельетона!

Господи, несколько лет!.. И это, когда я здесь всего полгода, и не написал не то что ни одного фельетона, но и нормальной статьи.

- Чем могу служить? - продолжал он, купая меня в патоке.

Я сказал о задании.

- Какая досада! - сокрушался он. - Я душой с вами, а мое грешное тело, увы, должно пребывать здесь! Но не отчаивайтесь! Мой заместитель, Иосиф Вениаминович Могенштейн - он только что вернулся из командировки - предоставит вам исчерпывающую информацию по всем интересующим вас вопросам. Скажите только ему, что это моя просьба.

Последние слова, к моему удивлению, прозвучали довольно жестко, не в духе недавней слащавости. На этой высокой ноте мы и расстались...

5

О чем могут говорить два еврея, оставшиеся наедине? Правильно! Все о том же! Могенштейн годился мне в отцы. И тем не менее, мы понимали друг друга с полуслова. Во время нашего разговора он то и дело вскакивал, подходил к двери, выглядывал, не подслушивает ли кто, плотно (плотнее не бывает!) прикрывал ее и как-то не по-хозяйски, не всей задницей, садился в собственное кресло. В общем, мысли о текущем моменте (выражение Могенштейна) у нас не расходились. Только он, в отличие от меня, все время повторял: «Не было бы хуже!». Я же, в отличие от него, говорил: «Это все Маленков! Подох бы скорее!». Причастности же великого вождя и учителя к травле евреев ни он, ни я даже в мыслях не допускали. Разве может один человек, пусть он трижды гениальный, углядеть за всем в такой огромной стране?

О чем-нибудь другом, кроме еврейских бед, мы не говорили. Под конец нашего осторожного, с поглядыванием на дверь обмена мнениями Могенштейн протянул мне копию отчета о работе райпотребсоюза за последний год. («Здесь все, что вам потребуется для статьи!») и предложил сходить пообедать. Я охотно поддержал это предложение.

Столовая райпотребсоюза находилась рядом, на той стороне улицы, и каждого вошедшего в нее сражала наповал запахами перекипших щей и такой же перекипшей томатной подливки.

Бутылки с водкой стояли почти на каждом столике, и наши с Могенштейном бедные еврейские головы в одно мгновение распухли от нескончаемой и громогласной пьяной болтовни.

Могенштейн сел, указав мне на место рядом с собой, за крайний столик, на котором стояла табличка с надписью «Не занимать!» Был здесь и третий - свободный - стул, который Могенштейн, чтобы он никого не соблазнял, перенес к стене.

Однако не прошло и двух минут, как на наш столик опустилась уже початая бутылка водки, и третий стул вернулся на свое место, поставленный сердитой рукой хорошо знакомого мне шофера. Да, это был он, водитель нашей полуторки. Молча, не глядя на нас, он налил себе стакан водки и так же молча, на этот раз, не избегая встречаться со мной взглядом, выпил. Вскоре ему, как и чуть раньше нам, принесли тарелку щей и картошку, политую какой-то дрянью. Щи он ел зло и презрительно. Потом поднял голову и сказал мне:

- Христа продали! Теперь родину предаете!

Могенштейн надавил мне на ногу, призывая промолчать. И я промолчал, не зная, куда деваться от налитого ненавистью взгляда.

- Хлеб-то чей жрешь, морда твоя бесстыжая?

Я понимал, что не справлюсь с ним, кулаки у него были с пудовую гирию, с первого же удара уложит меня.

- Петюш, ну не надо! - почти взмолился Могенштейн. - Это же корреспондент республиканской партийной газеты. Он тебе ничего плохого не сделал!

- А ты сиди! - отмахнулся шофер и снова принялся за меня. - Я за тобой давно слежу. Ну, чего ухмыляешься, сука?

Честное слово, я ни капельки не ухмылялся. Возможно, по моему лицу пробежала какая-то гримаса, не знаю, от страха ли, от растерянности ли. Я видел, что к нашему разговору, назовем это так, все больше прислушивались посетители столовки. Но я не видел, чтобы кто-нибудь возмутился или собирался одернуть распоясавшегося Петюшу. И вдруг я всем нутром почувствовал: скажи я слово, и эта бутылка с недопитой водкой разможжит мне череп. Я снова встретился взглядом с Петюшей и понял, что надо или опередить его - ударить чем-нибудь тяжелым первым, или же под каким-нибудь легким, не раздражающим предлогом встать из-за стола и уйти. Я уже не верил ни в какую еврейскую солидарность: Могенштейн сидел ни жив, ни мертв. То, о чем мы незадолго

перед этим говорили и чего больше всего боялись, неожиданно и в такой дикой форме свалилось на наши головы в четырех тысячах километров от Москвы с ее глумливыми фельетонами и сволочными передовыми статьями.

- Я пойду, у меня тут еще много дел! - сказал я Могенштейну и, положив на стол полсотни, не спеша встал. И, не глядя на шофера, повернулся к нему спиной. В эти секунды я слышал, как он налил остатки водки в стакан и с силой опустил бутылку на стол: теперь в любое мгновение она из емкости, обесцененной до рубля, могла превратиться в простейшее орудие смерти. Короткая мысль-вопрос, как поведет себя при всем этом Могенштейн, так и не получила ответа. Я очень сомневался, что он решится вмешаться или хотя бы для начала перехватить бутылку. Его растерянное молчание, столь поразившее меня с момента появления шофера (все-таки тот был его подчиненным и как-то зависел от него), лишало меня последней надежды на его вмешательство. Так же, как и на вмешательство остальных, с интересом, а может быть, даже со страхом наблюдавших за развитием новейшего советского сюжета.

Я чувствовал, что жизнь моя на волоске. Такое уже было однажды 29 апреля 1945 года, когда я лицом к лицу столкнулся в одном из берлинских особняков с немецким автоматчиком. Шмайссер висел у него на груди, и чтобы изрешетить меня, ему достаточно было нажать на спусковой крючок. Но он почему-то не нажал. Погрозил мне громадным кулаком и скрылся за соседней дверью.

А сейчас я даже не видел глаз своего врага. Но и без того я знал, что вся ненависть и злоба, которые клокотали в нем, ищут выхода. И до этого выхода было рукой подать. Весь страх за себя и свою еще только начинающуюся жизнь слепился у меня в затылке. Я собрал всю свою волю в кулак и направился к двери. С каждым шагом я отдалялся от его взгляда, упиравшегося в мой затылок и спину. Впрочем, удар мог настичь меня и у порога. Но вот дверь распахнулась и прикрыла меня... Через час я уже был далеко от райцентра...

Было это... было это... сейчас скажу точно... в конце августа 1952 года. До смерти Сталина оставалось еще целых шесть месяцев, еще целых шесть месяцев...



СВЕТЛАНА ДОМБ

CARMINA BURANA

Эссе

"Carmina Burana" немецкого композитора Карла Орфа в исполнении Кливлендского оркестра, солистов, хора, дирижер GARETH HORRELL.

Мажорная, громкая, бодрая, радостная музыка, исполняемая в едином настроении радостного жизнеутверждения. Здесь нет места глубоким переживаниям, столкновениям противоречий, страстных борений, нет трагических интонаций и предчувствия обреченности, что есть в "Серенаде для струнного оркестра" П.И. Чайковского, исполненной в первом отделении концерта. Здесь все очень просто. Даже как-то прямолинейно.

В основе кантаты лежат тексты "Песен Бурана" - XIII в. манускрипта Бенедиктинского монастыря в Баварских Альпах. Исполняется на латинском, старогерманском, старофранцузском языках. Языки, понятно, малознакомые, но песни о любви, застольные песни, даже духовные песни понятны на любых языках.

Программа объясняет содержание кантаты, и название каждой части сразу же настраивает слушателей на определенный лад. Ну посудите сами: "Весной", "На лужайке", "В таверне", "Любовный круг"... И все это обрамлено обращением к Фортуне - Богине Удачи, "Царице мира".

Радостное восприятие бытия - торжествующая, победоносная музыка. Сплошное удовольствие и никаких проблем!

Медные и ударные инструменты определяют бодрый ритм. Весело шагать, бегать, танцевать под такую музыку... Маршировать!... Громкость почти на уровне современных рок-групп.

Благодарные слушатели взорвались шквалом аплодисментов. Все, казалось, были довольны. Почему же я сидела отчасти подавленная? Почему "Carmina Burana" звучала для меня так узнаваемо, хотя прежде я никогда ее не слышала? Почему мне не понравилась эта музыка, хотя к исполнению у меня не было претензий? Для Кливлендского оркестра это, конечно, не представляло никаких трудностей, хор был на высоком уровне. Что же, что мучило меня? Я должна была разобраться.

Карл Орф писал свою "Carmina Burana" в 1935-36 гг. Это было счастливое время для Германии. Тяжело переживая поражение в 1-й Мировой войне, страна вышла из экономического кризиса и бурно набирала темпы с приходом к власти Гитлера. И композитор пишет жизнерадостную музыку, обращаясь к текстам далекого XIII в., полным радостного восприятия жизни, удовольствия от таких простых, но важных вещей, как еда, вино, любовь, особенно, когда удача тебе сопутствует.

Германия радовалась своему возрождению. Но национал-социалистическая партия уже существовала. И уже уезжали из страны ученые и писатели, уже начинали полыхать пожарища от тысяч сжигаемых книг, уже проводились тесты для подтверждения чистоты расы, уже начинали дымить трубы крематориев. Молодецкие банды коричневорубашечников чувствовали себя хозяевами жизни, считая, что мир

принадлежит им. Нацисты любили митинговать в пивных. Они пили пиво и распевали бодрые песни на музыку, очень похожую на музыку Карла Орфа. Немцы любили хоровое пение...

И сейчас, уже на исходе XX века, пережив поражение и во 2-й Мировой войне, они все так же любят посидеть в пивной. Живуча традиция! Настоящий немец - не тот Будденброк, педант с косым пробором на гладко причесанном черепе, а тот, который широват и простоват, с явно видимым брюшком, мол, "свой человек", "душа-парень", любит повечерничать в пивной и выпить не одну пинту пива.

Когда я была в Германии, я не могла не заглянуть в пивную в Старом городе в Дюссельдорфе, именно заглянуть - на большее не хватило смелости. Был субботний вечер. Пивная была полна народу. Женщин почти не было. А мужчины, видимо, насытившись, громко пели все те же ритмичные и бодрые песни.

И там же, в Германии, у меня произошла встреча с молодыми сегодняшними фашистами. Белобрысые бобрики, красные лица от выпитого пива. Они затеяли драку в пригородном поезде. Вызвали полицию, их высадили, и когда поезд тронулся, я видела через окно, как они стояли вдоль стены с поднятыми руками (по полицейскому ордеру) и громко пели настоящую фашистскую песню времен 2-й Мировой войны. Я не знаю ее названия, но мелодия была слишком знакома, и все такая же бодрая и решительная.

Подобную музыку мы слышали во многих фильмах об Отечественной войне. На экране жаркий летний день, по хлебному полю идут крепкие парни в рубашках с закатанными рукавами, с автоматами наперевес, смеющиеся во весь рот. И поджигают хлеба и сараи, в которые согнаны старики и женщины с детьми... Вспомните, например, фильм режиссера Э.Климова "Иди и смотри". Они шли под веселую музыку, очень похожую на музыку Карла Орфа...

И вот теперь, сидя в Blossom Center, я слышала бодрые, решительные ритмы, и хор радостно утверждал силу и здоровье. А я видела все тех же молодых и веселых фашистских солдат, которые шли и пели свои бодрые песни, и кто-то подыгрывал им на губной гармошке...



У НАС В ГОСТЯХ

ВЛАДИМИР ЕДИДОВИЧ

Нью-Йорк

В КАНУН ЙОМ-КИПУРА

Рассказ

Он не мог вспомнить, как она перешла к рассказу о выборе, который вынуждена была сделать ее мама. Теперь даже трудно установить, что рассказала она при их первой встрече, а что он узнал спустя годы - от нее и от других людей. Ничего удивительного, с тех пор прошло более полувека... Воскрешая события тех лет, Семен иногда с удивлением замечал, что некоторые эпизоды, засевшие в его памяти, он, по-видимому, домыслил сам. Однако, рисуя картины событий, происшедших в годы оккупации, его мысль никогда не проникала в дом полицая. К происходившему там между ее мамой - тетей Соней - и рыжим Николаем он возвращался неоднократно, но у стен этого дома его воображение отключалось - как будто натываясь на невидимый экран. И еще он замечал, что в его мыслях вместо тети Сони иногда возникал образ самой Ханы. Довоенной, с длинной косой.

Чаще всего все это приходит в голову по мере приближения осенних праздников. Он никогда религиозностью не отличался, но в последние годы стал на праздники заглядывать в синагогу. За службой он, как правило, не следил, хотя английский уже понимал хорошо, а иврит - в объеме молитв - читал и понимал с детства. Сидя с открытым сидуром в руках, он предавался своим мыслям. Ему казалось, что здесь, в синагоге, мысли текут свободнее, не цепляясь за мелочи. Вот и сейчас, откинувшись в кресле, он оказался в далеком сорок пятом. Это тогда она сказала: "Завтра Йом-Кипур". После войны эти слова показались ему настолько странными, что он переспросил: "Завтра - что?" При лунном свете ее серые глаза казались темными. "Завтра Йом-Кипур, - повторила она и добавила: - Годовщина уничтожения гетто".

...Они тогда встретились на станции Крулевщизна. Дальше поезд не шел - железнодорожный путь еще не был восстановлен. Видимо, и нужды особой в нем пока не было - город, куда он направлялся, лежал в развалинах, и несколько десятков появившихся тогда жителей о железнодорожном сообщении с внешним миром даже не мечтали. Но он всего этого не знал. Когда он сошел на перрон, красный диск осеннего солнца уже наполовину спрятался за черепичной крышей старой станционной постройки. Вместе с другими пассажирами он направился в это полуразрушенное здание и, следуя за ними, попал в буфет. Здесь царил полумрак. Единственное окно без стекла было забито досками. Две коптилки, сделанные из снарядных гильз, потрескивая, тускло освещали грязные стены некогда даже щеголеватой комнаты с дубовой буфетной стойкой, за которой - неожиданно вспомнил он тогда - раньше хозяйничала краснощекая пани Зося. Странно, прошла такая война, погибли самые дорогие люди, а он, подъезжая к дому, вспомнил не маму, не близких, а какую-то пани Зося. Но - и тогда, и сейчас, в синагоге, - вместе с пани Зосей в памяти всплыла картинка, как мама покупает ему у этой стойки миндальное печенье... Эх, мама, мама. Как только город освободили, он, на что-то все же надеясь, писал ей письма...

Тогда, в сорок пятом, за той стойкой стоял однорукий мужик в линялой гимнастерке с несколькими рядами недавно вошедших в моду орденских ленточек. Заметив его, буфетчик прикрикнул на толпившихся перед ним выпивох: "Робята, морячка-то, морячка пропустите!" Не спрашивая, он налил Семену какую-то жидкость в выдавшую виды консервную банку с аккуратно заклепанными краями, положил рядом небольшое яблочко-падалицу. Жидкость обожгла горло. И в то же мгновение он услышал ее голос. Она не вскрикнула, не запричитала, а как-то вопросительно и буднично назвала его по имени. Замерев, не оглядываясь, он навалился на стойку. В левом ухе, все усиливаясь, нарастал знакомый звон. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к мысли, что Хана жива, и к поразившему его факту - он не забыл за все эти более чем пятьдесят месяцев ее голос. Семен выпрямился, вздохнул, достал из бумажника и отдал буфетчику красненькую тридцатку и только в этот момент осознал, что боится обернуться. Да, он боялся понять, что ошибся. Вот тогда она положила руку ему на плечо и, как это было в немыслимо далеком "до войны", ответила на незаданный им вопрос: "Да, Сеня, это я..."

Он хорошо помнит: она сказала, что на ночь глядя идти пешком опасно, все же восемнадцать километров по шпалам, лесом, лучше выйти с рассветом. А пока, держась за руки и не очень удаляясь от станции, они стали прогуливаться вдоль железнодорожной насыпи в сторону их родного города, возвращались обратно, опять поворачивали. Семен, как будто им больше не о чем было говорить, рассказывал, как три недели назад, после окончания войны с Японией, он, неожиданно получив отпуск, поехал домой. А куда же еще? Рассказывал, с какими приключениями он добирался через всю страну с Сахалина до Москвы, а потом из Москвы сюда. Он избегал смотреть ей в лицо, говорил возбужденно и торопливо, боясь остановиться. Но с облегчением замолчал, когда она, слегка сжав его руку, мягко попросила: "Успокойся".

...Звук шофара вернул его к действительности. Сколько лет существует этот обычай? Две тысячи, или он придуман позже? Нет, конечно, обычай этот - один из очень древних, от наших предков - животноводов. Когда он думал о древности своего народа, Семен выставлял вперед подбородок и раздувал ноздри: да уж, не вчера мы алфавит придумали...

...В такие случайности трудно поверить: Хана была последней, с кем он простился, уходя из города утром 25 июня сорок первого. И именно ее - первую из своего города - он встретил, вернувшись. Тогда в его голове медленно и тяжело заворочалась страшная мысль - не единственная ли она выжила? Усилием воли он эту мысль отогнал и осторожно спросил: "Ты вроде меня встречаешь?" Выяснилось - она сама после долгого отсутствия возвращалась домой. Действительно, встретились случайно. Потом она спросила, был ли он ранен. Он ответил, что ему повезло, что его только три раза контузило, но руки-ноги целы. Вот тогда - это он запомнил на всю жизнь - Хана стала перед ним, взяла за руки и спокойно, даже очень спокойно, сказала: "Семочка, все твои погибли. Все. И мои тоже - все. Я должна тебе это сказать, а то ты не спрашиваешь и - я знаю - надеешься".

...Они сидели на снарядных ящиках у самой входной двери. Из комнаты ожидания доносился храп, тянуло смешанным смрадом портянок и махорочного дыма. Хана сняла сапоги - оказалось, она в какой-то луже промочила ноги, и он стал отогревать их под бушлатом. Да, он действительно не помнит, разве не тогда, на ящиках, она рассказала о том, как мама ее спасла? Нет, нет, тогда она рассказывала о ребятах, погибших еще при ней в гетто, до ее ухода. Зато он хорошо запомнил, как, прервав свой рассказ, она вдруг сказала: "А мы ведь и не поцеловались даже, такая встреча, а ты - как истукан!.." И засмеялась. Как раньше, своим "довоенным смехом". А он нагнулся к ее ногам, лежащим на его коленях, и стал целовать замерзшие пальчики. Хана не шевелилась, и вдруг Семен услышал, что она плачет.

...Он захлопнул сидур и оглянулся, как будто испугавшись, что кто-то услышит ее тихое всхлипывание или увидит, как он целует девчонке ноги. Но служба шла своим чередом, сидящая перед ним пара тихо переговаривалась, сосед справа беззвучно шевелил губами, напряженно следя по сидуру за текстом молитвы. Он здесь никому не был нужен, этот "русский" - ни он, ни его мысли. Почувствовал себя "привычно неудобно", как в первые

годы эмиграции, и в то же мгновение в подсознании, как легкое облачко, выплыла знакомая мысль, что он несправедлив, что к ним здесь относятся даже очень хорошо и никто не виноват в том, что американцы и они - эмигранты - из разных миров. Семен торопливо закивал головой в знак полного согласия с этой мыслью, но, даже осудив свое "неправильное чувство", он от него избавиться не смог. Зажмурив глаза, заставил себя вернуться "туда".

...Она спросила, помнит ли он ее маму. Да, он помнил, хорошо помнил. А теперь все время пугает их лица. У Ханы были такие же, как у ее мамы, большие серые глаза, а под глазами - по несколько веснушек.

...Фамилия этого рыжего была Нехвядович, при поляках они держали колбасное производство с собственной лавкой. Он был младшим братом хозяина, дружил с евреями, работал на "тартаке" - небольшом лесопильном заводике - и частенько захаживал по "лесным делам" к родителям Ханы. Знал ли кто-нибудь, что в этот дом его влекли не дела, а хозяйка - стройная, хоть и мать трех дочерей, красавица-еврейка Соня? Сколько же ей было лет, тете Соне? Лет сорок, немногим больше? Они, дети, о возрасте своих родителей не думали, но тетя Соня была, наверное, моложе его мамы. Да и маме-то было далеко до пятидесяти.

С приходом советской власти этот рыжий каким-то образом оказался в профсоюзных активистах, говорили, что он донес на брата, который при национализации производства утаил какое-то колбасное оборудование. О превращении при немцах рыжего Николая в важный чин местной полиции Семен впервые узнал от Ханы, утром, когда они шли по шпалам к своему городу, потом ему не раз приходилось выслушивать рассказы о Нехвядовиче - и о его расправах над евреями, и о его приставании к Соне, и о его гибели. Но тогда, шагая по шпалам, он махнул рукой, когда Хана уже в третий раз упомянула имя Николая: "Да черт с ним, с негодяем, что о нем говорить," - перебил он ее, чтобы спросить о чем-то, как ему показалось, более важном. Вот тогда она и вынула из застегнутого булавкой кармана вязаной кофты паспорт и протянула его Семену. Он не понял, зачем она это делает, но она настояла: "Взгляни, так надо." Первое, что ему бросилось в глаза, когда он открыл основательно помятый документ, была ее довоенная фотокарточка. И только несколько позже он прочитал: "Ирена Осташевска". Она молча забрала паспорт и спросила: "Ты ее помнишь?" Да, Ирену он помнил, красивая девочка, полька, училась вместе с ним в гимназии.

"Теперь Ирена - это я, - начала свой рассказ Хана. - Этот паспорт, уже с моей карточкой, мне отдала мама, она его раздобыла у рыжего, у Николая. Осташевских при советах арестовали. Убегая в сорок первом, охрана, наверное, расстреляла их, вот он и подобрал его где-то, в тюрьме или в НКВД".

Николай часто бывал в гетто. Еще до войны он хорошо знал многие еврейские семьи, и его нельзя было обмануть ни при выделении людей на работу, ни при получении отрубей для похлебок. Свою власть над обитателями гетто он утвердил в первый же день, застрелив недостаточно почтительно, по его мнению, ответившего ему шестнадцатилетнего Ицика Финкельштейна. Это было первым убийством, оно потрясло, напугало и откликнулось сопротивлением. Правда, сопротивление началось позже, а тогда...

"Он часто заходил к нам в дом, разговаривал только с мамой, нас, девчонок, не замечал, отцу вежливо, как перед войной, подавал руку. Маме говорил, я слышала, что может ее забрать, но хочет, чтобы она пришла к нему по доброй воле. Потом, когда папа погиб на пилораме, он стал настойчивее, но силу не применял, говорил, что дождетя. Ты помнишь Давида Хейфеца? Он достал автомат, и мы договорились, что он рыжего убьет. Но не удалось, а Давид погиб сам. Тогда же несколько ребят сумели уйти в лес, к партизанам. Их семьи рыжий расстреливал лично".

Хелена, старшая дочь Текли-дворничихи, рассказывала Семену, что Николай дал Соне постоянный пропуск, она могла выходить и возвращаться в гетто, когда ей захочется. Это на случай, если она надумает прийти к нему. "Ды не хадзила она, зря языками мелюць. Толька напаследак, перед вашим Йом-Кипуром наведалься, тады она яго и парешила".

"За неделю до уничтожения гетто рыжий приходил к ним, рассказывала Хана. Их, девчонок, он выгнал на улицу и с полчаса говорил с Соней наедине. "Когда он ушел, мама сказала, что Николай обещал вывести нашу семью в лес. А накануне Йом-Кипура мама вдруг говорит мне, что идет к Николаю и, если ничего не случится, вернется с добрыми вестями. Розе и Рахили велела ничего не говорить. Вернулась она ночью, разбудила меня, сказала, что с Николаем обо всем договорилась. Дала этот паспорт, отдала пропуск, надела мне на шею цепочку с крестиком, объяснила, что отныне я - полька Осташевска, и велела немедленно уходить. Обещала, что через несколько дней встретимся в лесу, сказала - где. На случай, если не встретимся, попрощалась. Сестер будить не разрешила. Я сделала, как мама велела, ушла. Полицейский у ворот на пропуск взглянул мельком, обругал, но не остановил. Улицы были пустынные, через несколько часов я уже была в лесу. Больше я их не видела".

Семен никогда не спрашивал у Ханы, почему из трех сестер мама выбрала ее. И Хана, вопреки ее умению отвечать на незадаанные вопросы, об этом ему тоже никогда не говорила. Да ведь этого никто и знать не мог, тетя Соня унесла эту тайну с собой. Паспорт был один - и она должна была выбирать, кого из трех девочек спасать. Самую любимую? Как узнать, кто у матери самая любимая? Больше всего в семье баловали младшенькую, Рахиль. Тетя Соня звала ее "Рохэлэ, майн кинд", Хану, старшую, - "Ханэлэ", среднюю, Розу, - "Розэлэ". Самой красивой была Рохэлэ, но ее милое личико было уж очень еврейским, паспорт Ирены Осташевской не мог бы ее спасти. Да и была она еще маленькой. Ровесницей Ирены была как раз Роза, но разве она сошла бы за польку с ее типичным еврейским лицом? Другое дело - Хана, хотя она и была почти на два года старше Осташевской: русая коса, хорошее польское произношение...

Знала ли тетя Соня, прощаясь с Ханой, что она и дети обречены, или у нее все же был какой-то план спасения?

Спустя двадцать лет, в 1965 году, Семен приехал в родной город к годовщине Победы. Он много раз задавался вопросом: что его туда так тянет? Все, кто был ему дорог, находились в трех ямах - две в лесу и одна на окраине города. Вместе с мамой, сестрами, тетей, дядей, другими родственниками и друзьями там лежат тысячи людей, имен которых он не знал и которые когда-то были ему безразличны, - мужчины и женщины, старые и молодые. Сегодня, после их мученической смерти, он не может назвать их чужими. Не к ямам ли его тянет? Или к знакомым улицам, заполненным действительно чужими людьми? Но в родной город тянуло не только его одного. И здесь происходили самые неожиданные встречи немногих оставшихся в живых. Именно здесь, в дверях небольшой, барачного типа двухэтажной гостиницы, выстроенной на месте их дома, он встретил Фолю. Семен выходил из гостиницы и столкнулся в дверях с крупным, грузным мужчиной. Тот, открыв дверь, уступил Семену дорогу. Все решила улыбка незнакомца - добрая, сердечная улыбка довоенного Фоли, его школьного товарища, которого Семен узнал мгновенно и, наверное, из уважения к его солидности, назвал полным именем - Рафаил. Правда, солидность не помешала Фоле совсем по-детски расплакаться, когда они, обнявшись, направились по длинному коридору в Семенову комнату.

Фоля, силач и добряк Фоля, не способный, казалось бы, убить муху, был в числе неудачно покушавшихся на рыжего Николая в первые месяцы гетто. Вместе с другими ребятами он сбежал в лес, до конца оккупации партизанил, а с приходом Красной Армии стал минером. Конец войны застал его, старшину минеров, где-то в Германии. За время "партизанки" он несколько раз пробирался в гетто, кое-кого сумел увести в лес.

Только поздно ночью, узнав некоторые подробности о гибели своих сестер и "приняв по второму граненому", Семен спросил его о судьбе Ханиной семьи и о том, какое отношение к ней имел рыжий Николай. Фоля задумался, прошелся по небольшому гостиничному номеру. Потом он остановился перед Семеном, внимательно заглянул ему в глаза и неожиданно спросил, знает ли он, кто убил рыжего Николая. Затем, прочно усевшись на стуле и не дожидаясь ответа, произнес: "Кое-кто думает, что это моя работа. Но меня упредили. Запомни: Николая Нехвядовича убила топором тетя Соня Вайнштейн,

мама Ханы. Это случилось накануне Йом-Кипура, в ночь перед уничтожением гетто. Я - свидетель".

Рассказ Фоли длился до утра.

"За несколько дней до этого прошел слух, что гетто обречено - о предстоящей акции немецкий ефрейтор похвастал своей девке в деревне, а та сообщила "в лес". Нас было мало, мы не могли помешать им, зато задумали убрать кое-кого из полиции, - рассказывал Фоля. - Нехвядович и еще один, Далидудка его звали, могли знать некоторые подземные "лазы" и "схроны" - если бы никто их немцам не открыл, они могли бы спасти людям жизнь. Мы были в засаде у дома Николая, только собрались охранника снять, смотрю - ночь была лунная - тетя Соня идет. Она с этим мужиком поздоровалась, что-то, наверное, пропуск, показала. Он - в дом, похоже, доложил, вышел и дверь придерживает - заходи, мол. Мы даже растерялись - что делать? Со мной Гришка Ходес в паре был. Потом решили все же охрану снять. Я его снял без шума, ножичком, и на огород оттащил".

Фоля плеснул в граненый стакан водки, выпил, закурил, закашлялся, а отдышавшись, продолжил: "Окна были закрыты ставнями, что там в доме - не угадать. О плохом думать не хотелось... Ждали - может быть, час, а может и больше. Смотрим - выходит тетя Соня, остановилась, озирается, похоже охрану ищет. Потом, не оглядываясь, ушла. Я Гришку оставил наблюдать, а сам тихонечко в дом. В сенях темно, только, чувствую, лужа на полу. Прислушался - тишина. А когда дверь в избу приоткрыл, гляжу - свет горит, никого нет, а на полу от босых ног мокрые следы. Прокрался я в другую комнату - там стол стоит, а за столом - рыжий: сидит в кресле совсем голый, весь в крови, голова разрублена... А на полу - топор. Осмотрелся я - на столе бутылка самогона, почти пустая, закуска, две тарелки. Кровать разобрана, помята. Потом я фонарик его увидел, взял и в сени вышел, хотел понять, отчего лужа образовалась. Оказывается, там целая баня была: мыльная вода и в тазу, и на полу, и в ведрах".

...Семен резко встал и, бормоча извинения, стал пробираться на выход в тесном проходе между рядами. Ему стало душно. Плохо сознавая, где находится, он вдруг *увидел* - именно *увидел!* - тетю Соню (или это Хана?) - в одной комбинации за столом с рыжим. Николай уже отдал обещанный паспорт, уже насытился ее покорным телом. Теперь он заставляет ее пить, неверной рукой наливает в стакан самогон, проливает... Спеша к выходу из синагоги, Семен отчетливо почувствовал запах сивухи...

..."Не спеши, Сонечка, красавица, жидовочка моя, наша ночь впереди..." - Семен отчетливо *слышит* эти слова и *видит*, как Николай, быстро хмелея, начинает засыпать и, сонный, кивает, разрешая ей выйти в сени "на ведро". Там, разглядев при свете луны воду и мыло, она начинает лихорадочно мыться. Забыв, казалось бы, обо всем на свете, Соня (или это Хана?) моется тщательно, истово, смывает с себя его похоть, грязь, пот, пьяное дыхание. И вдруг... замечает топор.

...Пронзительный звук шофара ворвался в сознание Семена в момент, когда Соня занесла топор над головой спящего Николая... Семен закричал, добежал до выходной двери и, распахнув ее, жадно втянул в себя пряный осенний воздух. Потом он как-то неловко сел - почти упал - на ступеньки синагоги и закрыл глаза...

Это произошло с ним впервые. Он был уверен, что *видение* происшедшего в доме полиция - не размышления или догадки, а отчетливое *видение* - пришло к нему извне. Семен чувствовал, что прикоснулся к чему-то запретному, и осознал, что он *видел истину*. Он не был суеверным и никогда раньше не сталкивался с явлениями оккультными, таинственными. Сердце билось неровно, на лбу выступила испарина. Когда Фоля рассказывал ему об увиденном в доме полиция, Семен, конечно, волновался... Но *истинная картина происшедшего там* открылась ему только сегодня.

Он почувствовал прикосновение чьей-то руки и с трудом открыл глаза. Это знакомый врач нащупывал его пульс. Кругом стояли люди. Семен встал, извинился и медленно зашагал вдоль зеленых лужаек, окружающих соседние дома. Теперь, *увидев* каким-то непонятным образом, *как это было*, он сможет об этом больше не думать.

Приближался Йом-Кипур...

Yom Kippur Eve

By *Vladimir Yedinovich*

Translated from the Russian by Thomas Watts

He could not remember how she had changed the subject to the story about what her mother had been forced to do. Now it was even hard to separate what she told him the first time they met from what he had learned years later, from her and from others. That was hardly surprising, as more than half a century had passed since then. When he recalled those events, he was sometimes surprised to realize that certain episodes that had etched themselves into his memory were the products of his own imagination. However, when he was reconstructing events that took place during the occupation, his thoughts never focused on the police precinct. More than once he had recalled what took place between her mother, Aunt Sonya* and Nikolai the Redhead, but at the walls of that institution his imagination was suspended, as though he had stumbled upon an invisible shield. In addition, he noticed that sometimes the image of Hanna herself, instead of her mother, appeared in his thoughts. Pre-war Hanna, with a long braid.

Most often those thoughts came to him around the time of the fall holy days. He had never been particularly religious, but in recent years he had begun to drop by the synagogue on holy days. As a rule, he did not follow the service, although he understood English well, and, as far as the prayers were concerned, he had read and understood Hebrew since childhood. Sitting with his open prayerbook in his hands, he became lost in his thoughts. It seemed to him that here, in the synagogue, his thoughts flowed more freely, without pausing over trifles. Even now, stretched out in his seat, he found himself back in 1945. She had said, "Tomorrow is Yom Kippur." After the war those words sounded so strange to him that he asked her, "Tomorrow is what?" In the moonlight her gray eyes seemed dark. "Tomorrow is Yom Kippur," she repeated, adding, "It is the anniversary of the destruction of the ghetto."

They had met in Krulyovshchizna station. That was the last stop. The rest of the line had not been completed. Probably there was no particular need for it. The town where he was going was in shambles, and the several dozen people who lived there did not even dream of a railway connection to the outer world. But he was not aware of that. When he stepped out on the platform the red disk of the autumn sun was already half hidden by the brick roof of the old station house. Along with the other passengers he made his way to the dilapidated building, following them into the snack bar.

There was barely any light in the snack bar. The only window had been covered with boards instead of glass. Two oil-burning candles made from shell cartridges crackled, dimly illuminating the filthy walls of what had once been a fashionable room with an oak bar behind which, he suddenly remembered, red-cheeked Pani Zosya served customers. It was strange that the war had passed and many of the people closest to him had died. Yet on his way home he remembered neither his mother nor others who were dear to him but some Pani Zosya. But back then, as now, in the synagogue, Pani Zosya evoked a recollection of his mother buying him an almond cookie at that snack bar. Ah, mama, mama. As soon as the town had been liberated, hoping against hope, he began to write letters to her.

* Translation note: Affectionate and diminutive forms of given names are common in Russian speech. Thus, *Semyon* is sometimes rendered as *Senya*; *Sonechka* and *Sonya* are familiar forms for *Sophya*; and *Raphael's* friends refer to him as *Folya*. The term *Aunt* is the polite form that children use for older female adults whom they know but to whom they are not related.

Back then, in '45, a one-armed man in a wrinkled army shirt with several rows of the most popular medals stood behind the bar. When the bartender saw him, he yelled at the crowd of boozers in front of him, "Guys, a sailor, let the sailor through." Without waiting to be asked, he poured Semyon some sort of liquid into a can with a carefully smoothed rim that had seen better days and set a unripe apple down beside it. The liquid burned his throat. And in that same instant he heard her voice. She did not shriek or whine, but in an inquisitive, ordinary sort of way she called him by name. Terror struck, without glancing back, he leaned on the bar. In his left ear, growing louder and louder, he heard a familiar sound. It took several seconds for him to get used to the fact that Hanna was still alive and to the amazing fact that, even after more than fifty months, he had not forgotten her voice. Semyon straightened himself upright, took a deep breath, took a red thirty-ruble bill from his wallet and gave it to the bartender, and only at that moment acknowledged that he was afraid of turning around. Yes, he was afraid to accept the fact that he had made a mistake. Then she put her hand on his shoulder and, as it was in the distant pre-war years, she answered his unasked question, "Yes, Senya, it's me..."

He remembered it clearly. She had said that since it was getting dark, it was too dangerous to walk home. After all, it was eighteen kilometers along the railroad tracks and through the woods. It would be better to go in the morning. In the meantime, arm in arm, without getting too far away from the station, they began to amble along by the railroad embankment in the direction of their hometown. They came back towards the station, and then they turned around again. As though they had nothing else to talk about, Semyon told her that he had unexpectedly received a furlough three weeks earlier, after the war with Japan was over, and came home. Where else could he go? He told her about his adventures on his trip all the way across the country from Sakhalin to Moscow and from Moscow home. He avoided looking directly at her, speaking in an agitated and hurried way as though afraid to stop. But he was relieved when she pressed his hand gently and softly urged him to be calm.

The sound of the shofar brought him back to reality. How long had that tradition been in existence? For two thousand years, or was it invented later? No, of course, that tradition is one of our most ancient ones, from the time of our forefathers, livestock-breeders. When he thought about the ancient roots of his people, Semyon thrust his chin forward and his nostrils swelled: after all, we didn't invent the alphabet yesterday.

It is hard to believe in coincidences like that. Hanna was the last person to whom he said good-bye when he left the town on June 25 of '41. And she was the very first person from his hometown that he met on returning. At that time he was slowly and painfully dealing with the horrible thought that she might be the only one who lived through it. With a great effort he banished that thought and asked tentatively, "Were you coming to meet me?" As it turned out, she herself was returning home after a long absence. They really had met by chance. Then she had asked if he had been wounded. He answered that he had been lucky, that he had only been shell-shocked three times, but his arms and legs, were intact. And then – as he remembered the rest of his life – Hanna stood directly in front of him, took his hands in hers, and said calmly, very calmly, "Semochka, all of your people perished, all of them. And all of mine, too. I had to tell you that, because you are not asking about it, and I know that you are hoping."

They sat down on some ammunition crates right by the entrance. The sound of snoring from the waiting room wafted towards them, and the stench of foot-bindings mingled with the smoke from cheap tobacco. Hanna removed her boots. As it turned out, she had gotten her feet wet in a puddle, and he was trying to warm them under his pea jacket. It's true, he really couldn't remember if it was there, on the crates, that she had told him how her mother had saved her. No, no, at that point she had told him about the people who had died while she was still in the ghetto, before her departure. But he remembered well how she had interrupted her story

and suddenly said, “Goodness, we haven’t even kissed ... such a wonderful occasion, and you stand there like a statue!” And they both laughed, the way they used to do before the war. He bent down to her feet, which were propped on his knees, and began to kiss her frozen toes. Hanna remained absolutely still, and then Semyon noticed that she was crying.

He slammed the prayerbook shut and glanced around, as though he were afraid that someone might hear her sobs or see the way he was kissing a girl’s feet. But the service continued of its own accord. The couple in front of him softly talked with each other and the man to his right moved his lips silently, intently following the text of the prayer in the prayerbook. Nobody needed him in this place – that “Russian,” neither him nor his thoughts. He felt the familiar uneasiness that he remembered from his first years after emigrating and also, subconsciously in that same instant, like a wisp of a cloud, the thought occurred to him that he was not being fair, that the people around him treated him very nicely and that it was no one’s fault that the Americans and they, the émigrées, were from different worlds. Semyon hastily nodded his head in complete agreement with that notion, but even while condemning his own “unworthy feeling,” he could not get rid of it. With his eyes tightly closed, he forced himself to go back “there.”

She had asked him if he remembered her mother. Yes, he remembered, remembered her well. But now he was constantly confusing their faces. Like her mother, Hanna had big grey eyes and a few freckles under her eyes.

The name of the redheaded guy was Nekhvyadovich, and when the Poles were in power, they made sausages and had their own shop. He was the younger brother of the owner, was friendly with the Jews, worked at a *tartak* – a little sawmill – and frequently dropped by Hanna’s parents’ place “on lumber business.” Did anyone know that he was not attracted to that house by business but by the housewife, the shapely – even though she was the mother of three girls – Jewish beauty, Sonya? How old was she at that time, Aunt Sonya? Maybe forty, or a little more? Children didn’t think about their parents’ age, but Aunt Sonya was probably younger than his mother, and she had a long way to go to fifty.

With the arrival of Soviet control the Redhead somehow got involved with the labor supporters, and it was said that he even informed on his brother, who stole some sausage-making equipment during the process of nationalization of production. One morning while they were walking home along the railroad ties Semyon first learned from Hanna about the transformation of Nikolai the Redhead to the important status of local constable under the Germans. And more than once after that he had to listen to tales of Nekhvyadovich and his reprisals against the Jews, about his pestering of Sonia, and his death. But then, as they were strolling along the railroad ties, when Hanna mentioned Nikolai for the third time, he waved his hand as if wanting to drop the subject. “Who cares about him, the scoundrel?” he said, interrupting her in order to change the subject to something he considered more important. Then from the pocket of her knitted jacket, fastened with a pin, she pulled a passport and held it out to Semyon. He didn’t understand why she was doing that, but she insisted, “Take a look, you must.” The first thing he noticed when he opened the crumpled document was the pre-war photo. And then, a few seconds later, he read “Irena Ostashevskia.” Without a word she took back the passport and asked, “Do you remember her?” Yes, he remembered Irena, a pretty Polish girl who went to high school with him.

“Now Irena ... I’m Irena,” Hanna began her story. “That’s the passport, although it has my photograph now, that mama gave me. She got it from the Redhead, from Nikolai. The Ostashevskys were arrested under the Soviets. The guards probably shot them when they were trying to escape in ’41, and got hold of it somehow, from prison or the NKVD.”

Nikolai often visited the ghetto. Even before the war he knew lots of Jewish families, and you couldn't fool him when the work brigades were being selected or when they were giving out bran for soup. He confirmed his power over the ghetto's inhabitants the very first day by shooting sixteen year-old Yitzhak Finkelshtein, whose response to him, in his opinion, was not sufficiently respectful. That was the first murder, and it shocked the people, frightened them, and it provoked the resistance. True, the resistance began later, but then ...

"He used to come to our house often, and he talked only with mama, without even noticing us girls, and politely shook hands with father, as in pre-war days. I heard that he told mama that he could take her away, but would rather she came to him of her own free will. Later, when papa died while operating the power-saw, he became more persistent, but he didn't use force. He told her he would bide his time. Do you remember David Haifetz? He got hold of a rifle, and we made a pact that he would kill the Redhead. But that was not to be. David himself died. When that happened, several young guys managed to escape to the forest to join the rebels. Redhead himself shot their families."

Helena, the older daughter of Tekla, the custodian's wife, had told Semyon that Nikolai gave Sonya a permanent pass so that she could go and come to the ghetto any time she wanted. That was in case she ever decided to come to him. "But she didn't go to him, everybody was just gossipin' about it. Then one day, just before your Yom Kippur, she decided to go visit 'im."

"A week before the ghetto was destroyed Redhead came over to their place," Hanna continued. He chased the girls outside and talked with Sonya alone for half an hour. After he left, mama said that Nikolai had promised to take our family off to the forest. Then, on Yom Kippur Eve, mama suddenly told me that she was going over to Nikolai's and that, if all went well, she would come back with some good news. She ordered Rosa and Rakhil not to say anything. She came back in the middle of the night and woke me up. She said she and Nikolai had reached an agreement. She gave me this passport and the pass and hung a chain with a cross around my neck. She explained that from then on I was to be Ostashevskia the Polish girl, and then she told me to leave right then. She promised me that we would meet in the forest in a few days, and she told me where to meet. Just in case we didn't meet each other, she said goodbye. She wouldn't let me wake up my sisters. I did as I was told and left. The guard at the gate took a quick look at the pass and cursed, but he didn't detain me. The streets were empty, and in a few hours I made it to the forest. I never saw them again."

Semyon had never asked Hanna why her mother chose her from among the three sisters. And Hanna, contrary to her usual way of answering questions that had not been asked, never brought the matter up. In fact, there was no way anyone could have known. Aunt Sonya had taken that secret with her to the grave. There was only one passport, and she had to decide which of the three girls to save. Her favorite? How could anyone have known who mother's favorite was? In the family they pampered the youngest, Rakhil, the most. Aunt Sonya called her "Rokhele, *mein kind*," and Hanna, the oldest, "Hannele," and the middle daughter, Rosa, "Rosele." Rokhele was the prettiest, but her sweet face was so obviously Jewish that Irena Ostashevskia's passport could not save her. Furthermore, she was still a little girl. Rosa was exactly the same age as Irena, but how could she be taken for a Polish girl with her typically Jewish face? Hanna was another matter. Though she was almost two years older than Ostashevskia, she had a light brown braid and good pronunciation in Polish.

Twenty years later, in 1965, Semyon came back to his hometown for the anniversary of Victory Day. He had asked himself many times why he had such a longing for the place. Everyone whom he loved was located in three pits – two in the forest and one on the edge of town. Together with his mama, sisters, aunts, uncles, other relatives and friends, thousands of people, whose names he didn't know and to whom he used to be indifferent, men and women, old people and young people, lay there. Now, after their martyr's death, he could not consider them

strangers. Wasn't it the pits that brought him back? Or was it the familiar streets, crowded with people who really were strangers? But he was not the only one drawn to his hometown. The most unexpected encounters with the few who remained alive took place there. And it was there, in the doorway of the small, hastily constructed two-story hotel that was built on the site of their house, that he met Folya. Semyon was walking out of the hotel when he ran into a big, heavy-set man in the doorway. Holding the door open, the man made way for Semyon. It was the stranger's smile that gave him away, the kind, warm smile of pre-war Folya, his schoolmate, whom Semyon recognized immediately, and, perhaps because of the latter's size, called him by his full name, Raphail. Whatever the case, his size didn't prevent Folya from bursting into tears like a child when they embraced and walked down the long hallway to Semyon's room.

Folya, the good-natured muscleman Folya, who, it seemed, would never hurt a fly, was among those who took part in the ill-fated attempt on Nikolai the Redhead's life during the early days of the ghetto. He ran off to the forest with the other fellows, remained a partisan until the end of the occupation, and with the arrival of the Red Army became a minelayer. By the end of the war he was a minelayer petty officer somewhere in Germany. During his partisan days he managed to get into the ghetto several times and escort some people back to the forest.

Late into the night, after hearing some of the details about his sisters' death and a second glass of wine, Semyon asked him about the fate of Hanna's family and Nikolai the Redhead's relationship with them. Folya plunged into deep thought, and began to stroll about the small hotel room. Then he stopped directly in front of Semyon, looked deeply into his eyes, and abruptly asked him if he knew who killed Nikolai the Redhead. Then, seating himself in a chair, without waiting for an answer he stated, "Some people think that was my work. But I had been forewarned. Remember this, "Nikolai Nekhvyadovich was killed with an ax by Sonya Vainshtein, Hanna's mama. It was on Yom Kippur Eve, the night before the destruction of the ghetto. I was a witness."

Folya's story continued until dawn. "Several days before, a rumor was going around that the ghetto was doomed. A German corporal bragged about the upcoming operation to his mistress out in the country, and she sent word "to the forest." There were only a few of us. We couldn't stop them. But we thought up a way to get a few people out of the police headquarters, Folya continued. Nekhvyadovich and another guy called Dalidudka might have known about some underground passages and hiding places, and if nobody had told the Germans about them, they could have saved people's lives. We were getting ready to ambush Nikolai's house, and we were about ready to knock off the guard when I saw – there was a bright moon – Aunt Sonya coming. She approached the guard and showed him something, probably her pass. He went inside the house and, I guess, made his report, came back out, and held the door open. 'Come on in,' he said. We were shocked. What did it mean? Grishka Rhodes and I were a team. We decided we'd better knock off the guard anyway. I knocked him off without a sound, with a knife, and dragged the body off into the vegetable garden."

Folya filled up the tumbler of vodka, drank it, lit a cigarette, coughed, and after a deep breath, continued. "The windows were shuttered, so you couldn't guess what was going on inside. I didn't want to think about the worst possibility. We waited, maybe an hour, maybe more. Then we saw Aunt Sonya come out. She stopped, glanced around, as if she were looking for the guard. Then, without looking back, she left. I left Grishka on the lookout and went into the house as quietly as possible. In the entranceway it was dark, but I felt a puddle on the floor. I listened carefully, but there was only silence. But when I opened the door to the cottage, I saw a light burning. Nobody was there, but there were wet footprints on the floor. I crept into the other room, where there was a table. The Redhead was sitting at the desk. He was sitting in an armchair completely naked, covered with blood, with his head split open. There was an axe on the floor.

“I glanced around the place. There was a nearly empty bottle of home brew on the table, some snacks, and two plates. The bed was not made, and the sheets were crumpled. Then I spotted his flashlight. I picked it up and went out into the entranceway to figure out how a puddle got there. It turned out that there was a virtual bath there, with soapy water in a wash-basin and on the floor and in buckets.”

Semyon abruptly stood up, muttering apologies, and began to make his way to the exit through the narrow space between the rows. He felt like he was suffocating. Hardly understanding where he was, suddenly he *spotted*, literally *spotted* Aunt Sonya - or was it Hanna – together with the Redhead at the table. Nikolai had already given her the passport that he had promised her and had already satisfied himself with her submissive body. Now he was forcing her to drink, pouring her a drink of home brew with his unsteady hand, spilling it. As he rushed towards the exit, Semyon distinctly detected the smell of straight vodka.

“Don’t hurry, Sonechka, enchantress, my sweet little kike, we have the whole night ahead of us.” Semyon distinctly *heard* those words and *saw* Nikolai getting drunk fast, getting drowsy, sleepily nodding to her, giving her permission to go out to “the bucket”* in the entranceway.” There, making out the soap and water in the moonlight, she began to bathe herself frantically. Apparently oblivious to everything in the world, Sonya – or was it Hanna – began to wash herself thoroughly, with all her might, washing away his lechery, his filth, his sweat, his vodka breath. And suddenly she spied the axe.

The piercing wail of the shofar burst into Semyon’s consciousness just as Sonya raised the axe above the head of the sleeping Nikolai. Semyon shrieked, ran for the exit, and flinging it wide open, took a deep breath of the spicy autumn air. Then he sort of sat down – almost fell down – awkwardly on the synagogue steps and closed his eyes.

That was the first time this had happened to him. He was quite sure that the *vision* of what transpired in the police headquarters was not a figment of his imagination or some sort of hunch, but literally a *vision* that came to him from an outside source. Semyon felt as though he had made contact with something forbidden and realized that *he had seen the truth*. He was not superstitious and had never had any dealings with occult or mysterious phenomena. His heartbeat was irregular and sweat broke out on his forehead. At the time when Folya was telling him about what he had seen in the police headquarters, Semyon was, of course, upset. But *the true picture of what had happened there* was revealed to him for the first time today.

He felt the touch of someone’s hand and, with difficulty, opened his eyes. A doctor whom he knew was feeling his pulse. People were standing all around. Semyon stood up, excused himself, and made his way along the green lawns around the neighboring houses. Now that he had *seen* in some incomprehensible way *how it had happened*, he would not have to think about it anymore.

Yom Kippur was coming.

* Tr. note: a euphemism for *potty*.



ЗОЯ ВИЛСОН (ФАЛЬКОВА)

ПЕСНЯ ОБ АМЕРИКЕ

Америка у каждого своя,
И каждый здесь - Колумб, поверьте, братцы!
Не хватит жизни, чтобы разобраться:
Где я? Зачем? И главное - кто я ?

В Америку наряжен, как в манто,
Шагаешь недоступнее павлина,
Но на подошвах сохранилась глина
И в сердце, в сердце тоже кое-что.

В Америку мы с детства влюблены,
Мы грезим, будто дорогой игрушкой.
Что ж, вот она вокруг, но под подушкой
У нас теперь совсем другие сны.

Америка у каждого своя,
И каждый здесь - Колумб, поверьте, братцы!
Не хватит жизни, чтобы разобраться:
Где я? Зачем? И главное - кто я?
Где я?
Зачем?
И гавное - кто я?

ВАЙОМИНГ

Облака вырастают из гор,
Словно взбитые сливки в стакане.
Мы спешим сквозь равнинный простор.
Мы спешим... Я сижу на диване...

Флейта Шуберта стонет в ушах...
Зелень серую, рыжую землю
Я, как тот стародавний казах,
То пою, что глазами объемлю.

Вайоминг, будто крик, будто стон,
Что плывет и звучит постоянно...
Мы спешим сквозь равнинный простор
На свиданье с горами Монтана.

* * *

Мы возвращаемся назад.
Один хайвей, другой и третий,
Как будто каменные сети
Накинута на образа,

На лик Земли. Лежит Она,
В небесном воспаря пространстве,
В своем блаженном постоянстве -
Не то что грешница Луна.

Но глядя по ночам на Ту,
Мы днем Своей не замечаем
И изменяем, изменяем
Ее земную красоту.

* * *

Ветка утреннего клена
Падает у ног...
Я бегу по Вашингтону,
Как шальной щенком!

Все меня здесь опьяняет:
Запахи, цвета...
Одного лишь не хватает -
За спиной хвоста.

* * *

Ничего, что мне не двадцать.
Жаль, конечно, что не тридцать.
Все равно могу влюбляться.
Все равно хочу учиться.
Все равно на этом свете
Многих я еще моложе.
Мне вчера весенний ветер
Гладил волосы и кожу,
Гладил и шептал на ушко,
Будто я его подружка...

* * *

Чего-то в мире не хватает,
Совсем чуть-чуть недостает.
Чуть-чуть тепла - и снег растает,
Чуть-чуть любви - и боль пройдет.

Чуть-чуть душевного покоя
На перекрестках и в пути.
Как дорого оно нам стоит -
Чуть-чуть... И как его найти?

* * *

Я совсем разучилась читать:
Буквы в слово собрать не умею,
И пред строчкой-загадкой немею,
И вдыхаю ее благодать.

Я читать разучилась, а вдруг
Я вообще никогда не умела
Делать это мудреное дело -
Видеть смысл за колонками букв.

Впрочем, эта печаль - не беда,
Есть другая - гораздо страшнее:
Что в глазах твоих я не сумею
Ничего прочитать никогда.

* * *

Мы над Прошлым не властны, однако,
Почему - до сих пор не пойму -
Как к хозяйской могиле собака,
Поскулить мы приходим к нему.

Не вперед, беззаботно и смело -
Отчего-то спешим мы туда,
Где не ждут нас ни люди, ни дело,
Ни награда, ни даже беда.

Жизнь разумная дней настоящих
Протестует: вернись и забудь.
Только нас почему-то все тащит
В этот странный, бессмысленный путь...

ВЕСНА В КЛИВЛЕНДЕ

Весенний дух - из детства будто!
Так тянет собирать цветы!
Мать-мачеха и незабудка
Такой манящей красоты,
Как будто я стою в начале,
И даль бескрайняя ясна.
И нет ни боли, ни печали,
А есть Россия и Весна.

* * *

И все же есть Россия у меня,
За тридевять морей, но есть, поверьте!
Я ставлю на нее, как на коня,
Что вынесет, спасет от лютой смерти.

Мой конь упрям и дик, как никогда, -
Напрасно звать, свистеть, манить рукою;
Примчится сам, коль будет в нем нужда,
И встанет, будто лист перед травой.

Мой добрый Сивка, дай тебя коснусь,
И, может быть, твоей волшебной силой
Я капелькой прозрачной обернусь
И вновь сольюсь, сольюсь с моей Россией!



ТАМАРА МАЙСКАЯ

INSURANCE

Рассказ

Хана толкалась на кухне. Она варила обед. Сняла с курицы кожу, отделила ножки и грудку. Ножки она запечет в духовке, из филе грудки сделает битки. Из потрохов она сварила бульон.

Готовив обед, Хана несколько раз присела отдохнуть. Шутка ли, восьмой десяток ей пошел, а старость, говорят, не радость.

Все это время из спальни доносились звуки магнитофона. Это развлекался ее внук – старшекласник Леня.

В 6 часов вечера с работы пришли дочь и зять, как всегда усталые и голодные.

Хана засуетилась, подавая на стол. Налила в тарелки бульон с лапшой, вынула из холодильника несколько кусков хлеба.

- Положите хлеб в тостер. Каждый раз забываете, всему вас надо учить.

Хана не ладит с зятем. Вернее, зять не ладит с ней. Что ни сделает, все ему не так. Никак не может на него потрафить.

- Я сегодня встретил Сашку, - начал рассказывать зять.

Из спальни вышел внук и сел за стол.

- Ты бы руки вымыл, - заметила ему мать.

- Вот еще, микробы от грязи дохнут.

- Они с женой, - продолжал рассказывать зять, - открыли ювелирный магазин в центре города.

- Чтобы открыть свой бизнес, - вмешался внук, - надо бабки иметь.

- Они у него и там были.

- Значит, они что-то с собой привезли, - заметила дочь, - чудес не бывает.

- Бывают, - авторитетно заявил внук. – У нас в школе один парень споткнулся о камень возле частного дома, вывихнул ногу. Подал в суд на хозяина и получил компенсацию 500 долларов.

- На 500 долларов бизнеса не откроешь, - буркнул зять. – Надо иметь несколько тысяч.

- Может, и мы накопим, - попыталась успокоить его жена.

- Как же, накопим, - саркастически возразил ей муж. – Держи карман шире. Притащила меня сюда. Там я был человеком... часовых дел мастер... имел почет. уважение...

Внук заткнул уши.

- Здесь я... стою целый день у машины... работаю на хозяина, как раб.

- Правильно сделала, что тащила, - перебил его сын. – Здесь свобода.

- Закрой рот, не с тобой разговаривают. Это тебе тут свобода шляться по барам. Свобода... (лицо зятя исказила гримаса). Ухожу на работу – темень, прихожу с работы – темно.

- Там твой сын еврей не имел возможности учиться, - возмутилась жена.

- А здесь он имеет?! 8 тысяч в год – за хороший колледж.

- Стипендию можно получить, - заметил внук.

Этот разговор «Зачем ты меня сюда тащила?», «Зачем мы оттуда уехали?» повторялся часто. Хана в нем участия не принимает, только молча прислушивается. Ей кажется, его заводят специально, чтобы упрекнуть ее.

Полтора года назад Хана приехала из Израиля к дочери в Америку. Приехала потому, что в Израиле внезапно от инфаркта скончался ее муж.

Вообще-то они все собирались эмигрировать в Израиль. Хана с мужем уехали раньше, не дождавшись, пока семья дочери получит разрешение на выезд. Муж Хану торопил, боялся, что умрет и не увидит Израиль.

Семья дочери в Израиль не приехала. С полдороги повернули на США: испугались, что сына могут забрать в армию.

В Израиле Хана считалась репатрианткой, ей дали пенсию, квартиру... В США – она гость, ни на что не имеет права, даже на «социал секьюрити намбер». А без него ты здесь не человек, не получишь никакого пособия.

- Бульон остыл, - зять отодвинул от себя тарелку.

Хана дрожащими руками взяла тарелку. Капля бульона пролилась на стол.

- Вы мне брюки испортите, - закричал зять.

Руки Ханы задрожали сильнее, тарелка с бульоном выпала у нее из рук, упала на пол и разбилась, бульон разлился по полу кухни.

- Работаешь в старческом доме, - пробурчал зять, - и не можешь туда ее устроить.

- А кто будет за нее платить? – резонно заметила ему жена.

- Надо узнать в бюро иммиграции, когда она, наконец, станет получать пенсию.

- Узнавала. После того, как мы получим американское гражданство, ей дадут грин-карту. А еще через три года – Эс-Эс-Ай.

- Ого-го, - вмешался внук, - 6 лет ждать.

Пока Хана вытирала пол, дочь сама подогрела бульон и налила мужу. Хорошо, что Хана сварила его полную кастрюлю.

Хана налила тарелку бульона себе и присела сбоку за краешек стола.

- Обождать не можете, пока мы кончим, - раздраженно произнес зять.

Хана молча перенесла тарелку на кухонную стойку рядом с краном водопровода и стоя стала есть.

Когда все поели, Хана убрала со стола и начала мыть посуду.

- Она опять что-нибудь разобьет, - прошипел ей в спину зять.

Хана вздрогнула. Подошла дочь и решительно отстранила ее от мойки.

Хана села на диван и развернула газету.

- Сначала я прочту, - зять вырвал газету у нее из рук, - вы не работаете, целый день можете читать.

Хана включила телевизор. Английского она не понимала, просто смотрела на мелькающие перед ней картины, смотрела, чтобы отвлечься. Не думать о своей беде.

К телевизору подошел внук, повернул ручку и остановил на спортивной передаче.

Спорт Хана не любит. Она ушла в спальню, села на кровать и задумалась.

В спальню заглянула дочь.

- Мам, где ты там? Подшей мне, пожалуйста, платье, я завтра в нем на работу пойду.

Хана надела очки, вынула иголку, нитки и стала подшивать платье.

- Не так, - раздраженно прервала ее дочь. – Нет от тебя, мама, никакого толка. Сидела бы лучше в Израиле.

Когда дочь с платьем вышла из комнаты, Хана легла на кровать. Она лежала и думала о своей жизни.

После смерти мужа Хане тяжело было оставаться одной в ее иерусалимской квартире, которую им дало бюро абсорбции. Позавтракав, она выходила из дома. Бродила по улицам, подходила помолиться к Стене Плача, шла на Арабский базар, хотя ей там ничего не было нужно. Особенно тяжело было сидеть одной в квартире вечером. Хана заходила к соседям, иногда навещала подруг... но всем было не до нее, у всех дела, семья, внуки... Только у Ханы ничего, кроме печали в сердце.

Она написала дочери, что тоскует, хочет повидать ее и внука, ведь они четыре года не виделись, и по туристической визе приехала в Америку «ин а голдене медине», где «текут молочные реки с кисельными берегами».

Назад в Израиль Хана не вернулась, сказала дочери, что не может жить одна.

Вошел внук, недовольный тем, что Хану поместили спать в одной с ним комнате. Завел магнитофон. Спальня огласилась ритмами рок-н-ролла.

Хана вспомнила, как вышла замуж за Якова. Дай Бог памяти, это было в 25-м году... в Гомеле, где они оба родились и жили рядом. В этот день они гуляли в парке – бывшем саду князя Паскевича. Тогда тоже играла музыка, только не такая, напоминающая вой шакалов, а красивая, лирическая... На мостике, высоко над прудом, где плавали белые и черные лебеди, Яша поцеловал Хану и сделал ей предложение. Они переехали в Минск. Яша там работал фармацевтом, а потом и директором аптеки, а она – кассиршей в театральной кассе. 50 лет прожили душа в душу, хотя жизнь была тяжелая, особенно во время войны, когда пришлось бежать от немцев. В позапрошлом году он умер. Хана заплакала. Она лежала и плакала под завывания магнитофона. Вспомнила, как родилась дочь Аня. Яша не мог налюбоваться на девочку. Еще бы, одна-единственная дочь! Вся жизнь была для нее. Кормили, отдавая лучший кусок, растили, учили... А потом явился зять и отнял у них дочь. Наверное, так бывает у всех. Хана постаралась утереть слезы. Вспоминала, как радовались они с Яшей внуку Ленечке, души не чаяли в этом ребенке. Теперь он вырос и над ней насмехается. Но Хана на него не сердится, она ни на кого не сердится. Ей что, она свою жизнь прожила, лишь бы молодые были довольны. А молодые недовольны.

В спальню снова заглянула дочь.

- Ты что бабушке спать не даешь? – сделала она выговор сыну. – Надень наушники и слушай.

- Пусть играет, - вмешалась Хана, - мне это не мешает.

- Она все равно ничего не слышит, глухая тетеря, - оправдывался внук.

- Мама, ты не забыла, тебе завтра в госпиталь, к врачу к 9 утра.

Хана лечится в Моунт Синай госпитале: врачи там берут меньше за прием. В Израиле ее лечили бесплатно. Здесь дочь платит за ее визиты к врачам из своих личных денег. Зять на это денег не дает.

- Не знаю, с кем ты пойдешь? – вслух раздумывала дочь. – Я отпрашиваться с работы не могу. Мне это вычтут из зарплаты. Может, ты проводишь бабушку? – обратилась она к сыну.

- Я должен быть в школе в 8:30 а.м., и я еду туда на велосипеде.

- Я сама дойду, - отозвалась Хана. – дорогу я знаю.

Когда дочь ушла, Хана вытерла слезы, хорошо, что дочь их не заметила, разделась и легла, хотя было еще рано, успокоилась... повернулась на правый бок и уснула.

Во сне Хана увидела себя хозяйкой дома: она сидит во главе большого квадратного стола и разливает в тарелки бульон из красивой супницы и ничего на стол не проливается. Пообедали. Зять ей вежливо говорит: «Спасибо, мама». Предлагает почитать газету. «Что ты, бабушка, будешь смотреть по телевизору?» - предупредительно спрашивает внук. Дочь благодарит за хорошо подшитое платье. И Хана довольна.

А утром все началось сначала.

Хана поднялась рано, чтобы приготовить молодым завтрак. Поджарила омлет, вскипятила чайник.

- Омлет у тебя, бабушка, как подошва, - заявил внук. – Надо делать, как американцы, «скрэмблд эгс».

- Оставь бабушку в покое, - заметила дочь. - Вставай рано и делай себе сам.

Зять молча ел, бросая на Хану недовольные взгляды так, что Хана не решилась сесть за стол.

Когда все ушли, Хана выпила чаю, оделась и пошла в госпиталь.

Идти было недалеко: мимо парка, мимо синагоги... дорогу она знала.

Она шла, погруженная в свои беды и несчастья, чувствовала, что у нее поднялось давление, шалило сердце, беспокоил артрит. Один Бог знает, сколько у нее болячек. Лекарства ей не помогают. Но она стерпела бы все, лишь бы никому не быть в тягость.

Хана дошла до боковой улочки, на углу которой было старинное здание синагоги, превращенное в еврейский музей. Евреи в этой синагоге больше не молились. Они переехали в пригород и там выстроили себе другую синагогу, модерную.

Поравнявшись с синагогой, Хана мысленно воздела руки к Богу, прося у него заступничества, но Бог, как видно, ее не услышал. Хана стала медленно переходить улицу. Светофора на этом маленьком перекрестке не было. Машины тут ездили редко.

Машин Хана боялась в Советском Союзе, здесь она их не боится. Во всем мире, кроме как в СССР, машины пропускают пешехода.

Она дошла уже до середины улицы, как вдруг ее оглушило, закружилась голова, потемнело в глазах. Она упала, сильно стукнувшись бедром о мостовую, почувствовала резкую пронзительную боль в ноге... руке... и потеряла сознание.

Ее задела и сбила с ног машина, которая хотела проскочить на полной скорости перед ней.

Машина остановилась, из нее выскочила перепуганная женщина. За ней остановились другие машины. На улице образовался затор. Появилась полиция, приехала машина скорой помощи. Везти Хану далеко не пришлось, госпиталь был рядом.

Полиция, между тем, составила акт. Во всем была виновата женщина, управляющая машиной. Хана переходила улицу правильно, в положенном месте.

Очнулась Хана в госпитале на металлической кровати, с двух сторон занавешанной шторами. Все тело болело. Она не могла двинуться: левая рука была в гипсе, нога забинтована.

У постели сидела дочь.

- Где я? – Хана с трудом подняла голову и огляделась.

- В госпитале, - ответила ей дочь.

- Как я туда дошла? – Хана попыталась вспомнить случившееся.

- Тебя привезли на машине скорой помощи, - объяснила ей дочь.

- А кто будет платить за лечение? – испугалась Хана.

- Не волнуйся, мама, иншуренс этой женщины заплатит.

- Какой иншуренс?! Какой женщины?!

- Той, которая сбила тебя своей машиной.

Хану лечили сразу несколько врачей. Дочь приглашала видных консультантов, благо за консультации им платил иншуренс. Иншуренс платил и за пребывание Ханы в госпитале: 300 долларов в день.

Врачи сделали заключение, что нога раздроблена, в таком возрасте кости могут не срастись или срастутся неправильно. Необходима операция. Другого выхода не было, и дочь согласилась. Хане дали подписать какую-то бумагу.

Разве в Союзе, удивлялась Хана, врач спрашивает у больного согласия, делает все, что считает нужным.

- Врачи не хотят нести ответственности, если с тобой что-нибудь случится, - объяснила ей дочь.

Что может случиться худшего, подумала Хана, после того, что уже случилось.

На следующее утро Хане дали подышать хлороформом и увезли в операционную.

Сложная операция длилась несколько часов: ей вставили в бедро металлический стержень. Еще несколько часов Хана лежала в послеоперационной, потом ее перенесли в палату.

После операции Хана медленно приходила в себя. Каждый день специальным аппаратом ей выкачивали из легких остатки хлороформа. Рука продолжала болеть, она соскочила с чашечки и ее никак не могли вправить. Второй операции Хана не хотела, хватит с нее одной. К тому же у Ханы от сильного ушиба были отбиты почки, иногда она совсем не могла мочиться. Пришлось делать прокол и расширять мочевого канал.

Все свободное время после работы, а иногда и во время рабочего дня, дочь сидела возле постели матери, кормила ее с ложечки, следила, чтобы медсестры меняли ей чаще белье. Она не боялась больше отпрашиваться с работы, ее «прогулы» оплачивал иншуренс.

Один раз Хану навестил внук. Зять не пришел ни разу.

А однажды в палату вошла женщина, которая ее сбила.

- How are you? – спросила она у Ханы.

Хана ничего не ответила и демонстративно отвернула голову к стене. Во всем мире водители пропускают пешеходов, а эта не захотела ее пропустить, хотела проскочить, как лихач, у нее под носом... и сделала ее калекой. Хорошо, что Яша не дожил до этого. Хана заплакала.

Несколько недель Хана провалялась в госпитале на больничной койке.

Наконец ее привезли домой. Выглядела она ужасно: похудела, лицо осунулось... В гроб кладут краше, подумала Хана и снова заплакала.

Пригласили адвоката. Адвокат писал, а дочь ему подсказывала.

- Ногу записали? Укажите, не действует рука.

- Какая?

- Левая. Но она все равно ничего делать сама не сможет. Придется до конца ее жизни нанимать сиделку или ухаживать мне за ней, а это значит – уходить с работы. Записали?

- Что еще? – спросил адвокат, взглянув на Хану.

- Синяк около уха, - продолжала демонстрировать ему дочь. – Отбиты почки и главное... психологический шок.

- Зачем все это? – недоумевала и тихо протестовала Хана.

- Ты, мама, страдала без денег, теперь будешь страдать с деньгами.

- С деньгами страдать легче, - заметил адвокат.

- Я хочу умереть, - простонала Хана.

...Но умереть ей не удалось. Она постепенно возвращалась к жизни. Сначала ездила по квартире в кресле-коляске, которое ей дали в госпитале, потом стала осторожно передвигаться с ходунком. Из госпиталя приходила медсестра делать с ней лечебную гимнастику.

Между тем адвокат сделал свое дело: Хана получила чек на 60 тысяч, 20 тысяч отдали адвокату за хлопоты, остальные отнесли в банк.

Семья ожила.

Купили новую машину, а то ездили в такой, что знакомым на глаза стыдно было попадаться.

Зять снял в центре города небольшое помещение и открыл часовую мастерскую. Теперь он сам себе хозяин, сколько ни заработает – все его. И другие к нему иначе относятся: «бизнесмен».

Внук получил долгожданный мотороллер. Он больше не мешает Хане спать: его переселили в гостиную.

Квартиру обставили новой красивой мебелью, теперь и друзей можно приглашать. Думают приобрести в рассрочку дом.

Дочь приоделась: купила в дорогом магазине костюм, стеганое пальто... чтобы было в чем на люди показаться.

Если Хана умрет, деньги получит дочь. Зять и дочь все предусмотрели: с помощью адвоката составили завещание и дали его подписать Хане, пригласив двух соседа в свидетели.

Хана медленно поправляется... уже ходит с палочкой, врачи советовали ей двигаться, иногда выходит на улицу подышать свежим воздухом.

Разве «там», в Союзе, думает Хана, ей бы смогли вставить в бедро металлический стержень? «Там» бы она на ноги больше не поднялась. Здесь ее «подняла» американская медицина.

Хана по-прежнему рано встает и готовит всем завтрак.

- Бабушка, ты научилась делать «скрэмблд эгс».

- Это потому, что я делаю одной рукой, - шутит Хана.

- До свидания, мама. – Уходя на работу, дочь целует ее в щеку. Зять шутливо отдает ей салют.

И Хана радуется. Разве «там», в Союзе, если бы Хана попала под машину, ей кто-нибудь бы за это столько заплатил? Правильно сказал адвокат: с деньгами страдать легче. Правда, она хромает... и ходить ей тяжело, рука не зажила... болит... иногда нестерпимо. Мочиться ей трудно: отбиты почки... Но ей что? Она свое прожила. Лишь бы молодые были довольны. А молодые довольны.

1986

INSURANCE

Translated from Russian by Edward Reznichenko

Chana was busy in the kitchen making dinner. She sat down to rest several times. She was approaching 80. At the same time noises were coming from the bedroom where her grown grandson was playing his stereo.

At 6 p.m., her daughter and son-in-law came from work. As usual, both were hungry and tired. Chana began to run around and serve dinner.

“Put the bread in the toaster. You forget this all the time. Must you be told this all the time?” griped the son-in-law.

Chana didn’t get along with him very well, or more precisely he didn’t get along with her. Everything she did he always complained about.

“Today I met Sasha,” he began.

The grandson emerged from the bedroom and sat down at the table. “Go wash your hands,” remarked his mother.

“But that’ll kill the microbes,” he replied.

“He and his wife,” continued the son-in-law, “opened a jewelry store downtown.”

“To open you own business you need money,” interrupted the grandson.

“They had it back there,” said the son-in-law.

“Then they brought something with them,” interrupted the daughter, “miracles don’t happen.”

“Yes, they do,” stated the grandson, “a guy in my school tripped and fell in front of some house. He sued the owner and received compensation of \$500.”

“You can’t open a business with \$500,” mumbled the son-in-law, “you have to have several thousands.”

“Maybe we’ll save some money?” said the daughter.

“How can we save money?” sarcastically replied her husband, “Keep your chin up?! Why did you bring me here? Back there I was somebody, I fixed watches, had respect and status.”

The grandson plugged his ears.

“Here I work like a slave, stand all day by a machine and work for the boss.”

“It’s great that she brought you here,” interrupted his son, “there is freedom here.”

“Shut up. I wasn’t talking to you. Your freedom, huh? I leave to work when it’s dark and get back when it’s dark!” yelled the father.

“Back there your son, a Jew, couldn’t attend college,” stated his wife.

“And can he attend college here? It costs \$8,000 per year for a good college,” replied her husband.

“You can get a scholarship,” replied the grandson.

The conversation of the type “Why did you bring me here?” and “Why did we come here?” occurred often. Chana didn’t participate in it. She just listened. She thought that these conversations were conducted in order to blame her.

One and a half years ago Chana came to her daughter in the U.S. from Israel. She came because here husband suddenly died in Israel of a heart attack.

In the beginning, they all planned to immigrate to Israel. Chana and her husband left earlier without waiting for her daughter's family to get permission to leave the USSR. Chana's husband was in a rush to see Israel, being afraid that their son would have to serve in the army in Israel.

Chana was considered a repatriate in Israel and received a pension and an apartment. In the U.S. she's considered a guest and doesn't have a right to anything, even a Social Security number, without which you can't get any aid from the government.

"The soup is cold," said the son-in-law, and pushed the plate away from him.

Warily, Chana took the bowl of soup and spilled a drop on the table.

"You're gonna ruin my pants!" screamed the son-in-law.

Chana's hands began to tremble even more. The bowl of soup slipped from her hands and fell on the floor. The soup spilled on the kitchen floor.

"You work in a nursing home and can't arrange for her to be there," mumbled the son-in-law.

"And who'll pay for her?" reasoned his wife.

"We have to ask the Bureau of Immigration and Naturalization when she'll be eligible for aid from the government," he said.

"I did. After we receive American citizenship, she'll be given a green card. Then after 3 years she'll receive Social Security," said his wife.

"Wow, we have to wait for six years," interrupted the grandson.

While Chana was cleaning soup off the floor her daughter warmed the soup up herself and served it to her husband. Chana took a bowl of soup and sat down at the edge of the table.

"Can't you wait until we finish?" the son-in-law said with irritation.

Chana quietly transferred her plate to the kitchen counter and standing there, began to eat. When everyone finished eating, Chana cleaned the table and began washing the dishes.

"She'll again break something," nagged the son-in-law.

Chana shrugged her shoulders. Her daughter came to the counter and pushed her away from the dishes. Chana sat down on the sofa and started reading the newspaper.

"I'll read that first, you don't work, you can read it during the day," said the son-in-law and ripped the newspaper out of her hands. Chana turned on the TV. She didn't understand English so she just watched the pictures that were flashing and to take her mind off the hardship that struck her.

The grandson came to the TV and turned the channel to a sports program. Chana didn't like sports. She went to the bedroom, sat down on the bed, and started thinking.

Her daughter stuck her head in the bedroom and said, "Mother, where are you? Could you fix up my dress? I'll wear it to work tomorrow."

Chana took out the needle and thread and began fixing her daughter's dress.

"That's not the way you do it," her daughter said with irritation, "you can't do anything right. It would have been better if you stayed in Israel."

When the daughter left she laid down on the bed. She was thinking about her life.

After the death of her husband, it became difficult to stay in the Jerusalem apartment that the Bureau of Absorptions gave them. Having eaten breakfast she would leave the house, wander around on the streets, go pray to the Wailing Wall, visit the Arab Market even though she didn't need anything there. It was especially difficult to stay in the house in the evenings. Chana would go visit the neighbors and friends, but everyone had their own families and grandsons. Only Chana didn't have anyone.

She wrote a letter to her daughter in the U.S. that she was lonely and wanted to visit them since she hasn't seen them for four years. She came to the U.S. on a tourist visa. Chana didn't return to the Israel. She told her daughter that she couldn't live alone.

The grandson, who was obviously displeased that his grandmother had to sleep in his bedroom, came in and turned his stereo on. The sound of rock and roll spread through the room.

Chana recalled how she married Jacob. It was in 1925 in Gomel where they were born and grew up together. On that day they were walking in the park which belonged to a former

Duke. Back then the music played, too, but not the kind that they play now that sounds like the screams of jackals. Instead, the music was beautiful and lyrical. On a bridge high above the pond where black and white swans were swimming, Jacob kissed Chana and then proposed to her.

They moved to Minsk. Jacob worked there as a pharmacist and then became manager of the pharmacy. Chana sold tickets in the theater. They lived 50 years together, then the year before last he died. Chana began crying. She laid there and wept under the noise of the stereo. She recalled the time when their daughter Anna was born. Jacob couldn't take his eyes off his daughter. She was their only child! All their lives were lived for her. Then came the son-in-law and took her away. It probably happens to everybody. Chana tried to stop the tears.

She recalled how happy they were when their grandson, Lenny, was born. They were crazy about the child and now he is grown up and is laughing at her. But Chana isn't angry. It doesn't matter to her anymore. She lived her life. As long as the children are happy she's happy. But the children aren't happy.

Her daughter again looked into the bedroom and said, "Why aren't you letting your grandmother sleep? Put your headphones on!"

"Let him play it. It doesn't bother me," said Chana.

"She can't hear anything anyways," the grandson tried to defend himself.

"Mother, don't forget that you have an appointment in the hospital tomorrow morning at nine o'clock!" said the daughter.

Chana goes to Mount Sinai Hospital since it's cheaper there. In Israel, she didn't have to pay anything for medical care. Here her daughter pays for her mother's visits out of her own pocket since the son-in-law doesn't give her his own money for this.

"I don't know who can take you to the doctor tomorrow," her daughter thought aloud.

"I can't leave work because they'll take that off my pay check. Maybe you can take your grandmother to the doctor?" she asked her son.

"I have to be in school at 8:30 a.m. and I go there by bike," he replied.

"I'll go myself. I know how to get there," said Chana.

When the daughter left Chana wiped her tears off, calmed down and fell asleep.

She dreamed that she was in control of the house. She was sitting at the head of a large square table and serving soup from a nice bowl and nothing spilled on the table. They finished dinner. The son-in-law politely thanks her, "Thank you mother," and gives her a newspaper to read.

"Grandma, what would you like to watch on TV?" asks her grandson.

The daughter thanks her for fixing the dress. Chana is happy. And in the morning, everything started over again. Chana got up early in order to make breakfast for everyone. She made an omelet and tea.

"Grandma, your omelet tastes like the sole of a shoe. You have to do it the American way – scrambled egg," stated the grandson.

"Leave your grandmother alone, get up early and make breakfast for yourself," remarked his mother.

The son-in-law ate quietly while giving Chana unhappy looks. So she decided not to sit by the table. When everyone left, Chana drank tea and went to the hospital.

It was a short walk by the park and the synagogue...she knew her way.

She walked, immersed in her own thoughts and mischiefs. She had high blood pressure, a bad heart, and arthritis. Medications didn't help her, but she would endure anything as long as she wasn't a burden to anyone.

Chana came to an intersection where an old synagogue has been turned into a Jewish museum. Jews didn't pray in this synagogue anymore. They moved to the suburbs and built themselves a modern synagogue.

When she approached the synagogue she mentally raised her hands to God, but God didn't seem to hear her. Chana slowly began to cross the street. There was no traffic light and cars seldom ran here.

Chana was afraid of cars in the Soviet Union, but here she wasn't scared of them. In all the world except the USSR, cars stop for pedestrians. She approached the middle of the street as she was suddenly knocked over. Her head began to spin, she fell and hit her hip. She felt extreme pain in her leg and hand and lost consciousness.

She was hit by a car driven by a woman who tried to rush in front of her at a high speed. The car stopped and a frightened woman ran out of it. Other cars stopped as well and soon the street was jammed. An ambulance and a police car arrived, but the hospital was close by.

The police in the meantime filled out the claim forms. They determined that the woman driving the car was at fault since Chana was crossing the street in the correct place.

Chana regained consciousness in the hospital. Her whole body was aching. She couldn't move. Her left hand was in a cast and her leg was wrapped up. Her daughter was sitting by the bed.

"Where am I?" Chana raised her head with difficulty and looked around.

"In the hospital," her daughter said.

"How did I walk here?" Chana tried to remember what happened.

"You were brought by an ambulance," her daughter explained.

"Who will pay for all this?" she asked.

"Don't worry mother, the insurance of that woman will pay for your medical expenses," explained the daughter.

"What insurance? What woman?" Chana didn't understand.

"The one who ran over you," she said.

Chana was being cared for by several doctors at once. Her daughter invited well-known physicians and consultants. They were paid by the insurance company of the woman. Her insurance also paid the \$300 a day for Chana's stay at the hospital.

The doctors concluded that the leg was fractured and at such a late age it might not grow back or it might grow back incorrectly. An operation was necessary. There was no other way and her daughter had agreed. Chana was given some papers to sign.

Have you seen such things in the Soviet Union? she thought to herself. Does a doctor there ask the permission of the patient? Of course not, he does whatever he sees necessary.

"The doctors don't want to be responsible if your situation deteriorates," explained her daughter.

What else could deteriorate after all that happened? she thought.

The next morning Chana was anesthetized and taken to the operating room. The operation lasted three hours; she was implanted with a metal rod in her hip. Then she stayed in intensive care for several hours.

After the operation, Chana slowly began to recover. Each day she had her lungs ventilated by a special machine to get rid of the chloroform. Her hand still hurt since it was displaced and the doctors weren't successful in putting it back. Chana didn't want a second operation, one was enough. Due to the accident, Chana's kidneys were damaged and she had difficulty urinating. A surgical incision had to be made to remedy the situation.

All her free time after work and sometimes during work her daughter was at the hospital with Chana. She fed her and made sure that the nurses changed the bed sheets often enough. She wasn't afraid of missing work since the insurance paid for them.

Once the grandson visited Chana. Her son-in-law never came. And on one occasion the woman who ran over her came in for a visit and asked, "How are you?"

Chana didn't say anything, but decisively turned away from her. In the whole world cars let pedestrians through, but this one decided to be an ace and cut in front of her and make her an invalid. It was good that Jacob hadn't lived to see this. Chana began to cry.

Chana stayed in the hospital for several weeks. Then she finally went home. She looked terrible since she lost a lot of weight. One is buried in a better condition, she thought and began to cry again.

They invited a lawyer. He was writing something down and the daughter was adding more details.

"Did you include the leg? Also note that the arm is not functioning," she said.

“Which arm?” the lawyer asked.

“The left one. But she still won’t be able to do anything with it. She will have to be cared for by a nurse or myself and in the latter case I’ll have to leave work. Did you write that down?” the daughter asked.

“What else?” asked the lawyer and looked at Chana.

“She has a blue spot behind her ear and her kidneys are damaged and the main thing is the psychological trauma,” continued the daughter

“What is all this for?” asked Chana.

“It is easier to suffer with money,” said the lawyer.

“I want to die,” mumbled Chana.

... But she had no luck in dying. She slowly recovered. At first she rolled around in the apartment in a wheel chair that the hospital gave her, then she began to move around with a walker. A nurse from the hospital did exercises with her.

In the meantime, the lawyer did his job. Chana received a check for \$60,000. Twenty-thousand dollars went to the lawyer and the rest was put in the bank.

The family was revitalized. They bought a new car because the old one was so bad that it was shameful to go anywhere in it. The son-in-law rented an office and opened a clock repair shop there. Now he is his own boss – whatever he earns is his. Others treat him differently, too. He is now a businessman.

The grandson received his long awaited motorbike. He doesn’t bother Chana when she is asleep anymore since he was moved out into the living room.

They bought new furniture; now they could invite friends over. They are thinking of buying a house. The daughter bought new clothes for herself so that she could be seen in public.

If Chana dies, her daughter will receive the money. The son-in-law and his wife thought of everything. They have invited a lawyer and two witnesses and made up a will.

Chana is recovering slowly. She now walks with a crutch. The doctors tell her that she should move more. Sometimes she even goes outside to get a breath of fresh air.

Could they have put a metal rod in her hip back in the Soviet Union? Back there she would never have walked again. Here she was put back on her feet by the American medical know-how.

Chana still gets up early and makes breakfast for everyone.

“Grandma, you’ve finally learned how to make scrambled eggs.” said the grandson.

“That’s because I do it with only one hand,” Chana joked.

“Good-bye, Mother,” said the daughter and kissed her mother on the cheek.

The son-in-law humorously waves his hand in a good-bye gesture.

Chana is happy. Back in the Soviet Union would she have gotten so much money for being hit by a car? The lawyer said it correctly, “It is easier to suffer with money.”

She limps when she walks and it hurts. It is also difficult to walk. The hand hurts intensely at times. She has trouble urinating, but she doesn’t care. She has lived her life. As long as the children are happy, she is happy, too. And the children are happy.

MONEY MACHINE

Рассказ

Он вынул из почтового ящика увесистый конверт. Внутри лежала брошюра. Развернул и стал читать: «КОНФЕРЕНЦИЯ с американскими ведущими экспертами успеха. ВОСЕМЬ ЧАСОВ НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ МОГУТ НАВСЕГДА ИЗМЕНИТЬ ТВОЮ ЖИЗНЬ. БЫСТРЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ ПРЕВРАТИТ ТВОИ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ БУКВАЛЬНО ЗА ОДИН ДЕНЬ. Во время этой конференции ты научишься шаг за шагом технике: как похудеть, заработать деньги и развить свои личные таланты». К брошюре был приложен бесплатный билет. Худеть ему не требуется. Талантов у него нет. А вот «как заработать деньги» - тут они обратились по адресу.

«Дорогой друг, настроенный на успех, - пишет организатор конференции некий Джеймс Кук, - разреши мне поделиться с тобой секретами, которые помогут тебе успешно контролировать свою жизнь. НЕ МЕЧТАЙ, А ДЕЙСТВУЙ. ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, ТЫ ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬ К НЕЙ ОТНОШЕНИЕ. ЧЕТЫРЕ ШАГА К УСПЕХУ. КАК ПРЕВРАТИТЬ \$500 В \$5000 - \$10000 И БОЛЕЕ. Слушай внимательно, делай пометки... и ты будешь богат до конца твоих дней. ЗАХОТЕЛ - ОБУЧИЛСЯ - ДОСТИГ».

Почти как Юлий Цезарь: *veni, vidi, vici* (пришел, увидел, победил).

«Если же в течение дня ты не убедишься, что эти положения правильные и для тебя срабатывают, мы вернем деньги за билет без лишних вопросов».

Билет на конференцию стоит \$69, если ты покупаешь его заранее и \$79 перед началом.

- Что ты там читаешь? - с нетерпением спросила жена. - Что тебя так заинтересовало?

- Я, кажется, скоро узнаю, как приумножить наши деньги, как сделать из них состояние, - ответил он, передавая жене брошюру.

Пока жена читала, он вертел в руках и рассматривал билет.

- Подумай, билет стоит так дорого, а мне его прислали бесплатно.

- У тебя билет только на первый день конференции. Дальше они надеются, что, заинтересовавшись, ты сам купишь билеты на другие дни. Обычный американский трюк.

- Если верить их рекламе, одного дня будет достаточно.

И как это Джеймс Кук, о котором он и слыхом не слыхал, догадался именно его, одержимого идеей разбогатеть, пригласить на КОНФЕРЕНЦИЮ УСПЕХА. Не иначе, как сам Господь Бог посылает ему руководство к действию.

В центре города в зале шикарной гостиницы собрались серьезные и деловые люди: строго одетые мужчины и женщины с портфелями-дипломатами и папками в руках.

Выступающий говорил четко, не сомневаясь, приводил примеры уверенно. Он учил собравшихся, как делать деньги из недвижимой собственности. Покупаешь дом с выплатой на 29 лет за одну цену и тут же, не расплатившись, перепродаешь за другую, разумеется, большую. Второй дом снова продаешь и так до бесконечности... пока не станешь богат.

Говоривший - его звали Скотт Вильсон - изобрел, как он сам выразился, Money Machine, машину, которая делает деньги буквально из воздуха.

Он слушал, затаив дыхание и делал пометки. Теперь он знает, как в Америке становятся богатыми.

Домой он вернулся веселый.

- Я понял, куда надо вложить наши 5 тысяч. Надо купить дом.

- Зачем нам дом? - возразила жена. - С ним много мороки.

- Я сегодня узнал секрет, как можно разбогатеть, перепродавая дома.

- Ты помешался на фантазии стать миллионером. Мы живем нормально, не нуждаемся. Ребенок наш хорошо питается...

- Это не жизнь, а прозябание.

- ТАМ ты говорил то же самое. И хотел уехать, чтобы быть свободным.
- ЗДЕСЬ я понял: свободным может быть только тот, у кого есть деньги. Мне осточертело с утра до вечера развозить пиццу... обжорам.
- Думаешь, мне приятно маникюрить лапы... разным старушенциям?
- Что это за жизнь, если не можешь купить то, что хочется?.. Я хочу иметь хорошую машину, видеокамеру, яхту...
- Не все в Америке имеют яхты.
- Хочу каждый год ездить отдыхать во Флориду... Хочу путешествовать по Европе... а не сидеть непролазно в этой дыре.
- Америка - не дыра.
- Для кого как.
- Сын наш станет богатым.
- Не станет, если не получит хорошего образования.
- Он, слава Богу, учится в «Хибру Академи» бесплатно.
- А дальше?..
- Поступит в «Паблик Скул».
- Состоятельные родители отдают своих детей в частные школы, потом посылают их учиться в престижные университеты.

Жена поняла: спорить с ним бесполезно. Точно так же они спорили в Союзе об отъезде. Она ехать не хотела, он настоял.

- Делай что хочешь. Но мне ясно: пропадут наши деньги.
- Не пропадут, - он подошел к жене и нежно обнял ее, она отстранилась.
- Я еще никогда не был так уверен в успехе.

Итак, путь к процветанию найден, осталось сделать первый шаг: приобрести небольшой, но приличный дом, чтобы его сразу же можно было продать. Он стал брать из ящика на улице, за нее не надо платить, газету REAL ESTATE.

Каждое воскресенье они с женой и сыном-школьником, его не с кем оставить, ездят смотреть дома. То дом красивый снаружи, но неприглядный внутри, то он слишком большой - трудно будет продать, то, наоборот, слишком маленький - вряд ли кто купит, то стоит очень дорого - не хватит у них денег на первый взнос, да и за «моргидж» придется много выплачивать каждый месяц, то дом слишком дешевый, и это подозрительно. Жене надоело, и она взмолилась:

- У меня уже в глазах рябит от просмотренных домов. В следующее воскресенье поедешь один.

Нашел он подходящий дом случайно. Привез по адресу пиццу и увидел перед домом воткнутую в землю дощечку: FOR SALE.

Хозяйка оказалась старушкой за 70. У нее умер муж, дети живут отдельно, и ей тяжело морально, да и материально, за дом надо платить налоги, жить в этом доме одной. Она хочет продать дом и переселиться в квартиру для «Сеньор Ситизен». Так в Америке почетно называют людей после 60. За эти квартиры старики и инвалиды платят только 30% своего дохода. Остальное доплачивает добрый дядя Сэм.

- Покажите мне ваш дом, - попросил он хозяйку. - Может, я его куплю.
- Пожалуйста, - обрадовалась старушка.

Дом двухэтажный, но односемейный. Внизу - холл: нечто вроде русской прихожей, кухня, большая, с намеченной перегородкой, столовая-гостиная, спальни две: одна внизу, другая на втором этаже, ванная, два туалета, чердак, просторный подвал со стиральной машиной. На заднем дворе гараж. Спереди перед домом несколько кустов шиповника.

- Сколько стоит дом?
- 50 тысяч.
- А дешевле?

Старушка разволновалась. Дешевле она продавать не будет. Они с мужем в этом доме прожили всю жизнь, детей вырастили. Дом все время благоустраивали, регулярно делали ремонт, каждые десять лет меняли ковер...

Я в воскресенье приду с женой. И тогда мы решим.

Он рассказал жене, что нашел подходящий дом. И стоит он недорого.

- Хозяйка - одинокая вдова... Просит 50 тысяч, но думаю, отдаст и за 40. Уж больно ей невмоготу жить в этом доме одной.

- Ты с тех пор, как приехал в эту страну, совершенно переменялся. В России ты бы постеснялся обманывать бедных старушек.

- Кто кого обманывает?.. Это свободный рынок... честная купля-продажа.

В воскресенье они поехали с женой. Осмотрели как следует дом. Муж долго торговался, жена, как всегда, молчала. Кончилось тем, что старушка согласилась продать дом за 40 тысяч.

- А если мы не сможем выплатить? - забеспокоилась жена.

- Я не собираюсь выплачивать. Я тут же буду его продавать.

Жена махнула рукой.

Оформление покупки дома длилось долго. Банк, который согласился дать ссуду, запрашивал пиццерию и салон красоты, действительно ли купившие дом там работают и являются ли платежеспособными. Запросил он также лендлорда дома, где они снимают квартиру, и даже электрическую, газовую и телефонную компании, платят ли они аккуратно по счетам. Прошло несколько недель, пока были улажены все формальности.

На первый взнос ушли \$4000, и каждый месяц они должны были в счет уплаты «моргиджа», т.е. ссуды, вносить в банк \$200 плюс \$100 налога и \$10 за страховку дома. Супруги экономят на всем. Перестали ходить на концерты приезжих советских гастролеров, не позволяют себе кино, первый раз за три года жизни в Америке не устроили сыну «парти» на день рождения, отчего восьмилетний мальчик очень огорчился, экономят даже на еде.

- Давай переселимся в этот дом, чтобы не платить зря за квартиру, - предлагает жена.

- Я надеюсь его через месяц-другой продать.

Он дал объявление в газету REAL ESTATE. «Продается комфортабельный односемейный дом... Стоит \$55000».

Каждое воскресенье, остальные дни он работает, он сидит в своем доме с 10 утра и до 6 вечера и ждет покупателей. Берет с собой книгу, газеты, маленький радиоприемничек с наушниками. Что-нибудь читает, а чаще мечтает под музыку. Вот они продали дом, есть у них деньги, и они с женой и сыном путешествуют по Америке на дорогой машине. Останавливаются в шикарных отелях, ловят рыбу со своей яхты, обедают в лучших ресторанах, посещают различные шоу. По вечерам сидят в барах, танцуют в дискотеках... И всю эту роскошную жизнь он снимает на кинолентку собственной видеокамерой. Особенно он любит мысленно путешествовать по Европе, здесь его фантазия неистощима.

- Ну, что? - спрашивает с надеждой жена, когда вечером, намаявшись за день, приезжает за ним на их единственной машине. - Кто-нибудь из покупателей приходил?

- Пока нет. Думаю, я много запросил. Надо снизить цену.

Он дал новое объявление: «Продается дом за \$52000». И снова каждое воскресенье посвящает дежурству. Он как-то не осознает, что сидит там не только, чтобы продать дом, но и бежит от реальности: от нудных домашних дел. Жене теперь одной приходится с ними справляться, одной ездить в супермаркет за продуктами... Она стала раздражительной.

- Я хочу сегодня поехать в «Вэлю ворлд». Там объявили распродажу вещей за половинную цену.

- Ну и поезжай.

- Я боюсь так далеко вести одна машину.

- Хочешь, чтобы я поехал? А кто будет дежурить? Вдруг придут покупатели?

- Я не верю, что мы когда-нибудь продадим этот дом...

Почувствовав в ее голосе угрозу истерики, он согласился отвезти ее, куда она хочет.

Они приехали в магазин подержанных вещей. Он был поражен, сколько, оказывается, в Америке людей покупают старое барахло. Увидев, как жена примеряет сыну ношеную куртку, он возмутился:

- Уйдем отсюда. Меня тошнит даже смотреть на это вонючее тряпье.
- Подумаешь, какой аристократ! А что прикажешь ребенку носить?! - вспыхнула жена. - Он растет. Ему каждый год нужно покупать одежду.
- Ну и покупай.
- На какие шиши?! - она перешла на крик. - У нас денег нет! Мы бухаем их в твой «золотой дом», чтоб он сгорел!

Чтобы не нарваться на скандал в общественном месте, он замолчал. Жена набрала ворох вещей, и они стали в кассу. Ему было дико смотреть, как перед ними белая, культурная на вид женщина платила за ношенные (как такие можно на себя надеть?) трусики и колготки.

«Вырваться из этой нищеты, - подумал он с горечью, - вырваться любой ценой! Разбогатеть во что бы то ни стало!»

Следующее воскресенье он снова дежурил в доме. Раздался телефонный звонок: мужской голос подробно расспрашивал, когда дом построен, кирпичный он или деревянный, покрыт ли снаружи алюминием... и сказал, что скоро придет.

Мужчина средних лет осмотрел дом.

- Красная цена ему 40 тысяч.
- За такую цену я не продам.
- Больше вам никто не даст.

Жулик, подумал он про себя, хочет этот дом перепродать. Он забыл, что сам именно этим и занимается. Потом пришли черные мужчина и женщина; ходили по дому, что-то громко обсуждая между собой на южном диалекте, так что он с трудом понимал, о чем они говорят. Потом сказали: в доме мало спален, а у них много детей.

Прошло несколько месяцев. Приходят потенциальные покупатели, но то дом им нравится внутри, но не нравится снаружи, то дом для них слишком маленький, то чересчур большой, то очень дорогой, то подозрительно дешевый...

В одно из воскресений к концу дня, когда он уже собирался уходить, пришла белая женщина. Осмотрела дом. Он ей понравился. Но она мать-одиночка, растит двух детей и 52 тысячи для нее дорого. Она на них не потянет, а вот за 40 она бы купила.

- Продай дом за 40 тысяч, - умоляет его жена. - Вернем наши деньги и забудем всю эту историю. Этот дом нас съедает... выжимает все соки. Никакой жизни из-за него нет.

- Я не затем покупал дом, чтобы продать его за ту же цену и иметь с этого чистой воды бульон.

В это воскресенье он, как обычно, сидел в своем доме и томительно ждал покупателей. Наступил вечер, а никто так и не пришел. Скотина этот Скотт Вильсон, подумал он, жулик... небось вместе с Джеймсом Куком зарабатывает деньги, зазывая таких дураков, как он, на КОНФЕРЕНЦИИ УСПЕХА, провались они в преисподнюю, а врет, что изобрел Money Machine. С досады он вынул пачку сигарет, хотел закурить. Зажигалка не работала. Пошел в кухню, зажег комфорку электрической плиты, сунул туда сигарету, она вспыхнула, он дунул на нее, но она не погасла. В раздражении швырнул сигарету в мусорный ящик. Достал другую, зажег, закурил и вернулся в гостиную. Когда он снова вышел в кухню, чтобы бросить окурки в мусорный ящик, там горела бумага: русская газета, которую он берет с собой для чтения. Он хотел было плеснуть в ящик воды, стал искать кружку, но что-то остановило - словно молния пронзила его мозг: СТРАХОВКА. Как он раньше об этом не подумал? Это так просто. И не надо ничего продавать. Он пошел в гараж, надел рабочие рукавицы, чтобы не было отпечатков пальцев, взял банку с бензином. Когда он вернулся в дом, бумага в ящике догорала. Он с яростью сунул туда газету Real Estate и плеснул бензином. Потом стал поливать им стены, приговаривая вслух:

- Если я не могу тебя продать, проклятый домина, так гори синим пламенем!

Вылив весь бензин, сунул пластмассовую банку и рукавицы в горящий мусорный ящик, чтобы не осталось улики, запер дом и пошел на автобусную остановку. С полдороги вернулся: чуть было не забыл. Вынул из земли дощечку For sale, которая осталась после

старушки - первой владелицы дома, разбил локтем окно в гостиную: пусть думают, что дом поджег кто-то снаружи, и забросил туда дощечку.

- Что случилось? - в недоумении спросила жена, когда он пришел домой. - Почему ты не дождался, пока я за тобой приеду?

- Мне надоели эти дежурства. Ты права, надо продать дом за 40 тысяч - и дело с концом. Завтра же позвоню этой матери-одиночке.

- А вдруг она передумала?

Неизвестно, сколько прошло времени, когда возвращавшиеся из гостей соседи заметили, что из дома рядом валит дым. Подошли поближе, увидели разбитое окно... и вызвали пожарную команду.

В одиннадцать вечера он, как всегда, включил телевизор, чтобы посмотреть местные новости. Показывали пожар.

- Боже мой, это горит наш дом! - воскликнула жена. - Я знала, знала, что пропадут наши деньги.

- Пусть горит, - спокойно ответил муж. - Мы получим за него страховку.

- Причины пожара пока неизвестны, - сказал по телевизору диктор.

Жена взглянула на мужа и в голове ее зашевелилась страшная мысль.

- Ты что, нарочно поджег дом?... Теперь я понимаю, почему ты, не дождавшись меня, приехал домой на автобусе.

Она смотрела на него с ужасом.

- Нарочно, не нарочно, а страховку мы получим.

Жена, не слушая его, громко плакала.

Получить страховку оказалось не так просто, как он думал. Страховые компании послали своего агента осмотреть дом и установить сумму повреждений. Сгорела кухня; в гостиной, где не было мебели, обгорели лишь стены. Когда страховой агент увидел валявшуюся на полу обуглившуюся дощечку, на которой однако можно было разобрать слово For sale, у него зародилось подозрение, которым он и поделился с менеджером компании. Тот обратился в полицию. Началось расследование. Вызывали его, допрашивали как свидетеля жену. Она лгала, что в тот день, когда случился пожар, мужа ее в доме не было: он ездил с ней за покупками. Опросили соседей. Те показали, что в доме никто не жил, но хозяева приходили туда по воскресеньям. Потом был суд. Пришлось взять адвоката. На это ушли их последние деньги. И сколько адвокат ни пытался доказать, что пожар произошел случайно, ничего из этого не вышло. Улики были налицо: пахнущие бензином стены, дощечка со словом For Sale... Улик было более чем достаточно. Прокурор-женщина произнесла прочувствованную обвинительную речь: «Господин Евгений Симанович не родился в Соединенных Штатах, он эмигрировал к нам из Советского Союза. Америка его приютила, дала право на работу, «право на процветание и достижение счастья». Он отблагодарил ее поджогом!» Было тяжело и неприятно слышать эти слова. Присяжные признали его виновным в поджоге собственного дома с целью получения страховки.

Теперь он сидит в тюрьме. В 6 утра подъем и завтрак: полстакана апельсинового сока, сириэл с молоком, тост и кофе. Примерно то же самое он ел и дома. Потом работа до 11 часов: подметает и моет пол в кухне. В 11 ланч и снова работа: столярная в мастерской тюрьмы до 5 часов. В 5 обед: салат, мясное или рыбное блюдо... С 5 до 10 вечера свободное время. В 10 полагается гасить свет. Времени у него уйма. Он сидит в одиночной камере стандартной американской тюрьмы и думает о своей неудавшейся жизни. Одиночество к этому располагает. Раньше ему негде было уединиться. В Союзе они все: он, жена и сын жили в одной комнате. Здесь снимают квартиру с одной спальней. Вся его жизнь была ошибкой, ошибкой с самого начала. С детства он только и делал, что читал книги. После окончания школы поступил на филологический факультет педагогического института (в университет не приняли) и снова уже по списку, для сдачи экзаменов, читал книги. Не проявив настойчивости первая же девушка, с которой он познакомился, он вероятно бы и не женился. Остальную жизнь до эмиграции сидел в редакции ведомственной газеты «Мастер леса» (попасть в гуманитарный журнал или издательство художественной

литературы не удавалось: евреев туда не принимали). А по вечерам снова читал. Книги научили его ненавидеть реальную жизнь и мечтать о несбыточном. Родись он в Америке, он, вероятно, был бы другим человеком.

Жена навещает его нечасто. Тюрьма находится в том же штате, но далеко. Иногда она приезжает с сыном. Он пытается перед ним оправдаться, говорит, что желал им с мамой только добра и вот из-за этого нечаянно попал в тюрьму. Мальчик упрямо слушает и смотрит на отца в арестантской одежде со страхом и жалостью. Жена приносит ему фрукты и книги для чтения. Книг он больше не читает... и остальное просит не приносить.

- Я питаюсь здесь, наверно, лучше, чем вы. В этом смысле - это не тюрьма, а санаторий.

Как-то на прогулке в тюремном дворе, когда остальные заключенные играли в бейсбол, а он ходил по кругу, думая о своем, к нему подошел белый парень и попросил закурить. Они разговорились. Парень рассказал, что сел в тюрьму всего-навсего из-за попытки своровать джинсы из универмага. Много раз у него это проходило, а тут попался. Между прочим в разговоре парень заметил, что кончает в тюрьме колледж. Он удивился:

- Разве в тюрьме можно учиться?

Оказалось в этой Стране чудес - можно. В другой раз на прогулке он сам подошел к этому парню и расспросил, какую профессию тот изучает.

- Программиста, - ответил парень. - Это нужная теперь профессия.

Он тоже решил учиться и сообщил о своем желании надзирателю. Тот передал это тюремному начальству. Теперь в свободное время вместо того, чтобы переливать в уме из пустого в порожнее, он изучает компьютеры. Вместе с ним занимаются еще четверо заключенных. Обучать их приходят в тюрьму специально преподаватели.

Выйдет советский эмигрант Евгений Симанович из американской тюрьмы с профессией. Найдет работу. И будет жить, как живут в этой стране простые люди.

1993

НА КОГО Я ПОХОЖА

Опыт юморески

В детстве мне говорили, что меня украли у цыган. Я верила и опасалась, вдруг цыгане захотят забрать меня обратно. Я не хотела ночевать у костра под открытым небом. Мне нравилось жить в нашей отдельной трехкомнатной квартире в Ленинграде, которую во время войны незаконно заняли, и в результате я очутилась в Москве в цыганских условиях коридорной коммуналки.

Как-то я шла по улице со школьным портфелем. Это было во 2 классе. У меня были черные волосы, заплетенные в две косички, заканчивающиеся колечками. Лент и бантиков я не носила.

- Смотрите, цыганочка в школу пошла, - воскликнул мне вслед какой-то дяденька.

А однажды меня не узнала родная мать. Я обула ее длинные, со шнурками сапожки, сохранившиеся еще с дореволюционных времен, натянула на себя три маминых платья, чтобы юбка была трехэтажная, как носят цыганки, и когда мама пришла с работы, встретила ее у дверей:

- Барыня, давай погадаю.

Мама не сразу сообразила, что перед ней родная дочь. Да что там... цыганский табор раз принял меня за цыганку. Это было в эвакуации на Урале. Я вместе с подружкой работала летом на пункте по сбору грибов и ягод. Мы переплывали на пароме Каму. На паром сели цыгане. Смотрят на меня и шушукуются. Я была босиком, на шее у меня белели бусы, на голове кокетливо повязана косынка.

- Они тебя принимают за свою, - шепнула мне подруга.

Все цыгане, как и я, были босые. Только одна цыганка обута в тапочки, в ушах ее сверкали золотые серьги-кольца, на шее блестела золотая цепочка. И звали ее соответственно: Бриллианта. Рядом с ней сидел степенный цыган, ее муж, вожак табора. Бриллианта спрыгнула с парома в привязанную к нему лодку, где были два парня и стала с ними флиртовать. Муж и бровью не повел. Но и парни не обращали на нее внимания. Вернувшись на паром, она указала рукой на меня:

- Вот с кем надо заигрывать.

Мне было четырнадцать лет. А когда паром чуть-чуть не дошел до берега, и я стала перелезать через перила, другая цыганка пыталась оторвать от перил мои руки, чтобы я упала в воду. Они меня приревновали: я была в их стиле, но оказалась красивее.

Перед самой войной мама взяла меня на Кавказ. В Батуми грузин, у которого мы покупали мне сандалии из лосиной кожи, спросил маму:

- Эта девочка наша?

На голове у меня была ковровая тюрбетейка.

- Нет, моя! - ответила мама.

- Наша! - сказал грузин, как отрезал. - Отец, наверняка, наш.

Мама не стала спорить. А однажды двое грузин (я была уже взрослой, и было это в Москве), ругались при мне матом по-грузински, считая, что я нарочно не хочу признаваться, что я грузинка.

Так оно и шло. Когда я была в международном молодежном лагере «Ласточка» в Ереване, все кругом твердили, что я - вылитая армянка. Стоило нашей группе через двенадцать дней переехать в Баку, как все хором стали уверять, что я... ну точно азербайджанка. Сама я не нахожу, что похожа на кавказских женщин. Глаза у меня другие.

У них - непроницаемые, как маслины, а в моих застыла мировая скорбь, запечатлелась трагедия народа, которого веками преследовали, изгоняли, душили в газовых камерах...

- Твою национальность можно опознать по пессимизму, - любила повторять сослуживица моих родителей и моя большая приятельница.

И тем не менее не было на Востоке народности, за которую бы меня не принимали. Раз на озере Иссык-Куль ко мне подошла группа туристов-пенсионеров:

- Тамара, вы случайно не японка? У вас даже походка японская.

Я носила тогда высокий шиньон, напоминающий японскую прическу. И стоило мне изменить прическу, как менялась и моя национальность.

Никогда не принимали меня только за самое себя, отчего я подчас вынуждена была выслушивать «комплименты» в адрес моего народа.

- А вот правильно Гитлер считал, что всех евреев уничтожить надо, - выдал мне однажды мой ученик 8 класса, когда мы остались с ним одни.

- Это почему же их надо уничтожать? - поинтересовалась я.

- Вам, наверное, мало приходилось с ними встречаться...

- Я сама еврейка, - огорошила я своего ученика.

Но он, увы, не смутился и продолжал развивать антисемитские теории.

Незадолго до эмиграции я отдыхала под Москвой в пансионате «Березки». Там одна дама, жена советского профессора и сама профессорша, всерьез решила, что я турчанка и как-то раз мне поведала:

- Тамара, мы каждый день уходим в заповедник к ланям, чтобы не видеть эти еврейские рожи.

Можете себе представить интеллект этой «профессорши», которая, видимо, решила, что в подмосковный пансионат я попала прямиком из турецкого гарема. До сих пор не могу себе простить, что я ей тогда не ответила:

- А от вашей собственной рожи лани наутек не кидаются?

Впрочем, за турчанку меня приняли не единожды. Как-то мы с подружкой ночью у нее в квартире готовились к экзамену по греческой и римской литературе: читали «Освобожденный Прометей» Эсхила. Утром соседи резюмировали: «Был шабаш, и приходила какая-то турка». Я была в лыжных штанах.

Но самое забавное произошло со мной, когда в качестве эмигрантки я приземлилась в аэропорту Кеннеди. Я шла в толпе советских эмигрантов. Нас было человек 80. Я была единственная, кто нацепил на себя хиасовской значок. Остальные его не надели, боясь террористов. Я волновалась: меня не узнали уже в Вене. Вдруг ко мне подходит молодой человек в форме, служащий аэропорта, улыбается, берет за ручку и подводит совсем к другому окошечку: он решил, что я итальянка, приехала путешествовать в Америку и случайно затесалась не в свою группу.

И даже мои заокеанские соплеменники не желали принимать меня за свою.

- Вы совершенно не похожи на еврейку, - удивленно заметила моя американская волонтерша.

- Может, я не похожа на русскую еврейку, - робко возразила я, - но похожа на израильскую?

Она, объездившая весь мир, отрицательно покачала головой...

А одна моя соотечественница, тоже эмигрантка, увидев меня первый раз на уроках английского языка в Еврейском Центре, решила, что я «русская жена какого-то еврея». Я прожила в России большую часть своей жизни, я еврейка ассимилированная, воспитанная на русской культуре, которую люблю, я русский писатель. Но как можно, будучи «вылитой грузинкой, армянкой, азербайджанкой, цыганкой, турчанкой, японкой и...» походить одновременно на русскую?

Чаще всего я оказывалась похожей на испанку. В МГУ вместе со мной учились испанские дети - жертвы их гражданской войны. Все кругом думали, что и я «испанский ребенок». Однажды я пересдавала экзамен. Я сидела около аудитории и ждала профессора. Рядом со мной сидела незнакомая девушка. Когда я с ней заговорила, она была поражена.

- А я приняла вас за испанку. Сижу и думаю: как она будет сдавать экзамен, ведь она, бедная, наверное, русского языка не знает.

- Вы итальянка или испанка? - спрашивали меня ученики, когда я, работая в Кливленде в системе «Паблик Скул» замещающим учителем, в очередной раз входила в класс.

- Я из России, - отвечала я, не вдаваясь в подробности.

Мне надоело уточнять.

В Институте Искусств, где я позировала для классов «живописный портрет», я как-то для экзотики накинула на плечи русский расписной платок.

- Это прекрасно! - восхитился преподаватель. - Это нечто испанское. Предки его были родом из Барселоны.

- Это типичный русский дизайн, - уточнила я. - Просто я в этой шали не выгляжу русской.

- Вы выглядите, как испанка.

- Это потому, что евреи вышли из Испании, - отпарировала я.

Не весь еврейский народ вышел из Испании. Обе мои фамилии: отца и матери - ашкеназийские. Не все испанские евреи, изгнанные из страны в 1492 году (как раз в тот год, когда снаряженная на деньги богатых еврейских купцов армада Колумба отправилась открывать Новый Свет), переселились в Марокко. Часть из них ушла в Португалию, Турцию, Голландию, Германию, Польшу... В конце концов добрались и до России. Кто знает, может, и в моих жилах течет их кровь.

Словом, я купила туристическую путевку и поехала в Испанию искать свои корни, установить, на кого я, наконец, похожа.

Стюардессы и прочий обслуживающий персонал аэропорта стали со мной разговаривать по-испански уже в Нью-Йорке... и говорили так всю дорогу туда и обратно. Так что я, бедная, то и дело должна была оправдываться.

- Я не понимаю по-испански, - лепетала я. - Я говорю только по-английски.

О том, что я говорю еще и по-русски, я на время забыла.

В Испании, помимо осмотра многочисленных достопримечательностей, я впивалась взглядом в лицо каждой испанской женщины, решая свой гамлетовский вопрос: похожа

или не похожа? Какое-то сходство есть. Ну хотя бы - маленький рост. Черные прямые волосы... Правда, они у меня уже перестали быть прямыми: поредели, распушились и лежат волнами. Профиль похож... только до переносицы. Носы у них малость подлиннее моего. Он у меня хоть и прямой, но короткий. Это ведь только в России, где большинство носов - картошкой, считают, что отличительный признак еврея - длинный с горбинкой нос. В мире полно национальностей, у которых носы куда длиннее и горбатистей.

В Мадриде я увидела девушку ну точно с моим носом. Может, он у нее был чуточку потолще. Мало того, как и у меня в молодости, два верхних передних зуба у нее были длиннее остальных, и когда она говорила или улыбалась, чуть выдавались. Американская стоматология исправила мне этот недостаток. Девушка была гидом: она вела экскурсию в королевском дворце. И я, не понимая ни слова, она говорила по-испански, двигалась за ней от экспоната к экспонату, сравнивая ее с собой в юности. Такие же густые брови, как у меня, такие же ресницы... Лба я не могла разглядеть: он был закрыт челкой. Но у девушки была плотная кожа, более полный, чем у меня, чувственный рот... Она была необыкновенно хороша собой, бросалась за версту в глаза... но это была более грубая работа. Я принадлежу к древнему народу, гораздо более древнему, чем те, с кем меня сравнивают. В чертах моего лица отразилась вековая культура. И мне надо было жить в такой дикой стране, как Советский Союз, где публика считала, что делает мне комплимент, когда говорит:

- Вы совершенно не похожи на еврейку, вы вылитая...

Подставляй любую другую национальность бывшего СССР... и глотай «комплимент».

Я не зря ездила в Испанию. Я нашла там свое «идентити». В городе Кордова, в бывшем в древности еврейском квартале, на узенькой улочке Маймонида, у стен полуразрушенной старинной синагоги в сувенирном ларьке «Сефард» я купила серебряную звездочку Давида... и буду ее носить, чтобы ни у кого не было сомнений, на кого я похожа.

1994



У НАС В ГОСТЯХ
ЛЕВ РАХЛИС

ПЕТУХОВСКАЯ МАЦА

Главы из поэмы

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

(Вместо предисловия)

Я. Меня зовут Боря. Я живу с мамой, папой и сестрой Рахилей. Я расскажу вам о них.
МАМА. Он расскажет о нас. Как вам это нравится? Исак, ты слышишь, он расскажет о нас. Почему ты молчишь, Исак?

ПАПА. Э-э, почему я молчу... Где-то вчера я прочитал на заборе: «Меняю одну сорокалетнюю жену на две двадцатилетних». Так я-таки не против.

МАМА. Молчи, старый ловелас. Посмотри лучше на Рахилю, на ней лица нет. О чем ты думаешь, Рахилия?

РАХИЛЯ. О чем думает девушка, когда ей 24 года? Я тоже думаю об этом.

Я. Иосиф Соломонович, скажите и вы что-нибудь.

ШАПИРО. Если это нужно, я могу сделать пару слов. У моей скрипки четыре струны и тысяча друзей. Хорошо, что не наоборот.

МЕНДЕЛЬ. Боря, выпусти и меня на минутку.

Я. Пожалуйста, дядя Мендель.

МЕНДЕЛЬ. Род приходит и род проходит. Мой род уже проходит. Не забывай меня, Боря: в твои ребяческие годы я чесал тебе спину.

ШМЫЛЫК. Я никому не чесал спину, но если вам нужно починить валенки или ботинки, так я могу это сделать за пару копеек.

ХАЙКА. Подумаешь, пару копеек. Что такое пара копеек на сегодняшний день? Это два раза ничего, как говорит мой муж Хаим.

ХАИМ. Я говорю! Я ничего не говорю, за меня говорит Хайка. Чтоб вы это знали.

Я. Ну, вот мы и представились. Если вам охота познакомиться с нами ближе, смотрите дальше.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

По пятницам, когда наступит вечер
И ставни закрывают на засовы,
Мать ставила на подоконник свечи
И зажигала их поочередно.
Потом к лицу ладони прислоняла,
Бубнила что-то быстро и невнятно,
И мне казалось, что у нас в квартире
Жужжит неуловимая пчела.
А после окончания молитвы,
Убрал с лица шершавые ладони,
Она нам говорила: «Агит шабес».
Что означало - «Доброй вам субботы».

В субботу я всегда не наедался,
Не потому, что не хватало денег,
Чтоб закупить продуктов, сколько нужно,
А оттого, что по законам древним
Суббота для евреев - это праздник,
И мать моя в субботу не варила.
Но между прочим, несмотря на праздник,
Мой аппетит не угасал, как свечка.
И я тайком заглядывал на кухню
Чтоб поживиться чем-нибудь.

Мы жили в небольшом районном центре.
С названием куриным - Петуховка.
На Украине есть такое место.
Ничем не знаменитое пока.
Росли в деревне яблони и сливы,
Текла река мальчишкам для забавы,
Довольно средняя стояла школа
И неказистый деревянный клуб.
Мы в это время были пацанами.
Устраивали драки меж собою,
И после каждой шумной потасовки
Носили, как заплатаки, синяки.

Боясь, чтоб из меня не вырос олух,
Родители мои решили как-то
Договориться с местным музыкантом,
Единственным в деревне скрипачом,
Который бы три раза на неделе,
За плату, разумеется, не даром,
Меня учил бы хитрому искусству
И делал человека из меня.

Иосиф Соломонович Шапиро,
Как говорят, нередко был «под мухой»,
И красный нос, похожий на картошку,
Не очень украшал его лицо.
Берег он скрипку в бархатном футляре,
Ласкал ее, лелеял, как ребенка,
Ухаживал за ней благоговейно
И канифолью натирал смычок.

На свадьбы, вечеринки и гулянки,
На похороны или на поминки
Иосиф Соломонович Шапиро
Всегда, как на работу, приходил.
Отстегивал зажимы на футляре,
Пощипывал кривым мизинцем струны,
И осторожно, затаив дыханье,
Неторопливо скрипку доставал.
Он с нею никогда не разлучался.
Таскал ее по чайным и столовым.
Они смотрели вместе кинофильмы
И покупали в магазине хлеб.

И вот однажды, кажется, в субботу,
Когда мы пили всей семьей цикорий,
К нам кто-то тихо постучался в дверь.

Моя сестра подпрыгнула со стула,
Как будто укололась об иголку,
И, поправляя на ходу прическу,
Смущенная, помчалась в коридор.
А я-то знал - подслушал в разговоре, -
Она ждала визита кавалера,
Что должен был приехать в Петуховку
Для выбора невесты и жены.
Подстроил этот выбор дядя Мендель,
Великий и непревзойденный сводник,
Который мог свести кого угодно
За соответствующий магарыч.
Я помню, как уютно работал с жаром,
Наглаживая для Рахили платье,
Которое узорами цветными
Стремилось тоже жениха сразить.
Родители мои молили Бога,
Чтоб жениху понравилась невеста,
И, если все пойдет благополучно,
Сыграть на пасху свадьбу - и конец.

Итак, однажды, кажется, в субботу,
Когда мы пили всей семьей цикорий,
К нам кто-то тихо постучался в дверь.
Моя сестра подпрыгнула со стула,
Как будто укололась об иголку,
И, поправляя на ходу прическу,
Смущенная помчалась в коридор.

Но ожиданья иногда бывают
Обманчивее, чем прогноз погоды.
И на пороге, кашляя в ладошку,
Иосиф Соломонович возник.
Он положил на табуретку скрипку,
Протер очки с изломанною дужкой,
Потом своей замусленной перчаткой
Стал обметать с одежды мокрый снег.
Я видел, как сестра моя Рахили
У вешалки растерянно топталась
И очень долго не могла повесить
На толстый гвоздь холодную шинель.

Навстречу гостю мать засеменила,
О фартук наспех вытирая руки:
- Иосиф Соломонович, входите,
Вы будете у нас желанный гость.
И он вошел, поздравствовался с нами,
Сел на скрипучий стул, со мною рядом,
Усы заиндевелые пригладил
И на колени скрипку положил.

И завязалась мирная беседа,
Со вздохами и прочими вещами
О том, что петуховский парикмахер
В Житомире недавно побывал
И слышал от людей авторитетных
(А им нельзя, конечно, не поверить)
О предстоящей денежной реформе,
Которая барышников прижмет.

Моя сестра сидела и молчала,
Отец неторопливо пил цикорий,
Иосиф Соломонович курил.
И только мать стояла, как оратор,
Размахивая смуглыми руками,
И философствовала, как могла:
- Вот до войны у нас хозяйство было:
Корова, куры, огород у речки,
А в комнате - висячий телефон.
Мы свято соблюдали все законы -
Религиозные, мирские -
И слава Богу, жили - ничего.
Когда же объявился этот Гитлер
(Чтоб он в гробу сто раз перевернулся),
Все сразу полетело кувырком.
Мы быстренько собрали наши тряпки,
Сложили все, что можно, на подводу,
И с тысячами беженцев совместно
Поехали, куда глаза глядят.
И тут пошло - несчастье за несчастьем.
На следующий день, с дороги прямо,
Исака моего берут на фронт.
А я осталась с пятилетним сыном
И с дочерью несовершеннолетней
В товарняке, ползущем на Урал.
И только Богу одному известно,
Что испытала я за эти годы
И сколько слез в косынку пролила.
Но, слава Богу, замолчали пушки,
(Типун им на язык, всем этим пушкам),
И мы вернулись в нашу Петуховку
И стали все сначала начинать.

Пять лет ждала я моего Исака,
Как ожидают на вокзале поезд,
А он запаздывает, хоть умри.
Но, наконец, из самого Берлина,
В военной форме, в звании сержанта,
С буденовскими длинными усами
Вернулся долгожданный наш Исак.
Три ордена привез он, пять медалей,
Один радикулит и два раненья,
И, между прочим, больше ничего.
Отец мой встал со стула, улыбнулся,

За ухом почесал коротким пальцем
И, к матери приблизившись вплотную,
Ей на плечо ладошку опустил.
- Ну, хватит, Ида. План воспоминаний
Ты на сегодня выполнила честно.
Не злоупотребляй терпением гостя,
Позволь ему цикорий свой допить.
Вдруг наша сумасбродная Рахилия
Насторожилась, вытянула шею
И, радостная, бросилась к окну.
За нею - мать, потом отец - за ними,
И я туда же, так, для интереса
(Авось дерется кто-нибудь).
Иосиф Соломонович Шапиро
Не выдержал и тоже приподнялся,
И, удивленный всем происходящим,
В недоуменье выглянул в окно.
Сказал отец:
- Скажи по правде, Ида,
Ты что-нибудь там видишь, на дороге?
- Убей меня - не вижу ничего.
- А ты, Рахилия, ты-то что-то видишь?
- Нет, папочка, я ничего не вижу,
Я думала, что это ОН идет...
- Ты думала! Хорошенькое дело!
Со стороны бы кто-нибудь взглянул бы,
Как мы стоим, глаза на дорогу, -
Пять дураков у одного окна.
Ну, ладно, больше не дури, Рахилия,
Сдвинь поплотнее эти занавески
И сядемте на прежние места.

А на дворе темнело постепенно,
Безлюдней становилась Петуховка,
И мне казалось: никого на свете
Нет, кроме нас, сидящих за столом.

И чтоб не слушать скучных разговоров,
Я бархатный футляр, как кошку, гладил,
Потом неразговорчивого гостя
Упрашивал на скрипке поиграть.
А мать моя обрадовалась даже:
- Ну да, конечно, что-нибудь сыграйте
Для сына, для Рахили, для Исака
И для меня сыграйте что-нибудь.

Иосиф Соломонович покашлял,
Раскрыл футляр, как собственную душу,
Мизинцем наспех пробежал по струнам
И осторожно скрипку приподнял.

На пожелтевших от куренья пальцах
Заметил я обкусанные ногти,
Короткие и толстые, как панцирь

У черепах.

И как-то широко расставив ноги,
Полуприкрыв глаза по-стариковски,
Задумался о чем-то сокровенном
И помрачнел внезапно музыкант.
Прошло всего не более мгновенья
Нетерпеливого, немого ожиданья.
И вдруг смычок, похожий на рапиру,
Коснулся струн и тишину пронзил.

И разлилась по комнате вечерней
Мелодия, знакомая до боли,
И стала биться головой об стенки
Старинная еврейская печаль.
Я думал: отчего такое горе
У этих струн, у этой старой скрипки,
У этих очень пожелтевших пальцев
И, наконец, у этого смычка?
Ведь и войну уже похоронили,
Два года, как войну похоронили,
И наша Петуховка уцелела,
И мы остались живы как-никак.
А звуки, словно слезы, выливались
Из-под смычка, плывущего по струнам,
Как плавает корабль одинокий
Наперекор бушующим волнам.

И странно так: от исповеди грустной
Мне становилось почему-то легче,
Как будто бы я искупался в речке
И душу струями омыл.
Хотелось крикнуть: «Люди, птицы, звери,
Пожалуйста, оставьте побыстрее
Свои берлоги, гнезда и жилища
И слушайте, что скрипка говорит.
Пожалуйста, оставьте побыстрее
Свои кастрюли, вилки, чашки, ложки,
Свои заборы, ссоры, сплетни, войны -
И слушайте, как скрипка говорит».

А скрипка говорила, словно пела,
По-женски, мягко, бархатно и чисто.
И мать моя вздыхала то и дело
И трогала передником глаза.
И странно так: от исповеди грустной
Мне становилось почему-то легче,
Как будто бы я искупался в речке
И душу вечностью омыл.

ГЛАВА 2

- Ну вот, - сказала, сокрушаясь, мама, -
Какой ты все-таки неаккуратный, Боря,
Вторую зиму валенки таскаешь,
И посмотри же - нет на них лица.
Я посмотрел - лица не оказалось.
Носки, как говорится, есть просили,
А задники настолько прохудились,
Что требовался капремонт.
- Ах, боже мой, - вздохнула мать, кивая
Своею поседевшей головою, -
Куда ни глянь, кругом одни расходы,
Кругом одни расходы без конца.
Но что поделаешь?
Послушай, Боря,
Ты знаешь дядю Шмылыка, конечно.
Пойди к нему, сапожник он хороший,
Пускай починит валенки твои.

Недалеко от сельского совета,
По улице Островского, 17,
Жил очень тихий, очень неприметный,
Обиженный судьбою человек.
Уж потрудилась матушка-природа
Над лепкою уродливого тела,
Такого несуразного по форме,
Что было жалко на него смотреть.

Горбатый да еще хромой вдобавок,
Не знал, конечно, этот самый Шмылык
За сорок лет своей несладкой жизни
Ни женской ласки, ни любви.
Снимал он комнату размером в 10 метров,
Имел топчан, кровать, две табуретки,
Сапожный инструмент, другие вещи,
Которым грош-цена в базарный день.

И вот сижу я в комнате, пропахшей,
Пожалуй, всеми запахами кожи,
И все смотрю, как опытный сапожник
Усердно вертит валенки мои.
Он спрашивает, как учусь я в школе,
Хожу ли в лес на самодельных лыжах,
Какую книжку прочитал последней
И почему на лбу моем синяк.

Он говорит:
«Сапожное искусство,
Родившееся в древности глубокой,
Похоже чуточку на хирургию,
Да не обидятся врачи.
Мы тоже операции проводим,

И потихоньку возвращаем к жизни
Ботинки, туфли, валенки, галоши
И радуемся этому всегда.
Что важно? Это знать, на что ты годен,
Чтоб зря не рипаться в Наполеоны.
Уж если, скажем, ты родился мухой,
То не кричи, что ты индийский слон.
Пускай мне обрубают руки-ноги,
Но я скажу, а ты запомни, Боря,
Что лучше быть сапожником хорошим,
Чем никудышним королем».

Со скрипом, медленно раскрылись двери -
И в комнату ворвался свежий воздух,
Настолько свежий и такой прохладный,
Что я поежился слегка.

А между тем, в овчинном полушубке
И в валенках на войлочной подошве,
Спиною к нам в дверях застрял вошедший,
Сморкаясь громко в носовой платок.
Затем он двери за собой захлопнул,
Надвинул шапку на седой затылок,
Прикрыл ее воротником высоким
И задом наперед пошел на нас.

Я, помнится, немного струсил даже,
К лежанке отскочил непроизвольно,
Схватил подушку, так, на всякий случай,
И стал, как говорится, выжидать.
И не успел я ахнуть, как вошедший
Рванулся к Шмылыку и с табуреткой вместе
Его подбросил тут же над собою
И неожиданно захохотал.
Да, это был, конечно, дядя Мендель,
Великий и непревзойденный сводник,
Который мог свести кого угодно
За соответствующий магарыч.
А Шмылык побледнел и с перепугу
Занес мой валенок полудырявый
Над головой хохочущего гостя,
Известного в деревне шутника.

- Привет тебе, уважаемый Шмылык!
Я вижу, ты немного напугался.
А почему? Ведь я не «черный ворон»
И по ночам людей не торможу.
Я безобидный маленький стекольщик,
Которому уже седьмой десяток,
Но у которого еще хватает силы,
Чтоб с табуреткой Шмылыка поднять.

И снова перепуганный сапожник
Взлетел под потолок на табуретке,

А старый Мендель, бороду пригладив,
Сказал: «Ну ша, я больше не игрок».
Он снял свой престарелый полушубок,
Уселся тяжело на табуретку,
Сапожника похлопал по затылку:
«Что новенького, Шмылык?
Как живем?»

Очухался достопочтенный Шмылык,
Причмокнул пересохшими губами,
И валенок поправив меж коленок,
Взял деловито шило и вздохнул.
- Как я живу? Что вам сказать на это?
Вы кушали когда-нибудь горчицу?
Так это же повидло по сравненью
С тем, как живу я в этой конуре.
Так и живу, не делаю гешефты,
А зарабатываю честную копейку
Своим горбом.
- Все это так, достопочтенный Шмылык,
Как то, что мы имеем на сегодня...
Да... Что же мы имеем на сегодня?
Ах, совершенно верно - выходной.

Но мне, как видишь, не сидится дома,
Хочу помочь тебе одним советом, -
Заламывая с перестуком пальцы,
Стекольщик посмотрел по сторонам.

Полуприсев на низкий подоконник,
Я с нетерпеньем ожидал, когда же
Мои залатанные тихоходы
Вернутся на ноги ко мне.
- А-а, Боря, добрый день, как поживаешь,
Что новенького, как твои успехи,
Чем занимаются сегодня папа, мама,
Как самочувствие сестры?
Да, кстати, передай своей Рахиле,
Пусть не волнуется,
Скажи, что дело в шляпе,
И что на днях,
Во вторник или в среду,
Буквально все решится для нее.

И снова старый Мендель повернулся
К сапожнику лицом, и как-то быстро
Они забыли о моей персоне,
Толкуя про свои дела.
Стекольщик стал доказывать соседу,
Что жить холостяком большая глупость,
Что ни к лицу мужчине варка, стирка,
Что есть дела намного поважней.
Ведь показал многовековый опыт,
Что все порядочные, стоящие люди

В своем доме имеют повседневно
Одну жену.
Любовница не в счет.
- И если так заведено на свете,
То почему, уважаемый Шмылык,
Ты до сих пор еще холостякуешь?
Уважаемый Шмылык, почему?
- Ах, что вы, Мендель, - выдохнул сапожник, -
Кому я нужен со своей болячкой,
Которая торчит на ровном месте,
Как у туриста за спиной рюкзак.
Вы думаете, мне бы не хотелось
Иметь в доме прекрасное создание,
Чтоб слушать шелест ситцевого платья
И женское дыхание ощущать?
Вы думаете, мне бы не хотелось
Хоть иногда рукою прикоснуться

К припухнувшей щеке, к смолистым косам
И полукруглым женственным плечам?
Ведь как-никак я все-таки мужчина,
Горбатый ли, хромым ли - безразлично,
И женской ласки и заботы женской
Мне хочется.
Я - тоже человек.
Но что поделать, если в Петуховке
И девы старые, и вдовы пожилые
Систематически передо мною
Красавиц корчат из себя.
Поэтому вполне закономерно
В моем доме царит уединенье.
И как могу я думать о женитьбе,
Когда я думать не могу о ней?

- Все это так, уважаемый Шмылык,
Как то, что мы имеем на сегодня...
Да... Что же мы имеем на сегодня?
Ах, совершенно верно - выходной.
Но мне, как видишь, не сидится дома.
Есть у меня одна кандидатура, -
Признался наконец великий сводник
И громко высморкался в носовой платок.

Я вздрогнул
От пронзительного звука,
Напоминающего вой сирены,
А Мендель, поднимая кверху палец,
Невозмутимо продолжал:
- Кандидатура прямо-таки цимес,
Житомирская, с городской пропиской,
Расчетливая, словно инкассатор,
И вездесущая, как финотдел.
Она не первой свежести, конечно,
Но не последней молодости, кстати.

И груди у нее побольше наших,
И косы на затылке подлинней.
А зубы без щербинок, без коронок,
Белее, чем вот эти занавески.
Лишь перед сном в порядке гигиены
Она кладет их в чашечку с водой.
Зовут ее Розалия Петровна,
Розалия Петровна Одуванчик,
Такая привлекательная дама,
Как пончик или пирожок.
Я выяснил: она уже согласна
С тобою встретиться в районе загса,
И если ты артачиться не будешь,
Соединяйтесь вместе - и конец.

- Ах, что вы, Мендель, - выдохнул сапожник, -
Я столько лет уже холостякую!
И как могу я думать о женитьбе,
Когда я думать не могу о ней?
- Достопочтенный Шмылык, не артачься,
Она согласна на твою болячку,
Но при условии, что ты дашь слово
На женщин посторонних не смотреть.
Чтоб я так жил, тому назад лет сорок
Я тоже обещал своей невесте
С другими женщинами не якшаться,
А выходило все наоборот.
И ты пообещай. Ведь ты-то знаешь,
Что обещанья ничего не стоят,
Тем более, сейчас такое время -
Мы все на обещаниях живем.
Даю тебе три дня на размышленья,
Не делай опрометчивого шага,
Как тот старик, что золотую рыбку
Поймал и, не подумав, отпустил.
Ну вот и все, - сказал великий сводник
И, побряхтев, поднялся с табуретки,
И, надевая рыжий полушубок,
Меня увидел у окна.

- А-а, Боря, добрый день, как поживаешь,
Что новенького, как твои успехи,
Чем занимаются сегодня папа, мама,
Как самочувствие сестры?
Да, кстати, передай своей Рахиле,
Пусть не волнуется,
Скажи, что дело в шляпе,
И что на днях,
Во вторник или в среду,
Буквально все решится для нее.

И, не дождавшись моего ответа,
Поручкался со Шмылыком и вышел.
А через час, примерив тихоходы,

Я побежал на улицу стремглав.
Я жмурился от солнечного света,
От снега, что блестел, переливаясь,
Как елка в нашем неказистом клубе
Под Новый год.

Как хорошо зимой на Украине
В какой-нибудь глубинной Петуховке.
Когда горит невидимое солнце
И падает неторопливый снег.
Как хорошо, меж елей пробираясь,
Скользить на лыжах утренней порою,
Где нет очередей за керосином
И хлеб по карточкам не выдают.
Я заскочил домой,
Сказал Рахиле,
Пусть не волнуется,
Что дело в шляпе,
И что на днях,
Во вторник или в среду,
Буквально все решится для нее.
Она меня расцеловала крепко,
Пришила пуговицу на фуфайке,
И я помчался с лыжами под мышкой
Туда, где падает пушистый снег.

1962 г.



МАРИНА СТУЛЬ

«НА ЛЮБОВЬ МОЕ СЕРДЦЕ НАСТРОЮ»

Из воспоминаний

*...На любовь мое сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу?..*

Булат Окуджава.

Необходимое вступление

Я из того поколения, которое ухитрилось большую часть жизни прожить вне политики. Она (политика, а не жизнь) обступала меня со всех сторон - я была слепа, глуха, непробудна. Еще в 1937 году арестовали моего двоюродного брата - я была ребенком и ничего не помню, - по рассказам, талантливого юношу, который был директором строительства Сталинградского Дома пионеров. В нашей семье - это я уже помню - долго говорили, что это, конечно, ошибка, настойчиво уверяли себя, что «сын за отца (то есть брат за брата) не отвечает». Но как же его братья должны были бояться, если весь век цитировали этого душегуба Сталина... Сколько ни в чем не повинных детей, ни в чем не повинных отцов шли по этапам, стояли на коленях, гибли, гибли... Ничего не поняли в моей семье, когда вслед за Мулей арестовали его девятнадцатилетнюю жену, а новорожденного ребенка спрятали в детский дом. Зато я привыкла с восторгом относиться к маленькой седой тете Маше: она вступила в поединок с системой (!) - это я поняла значительно позже: разыскала ребенка и каким-то образом отвоевала его!

«Если отдать вам мальчика, вы воспитаете его как сына», - будто бы сказали ей где-то во влиятельных сферах. «Конечно, - гордо ответила наивная тетя Маша, - и у меня замечательные сыновья: все честные и порядочные люди!»

И - представьте! - подействовало! Ей отдали мальчишку, и она воспитала его с помощью других своих сыновей.

Почему не вырезали всю семью - осталось загадкой, которую пытались решать, когда уже все открылось. Юра и Витя Зайцевы, братья погибшего Мули, не только уцелели, но даже сделали карьеру: Юра был процветающий провинциальный юрист, Витя защитил диссертацию и долго шел от директора школы до декана какого-то факультета в Луганске. В войну оба преданно защищали страну непонятного отечественного фашизма от немецкого фашизма: Виктор ушел в партизанские леса. Он вернулся только после освобождения Крыма. Юра был прокурором какого-то южного фронта.

Политика отступала, политика наступала. В 1948-м арестовали моего отца и присудили к пятнадцати годам лишения свободы. Никто не понял, за что он получил такой чудовищный срок. Обвиняли его в превышении власти в занимаемой должности.

Дело было странное: после войны многие бедствовали, и Кинофикация, где он работал, создала директорский фонд помощи своим сотрудникам. За копейки продавали либретто фильмов, деньги распределялись месткомом. Сотни непроданных программ использовались как оберточная бумага, учета никто не вел. На скамье подсудимых был заместитель начальника Крымской Кинофикации, который писал либретто, начальник Кинофикации, который, конечно же, знал об этом, главный бухгалтер... но осудили только моего отца - директора кинотеатра.

Когда к нам пришли описывать имущество, удивленный следователь все повторял: «Я думал, вы живете в роскоши».

Мы жили более чем скромно, у нас просто нечего было описывать. Шла кампания борьбы с космополитами, Сталин готовил грандиозный поход на евреев - мы узнали об этом тоже много лет спустя.

Очень странная история произошла со мной на последнем курсе института, шел уже 50-й... Подруга прислала мне в письме переписанный от руки отрывок поэмы М.Алигер «Зоя», обратила внимание на строчки:

*«Разве ты забыла - мы евреи!
Как ты смела это позабыть!»*

Поэма была опубликована, никакой тайны не содержала. Письмо я неосторожно положила в книгу, книгу дала кому-то почитать, тот - кому-то еще...

Гэбист пришел к нам в институт, меня вызвали объясняться. Наш комсомольский секретарь пошел за мной и по пути сказал: «Ты молчи, говорить буду я».

На вопрос об отце я все-таки сказала... что я сказала? Арестован? В заключении?

У «товарища» глаза загорелись:

- Политический?

- Нет, уголовный, - твердо сказал Юра.

И меня не выгнали из института.

Много лет спустя мне сказала любимая преподавательница: «Знаете, Мусенька, вопрос о вашем исключении стоял очень конкретно. Вас спас Петр Иванович, он за вас поручился и просил нас всех ничего не говорить вам, чтобы не напугать».

П.И.Васильев был аспирант и руководитель нашей школьной практики. В это время он замещал секретаря парткома. Ему нравились мои уроки. Помню, сказал однажды:

- Как я прежде не замечал, какие интересные девушки выросли у нас на филфаке!

И вот он взял на себя ответственность, а времена - он не мог не знать - были грозные. И какая деликатность! - совершил благородный поступок и старался, чтобы я не узнала об этом!

А я все еще ничего не понимала о стране, в которой живу, о строе, о политике...

Хрущевская полуправда была потрясением. Долго не могла прийти в себя. Но привычка жить не задумываясь осталась.

Чем я была занята в те самые годы? Своими семейными отношениями? Маленьким сыном? Новыми занятиями (только что стала заниматься журналистикой, писать о театре, первые мои материалы публиковали газеты и даже журнал «Театральная жизнь»)? А мир, большой мир содрогался в конвульсиях - не для меня... Кто же я была? Урод? Недоумок? Но все, кто меня окружал, жили как я. Учителя, возможно смотрели глубже... Вот Петр Иванович защитил меня сознательно... А нужна была смелость. Вины моей не было никакой, но ведь обвиняли меня не больше не меньше как в антисоветской агитации!

Совсем недавно попал мне на глаза страстный диалог Анны Ахматовой и Лидии Чуковской.

«Не верю я, чтобы кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше», - горячилась Ахматова.

«На своем пути мне довелось встречать людей чистых, искренних, бескорыстных, которые и мысли не допускали, что их обманывают. Это были слепые верующие», - возразила Лидия Корнеевна.

«Неправда! - закричала Ахматова с такой энергией, что Лидия Корнеевна испугалась за ее сердце. - Камни вопиют, а человек, по-вашему, не видит, не слышит? Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими, перед собой...»

Она ошибалась, Ахматова. Она видела события слишком близко, а ее ум был приучен к анализу. И еще: она жила «до». Она знала Россию и Европу до трагедии переворота. Поколения, рожденные после 20-х годов, были другие. У нас от рождения было ампутировано умение понимать. Так и жили, не приходя в сознание. Видели, но не в силах были осмыслить. А люди были замечательные, как заметила Лидия Корнеевна, чистые, искренние, бескорыстные - о них нельзя забыть. Я не смею забыть.

Хотя... людей формирует эпоха. Формирует ли?

* * *

Судьба меня берегла? Предопределение какое-то было? Человек вообще может погибнуть от любой случайности, молодой человек в особенности. Я подвергалась опасности не раз, и всякий раз находился кто-то, готовый ринуться спасать - незнакомую.

* * *

В первый раз это был врач, мне было восемь лет, и я заболела уреимией. После врачи не верили: при этой болезни не выживают. Меня увезли тогда не в детскую, а в больницу для взрослых. В это время там лежал с какой-то хворью мой отец. Его в городе знали. Он был директор кинотеатра, но славился тем, что помогал людям, не дожидаясь просьбы. Поэтому ко мне было особое отношение. Но - такой диагноз! Доктор Сунстрем плохо говорил по-русски, он был из Прибалтики, а за мою жизнь боролся, словно я была его ребенком. Не уходил ночами. Я долго была без сознания. Маме разрешили не уходить от моей постели. Они вдвоем меня и вытащили с того света.

* * *

Мы эвакуировались из Симферополя в 1941-м, без папы, в дачном вагоне с окнами, забитыми фанерой. Нас посадили к каким-то студентам, я не запомнила, из какого вуза. Поезд долго стоял на запасном пути. Мама пошла искать какую-нибудь еду, а поезд вдруг пошел, сначала медленно, потом быстрее, быстрее. Его просто перегоняли на другой путь, но моя маленькая мама... Как она узнает, где стоит наш эшелон в неразберихе и панике эвакуации?..

Я так кричала и рыдала, я так напугалась! Удивительно! Помню отчетливо свой страх: не подумала, что я потеряюсь, я пришла в ужас от мысли, что мама потеряется! Меня не утешали, не такое время было.

Когда подошел ко мне какой-то паренек, я и не разглядела его сквозь слезы. «Не плачь, малыш, я найду твою маму», - и спрыгнул на пути. Не помню, что я делала и чувствовала, пока его не было, и сколько прошло времени. Прошло, должно быть часа два или больше. Он появился и привел мою насмерть перепуганную и зареванную не меньше меня маму.

Где отыскивал он ее в черноте и давке военного вокзала? Страшно подумать, что было бы, если бы он ее тогда не нашел... А я даже имени его не знаю... Никогда о нем не забывала, а имени так и не знаю.

* * *

В третий раз нам с мамой спас жизнь какой-то железнодорожник. Сидели сутки на какой-то станции, скорее всего, было это Синельниково. Прямо под открытым небом на узлах лежали и сидели дети, какие-то старухи. Почему человек в форме подошел именно ко нам?

- Я не знаю, будут ли пассажирские поезда, но оставаться здесь опасно. Сейчас пройдет товарный состав, давайте я вашу семью подсажу...

Нас забросили на черную от угля платформу. Товарняк плелся медленно. Часа через полтора страшные столбы пламени встали в той стороне, где была станция. Когда мы ехали из эвакуации через три года, станция лежала в руинах.

Почему этот человек подошел именно к нам? Там черно было от таких, как мы, бедолаг.

Остался ли он жив? Имени его, конечно, не спросили.

* * *

«Чуден Днепр при тихой погоде...»

Погода была и в самом деле тихая, а Днепр (!) так красив и спокоен...

Моя подруга не умела плавать, а я, мне казалось, легко поплаваю недалеко от берега. Как я оказалась на середине Днепра, Бог весть, там были такие стремительные

течения, я о них, конечно, не знала. Меня понесло, я не могла вырваться и была уже далеко от берега, а навстречу мне плыл катер или небольшой теплоход.

На берегу билась в истерике моя приятельница. Она что-то кричала мне, но до меня не долетали слова. Я устала сражаться с течением, почти не шевелилась в воде и в какое-то мгновение поняла неотвратимость того, что должно произойти. И три каких-то мужика ринулись в воду и втроем - втроем! - вытащили меня прямо из-под носа железного чудовища. Говорят, на мне лица не было, а они тащили меня к берегу и ругались самым страшным матом - от одного этого следовало бы утонуть! На берегу выяснилось, что все трое крепко под мухой... Боюсь, что трезвыми они выручать меня не полезли бы.

- Не реви, - сказал один из них моей приятельнице, - жива твоя малохольная. - И обратился к толпе, которая уже собралась на берегу: - Не выношу, когда бабы слезья ревут.

Больше я этих людей не видела. Бог спас?

ТРИ СЕСТРЫ И ДРУГИЕ

ЛЕЕЧКА

Шел 1918 или 1919 год. Его звали Марк Борисович, он был актером.

Леечка была очень хороша собой и вообще была прелесть: добрая, веселая, нежная. Он просил ее руки у бабушки, но после смерти мужа та в своем доме была уже не хозяйка и собрала семейный совет.

Братья отказали ему: он был разведенный и он был артист - это, с их точки зрения, носило характер криминала.

Леечка плакала, но не посмела противиться, не так была воспитана. У старшей сестры родилась дочка, Леечку приставили ее нянчить. Дора была занята детьми, мужем, работой. О судьбе младшей сестры своего мнения она тоже не имела.

Марк Борисович появился еще раз года через два. Леечке было двадцать лет и, несмотря на все невзгоды, она еще похорошела. На этот раз он не стал обращаться к родственникам. Он показал ей два билета в Америку и предложил немедленно уехать с ним. Там они обвенчаются и начнут новую жизнь. Должно быть, это была любовь, если он не забыл ее через два года. Она... не решилась. Она любила его, все это время думала о нем, но не решилась. Он уехал.

Жизнь жестоко отомстила ей за неумение распорядиться своей судьбой. Брак был неудачный. Она так и не полюбила своего мужа, пережила с ним много горя. Правда, стала отчасти самостоятельной, но не настолько, чтобы оставить нелюбимого мужа.

Судьба, эта шутница-судьба, дала ей возможность еще раз встретить человека, которого любила в юности.

Мы с мамой любили приезжать в Севастополь, на ее родину. На этот раз с нами был маленький Алька, лет трех, должно быть. Обедали в ресторане «Интурист». Ребенку надоело сидеть за столом, и он убежал в вестибюль, я - за ним. Потом к нам вышла очень взволнованная мама и познакомила с невысоким пожилым господином.

- У вас красивая дочка, - сказал он ей, - но вы были лучше.

Это был он, Марк Борисович.

Умер Сталин, чуть-чуть приподнялся уголок железного занавеса, и он смог приехать в Севастополь после тридцатилетней разлуки.

Нас скоро позвали к столу, а он ушел из ресторана.

Потом я спросила маму, что же она не поговорила с ним, не расспросила.

- Знаешь, - сказала она, - я испугалась. У тебя или у Яши (моего мужа зовут Яша) могли быть неприятности. Могли обвинить в связях с иностранцами.

Она была права, времена еще были грозными, а мой отец, осужденный в 1948 году, все еще не был реабилитирован.

Этот поступок очень похож на маму: она была «в своем репертуаре» - подумала не о себе, а обо мне и моем муже.

Марка Борисовича мы больше не видели. А в Америку, в которую не решилась с ним уехать она, судьба привела меня!

Удивительно, не сохранилось ни одной маминой фотографии в юности. Самая ранняя: мама сидит и улыбается толстенькому младенцу, которого держит на коленях. Младенец - это я. Стало быть, это 1929 год, маме - двадцать девять лет. Очень хороша, но это красота зрелости.

Какой она была девочкой? Подростком? Какой была, когда в нее влюбился этот М.Б.? «У вас красивая дочка, но вы были лучше».

С моим отцом отношения у нее не сложились. Она не любила его, болезненно переживала его похождения, мучительно стеснялась молвы. Он был бабник и очень гордился своими успехами у женщин. Совсем старый, далеко за семьдесят, в больницах упоенно рассказывал о своих победах у женщин, его врач жаловалась мне: «Объясните ему, что об этом не следует всем рассказывать».

Впрочем, он гордился маминой красотой и - вот парадокс - ему очень нравилось, если на нее заглядывались другие мужчины.

Как обидно, я не выяснила в свое время о ее юных привязанностях, о зрелых увлечениях. Ведь их не могло не быть! Жизнь рано состарила ее, но не душу же!

Помню, мы ехали в поезде с маленьким Алькой, стало быть, это могло происходить году в 54 - 55-м, ей было лет пятьдесят пять. Четвертым в купе вошел средних лет импозантный мужчина, и не я, а она стала с ним кокетничать. Засветилась вся, глаза заблестели, и в голосе появилось что-то новое, серебристо-музыкальное. Едва ли она тогда все это осознавала, просто неожиданно почувствовала себя снова женщиной. Я тогда про себя улыбнулась, а оценила - гораздо позже, когда сама была в таком возрасте.

Ах, прозвала я свою мамочку, хотя была очень к ней привязана. А она еще говорила: «У меня хорошая дочка».

Д О Р А

Мама была девятым ребенком в семье и родилась через несколько месяцев после смерти своего отца. Старшие дети были взрослыми, бабушка осталась с двумя младшими: новорожденной Леечкой и трехлетней Ривочкой. Средств к жизни не было никаких. И тогда ее взял в свой дом зять, муж старшей дочери. Как бабушка жила в доме дочери, не знаю, помню, мама говорила, что она продавала семечки на улице.

Зятя этого, дядю Есю, я хорошо помню уже старым человеком. Это был умный и очень добрый старик. В молодости он был ослепительно красив и женился по любви на очаровательной субретке из еврейского театра. Но, когда вернулся с «действительной» службы, заподозрил (или кто-то «настучал»?), будто жена в его отсутствие «гуляла». Он развелся с ней и вскоре женился на моей тетке Доре, некрасивой, но трудолюбивой и хозяйственной женщине.

Удивительно, но это был счастливый брак. В этом доме никогда не повышали голоса, и гостеприимство было главной чертой и того, и другого. Сколько лет подряд приезжала сюда отогреться из своего холодного дома моя мама! А когда я стала студенткой, Скурины не отпустили меня в общежитие.

Все трудности тетя Дора брала на себя: вела дом, растила детей, потом внуков и - шила. Она была замечательная портниха, у нее одевался весь «бомонд», и попасть к ней считалось большой удачей.

Я знала ее с детства, и теперь понимаю, как мудро, спокойно и деликатно вела эта необразованная женщина свою большую сложную семью.

Старшая дочь вышла замуж за русского - его приняли, как родного, и любо было глядеть, с какой нежностью все в семье обращались с ним и как Дора деликатно брала его под защиту, когда его жена «капризничала».

Единственный сын их погиб на фронте (ушел добровольцем защищать Ленинград), и они забрали к себе его молоденькую вдову (она была украинка, звалась Шурочкой, а дядя Еся звал ее «дочка»). Она жила у них до тех пор, пока вновь не вышла замуж.

Младшая дочь - красавица, похожая на отца (все остальные были некрасивы, как мать), трудно жила с мужем, в которого была всю жизнь мучительно влюблена.

И все это в одной двухкомнатной квартире!

Дора кормила, утешала, мирила и во все времена шила.

Я ложилась спать поздно - засиживалась за учебниками, а Дора все еще продолжала стоять над раскрытым перед столом. Просыпалась я рано - она уже стояла на своем «рабочем месте», а завтрак уже был готов для всех, кто уходил на службу.

Дом звенел юными голосами, был полон гостями: приходили «соседи сверху» и «соседи снизу», подруги дочек, кавалеры, дамы-заказчицы.

Когда я была маленькая, до войны, заводили патефон, и одна из дочек лихо танцевала фокстрот с кем-нибудь из бесчисленных поклонников или пела. У нее был отличный голос, и речь шла о консерватории.

Дора всех угощала, дамам писала рецепты фирменных пирогов.

Дочки ее были одеты по последней моде, ее я помню в неизменном темном платье с белым воротничком, с гладко зачесанной головой - почему-то запомнилась именно седая голова.

Когда я стала взрослой, две вещи меня поразили.

Когда Еся заболел и не смог работать, тетка взяла обязанности кормильца семьи на себя. Я и тогда подозревала, что она всегда несла львиную долю бюджета на своих плечах, то и дело выручала молодежь. А с его болезнью обнаружилось, что «просто надо больше работать». Но все заработанные деньги она отдавала ему и каждый раз просила у него то «на базар», то «надо Юличке (внучке) туфельки купить», то пора за квартиру платить. Он давно не зарабатывал, но она хотела, чтобы у него не было комплекса зависимости, он же привык себя чувствовать хозяином, и она поддерживала в нем уверенность в том, что он - глава семьи, столп!

Еще поразила меня ее дружба с первой женой Еси, Броней. Сына этой Брони она всю его молодость поддерживала деньгами. Он стал хорошим музыкантом и жил в Москве, а Броня почему-то жила в Баку - одиноко и очень скромно. Броня появлялась в их доме по воскресеньям, вслух читала письма сына, показывала фотографии внуков, ужинала и уезжала до следующего воскресенья. Дора принимала ее как подружку. Еся шутил над ней - она не обижалась, отвечала шутками. У них обоих было чуть грубоватое, но беззлобное чувство юмора.

Я долго не знала, что Броня - первая жена Еси, до того она была свой человек в их доме.

Конечно, все это шло от Доры, от ее доброжелательности, незаемной, не книжной интеллигентности.

Надо сказать, дети, зятя и внуки глубоко ее почитали - редко жизнь кому-нибудь так щедро платила за доброту.

В глубокой старости была она все еще деятельна, ясна разумом и очень дружна с русским зятем, у которого жила. Умерла она от халатности медсестры, которая нечаянно ввела ей в вену «не то» лекарство. Все ее семейство было глубоко возмущено, а я тогда подумала, что это Господь подарил ей легкую смерть за все ее труды и заботы. Было ей за восемьдесят, и кто знает, как трудно было бы ей умирать от лихих болезней, не случись этой легкой смерти.

РИВОЧКА

Среднюю мамину сестру звали Ривочка, и она не была похожа ни на кого из родни. Хрупкая, голубоглазая, светловолосая... Еврейские девушки совсем не такие.

Мама, смеясь, вспоминала, что в их родном Севастополе пожилой еврей сказал, глядя вслед девочкам: «Мадам Зайцева согрешила: эта темненькая - от мужа, а та, светленькая, - от матроса».

Тетя Рива была в молодости очаровательна. Фотографии сохранили ее нежную женственность и застенчивый взгляд огромных голубых глаз.

Понятия не имею, почему она так поздно вышла замуж, в том возрасте, когда женщина уже теряет надежду на замужество. Ее муж, Лева Хомутов, был фотограф, такой скромный паренек. И, видимо, не очень преуспевал, потому что у них не было своего дома, жили они в семье старшего брата тети Ривы.

Поздние роды пугали Риву и Леву, «на выручку» приехала тетя Дора, у которой был большой опыт. Тревога была напрасной - родилась девочка, которую, как и меня, называли по бабушке Мусенькой. Это было совершенно сказочное существо: глаза - огромные, синие, головка усыпана золотыми колечками, смех, как серебряный колокольчик.

Лева был арестован году в тридцать восьмом или в тридцать девятом. Родные пытались что-то узнать о его судьбе, но безуспешно.

В сорок первом началась война, и мой отец и старший брат мамы Илья отважились увезти семью из опасного Крыма. Ехали через Керчь - тетя Рива с девочкой жили в Керчи. Мама и дядя Илья долго уговаривали Риву ехать с ними. Помню: дядя кричал, женщины плакали. Рива была непреклонна: вдруг Леву освободят - его обязательно выпустят, он же ни в чем не виноват! - а мы неизвестно где! Он нас потеряет!

Нас грузили на баржи, а тетя Рива стояла на берегу, держала за руку Мусеньку. Ветер трепал золотые кудряшки, голубой бант качался над синими глазами, девочка теребила передничек с огромным вышитым петухом...

Дядя Илья поцеловал ребенка в лобик и положил в карман ее передничка какую-то денежную купюру. Никто не плакал.

Немцы брали Керчь дважды. Сначала высадили десант, потом их выбили, но они вернулись. Бои были кровавые. Когда наши окончательно отвоевали город, Юра Зайцев, тот самый, что был прокурором южного фронта, принялся разыскивать тетку. Соседи ему рассказали...

Фашисты отобрали у всех еврейских женщин детишек. Их не расстреливали, просто мазали губы каким-то сладким ядом, дети погибали мгновенно. Женщины видели: когда у Ривы стали отбирать Мусеньку, она вцепилась в ребенка, так кричала и дралась, что ее стукнули по голове прикладом. Соседи подобрали ее полумертвую. Но в сознание она не пришла. Через несколько дней в колонне евреев она шла спокойная, на обращенные к ней слова не отвечала, ничего не понимала. Она сошла с ума.

Самое безумное во всей этой истории было впереди. Отступая во второй раз, наши действительно открыли тюрьмы и выпустили заключенных. Лева искал жену и ребенка на их старой квартире. Соседи все рассказали ему.

Лева ушел на фронт. А как же? Разве он мог не сражаться за родину?

Юра Зайцев после узнал - Лев Хомутов погиб в одном из первых боев на Крымском перешейке. Он был штатский человек, этот тихий фотограф. А скорее всего, он просто искал смерти.

«ВОЕНРУЧКА»

Мы называли ее «военручка», и в этом непочтительном прозвище звучало презрение, слышалось даже что-то вроде «сучка»...

В самом деле, более нелепой фигуры представить себе невозможно: серая форменная шинель с трудом обтягивала громадный беременный живот. Беременный

военрук - какая дикость! Лицо - бледное, одутловатое, редкие волосы стянуты на затылке, глаза на лице не заметны - и военные команды: «РАВНЯЙСЬ! ПАДТЯНИСЬ!» Мы в свои шестнадцать лет были - как ни странно для военного поколения! - идеалистками, мечтали о возвышенной любви, нам в голову не приходило, что это вот серое существо могло там, на фронте, встретить настоящую любовь... Где там! Пели про нее грубые оскорбительные частушки:

Нам не страшен серый волк,
Ведь нас сделал целый полк!

А она влюбилась в нас сразу, во всех вместе и в каждую в отдельности. Случалось, спрашивала во время переключки:

- Девочки, никто не знает, почему нет Риты? Без Риты даже скучно.

Рита была ядовитая штучка и постоянно донимала ее каверзными вопросами:

- Валентина Ивановна, как вы думаете, кто из нас ближе к типу тургеневской девушки?

Удивительно, она отвечала честно:

- Я пока про тургеневских девушек не читала. Вот освобожусь немного - прочту.

В другой раз неугомонная Рита спрашивала:

- Валентина Ивановна, напомните мне, чему равен квадрат гипотенузы?

- Девочки, помогите Рите, у вас же среднее образование!

Но вот Рита отсутствует, а военручка сообщает доверительно:

- Девочки, вы заметили, какая Рита умница? В учительской говорят, ее работы самые лучшие по математике. - И без перехода: - А еще говорят, что Мусино сочинение пойдет на конкурс. Мусенька, я за тебя так рада!

Муся в строю не знает, как вести себя.

- Да ты не красней, это же замечательно, когда девочки талантливые!

В другой раз, тоже перед строем:

- Девочки, поглядите, какие у Нади веселые глаза, ну просто искорки в них летают!

Или: Галя, что-то ты сегодня задумчивая? Улыбнись, у тебя такая красивая улыбка! Правду говорят, что улыбка - зеркало души.

- Это глаза - зеркало души, - бросает кто-то из строя.

- Да, конечно. И глаза - тоже. Только улыбка - как подарок. Бывает красивое лицо, а улыбка его не красит. А в другой раз смотришь, лицо вроде обыкновенное, а улыбнется - как цветок расцветет.

Наивные такие сравнения, простенькие незамысловатые слова, но она умела заставить нас вглядываться друг в друга без ревности. Стоило кому-то заболеть (а болели мы часто: недоедание, эвакуация, полуголодное отрочество), она являлась к нам домой и приносила то яблоко, то веточку винограда - это из нищенской своей зарплаты!

- Да ешьте вы сами! - говорили мы смущенно. - В вашем положении нужны витамины.

- Верно, - отвечала она, - ну отрежь мне скибочку. Но я же здоровая, я же очень здоровая, я - деревенская, а ты вот заболела.

Брала в руки наши книги, вздыхала:

- Интересные какие... - трогала пальцами клавиши пианино: - Счастливые вы...

Пианино было редкостью и гордостью тех, кому удалось вернуться в неразрушенный дом: часто соседи забирали себе вещи из тех, что получше (из квартир семей, уехавших в эвакуацию. Не исключено, что надеялись: эти не вернуться...) А «военручка» радовалась:

- Хорошо, что сохранилось оно. Поиграй мне, а? Ничего, что надо с постели встать? Ты ведь не очень серьезно больна?

И мы - неожиданно - привязались к ней! Перед рождением ребенка придумывали имя и даже писали стихи.

- Сашенька - хорошее имя... А я хотела Ванечка... Но, если вы решили, пусть будет Сашенька. И девочку можно Сашенька, правда?

Роды были тяжелые, ребенок умер, прожив два дня, мы все по-настоящему огорчились.

В школу она не вернулась. А мы ее не забывали, забегали к ней, благо, жила она недалеко от школы. И, кажется, дела ее пошли на лад: замуж вышла, стала работать в Доме пионеров и даже сделала карьеру: года через два стала директором этого Дома. Случалось, прибегала к тем из нас, кто учился в педагогическом.

- Ты помоги мне, посоветуй. Я вот тут надумала, а образования-то не хватает. - И следом: - Ты наших давно видела? Нора-то как похорошела! А Света - ты заметила? - стала модно одеваться. Влюбилась, наверное. Счастливые вы...

Пожар в Доме пионеров начался ночью, и пожарные приехали не сразу. Кто-то сбегал к ней домой - директор же! Говорили, что она сражалась с огнем, как мужчина.

Мы ее не сразу разыскали в госпитале, она была вся забинтована и говорила невнятно.

- А все-таки мы его потушили, да? Дворец ведь не очень пострадал? Отстроим еще красивше, ой, еще лучше будет, да?

Она умерла в конце недели. Никого из нас с ней не было.

Сиделка потом рассказывала:

- Она бредила, называла какие-то имена, все повторяла: «Красивые, верно? Самые красивые из нашей школы...»

ФАИНА

Когда мы вернулись из эвакуации в Крым, нам было пятнадцать лет, и нас ждал восьмой класс. А я ждала его, потому что начиналась литература - такой предмет удивительный, знакомство с лучшими из написанных в мире книг.

Но нам не повезло: литературу вела Устинья Григорьевна, которую мы сразу невзлюбили.

Видит Бог, не помню ни одного ее урока, зато помню, что звали ее «шпионка»: она подглядывала за каждой из нас и аккуратно доносила начальству о наших «грехах». Год пропал. Но в девятом на нас снизошла благодать: наш класс взяла Фаина. Вообще-то в школе были и другие неплохие литераторы, но - Фаина!

Она была школьная звезда, и мы поняли это с первого урока. Она не просто знала русскую литературу, она любила! Это была не только любовь к Пушкину или, скажем, к Тургеневу, она способна была увлекаться ими каждый раз заново, как впервые. Когда она читала нам стихи - всегда наизусть, без шпаргалки, или сцены из пьес Островского (раздавала нам роли и непременно брала роль себе), казалось, что она читает текст впервые, так глубоко было ее волнение.

Она не ссылаясь на критиков, не помню, чтобы опиралась на официальные мнения, она говорила: «Мне нравится». Или: «Я это не очень люблю, но послушайте, может быть, вам понравится».

Она не на работу ходила, ей доставляли радость встречи с нами. Отсюда - литературные кружки, клубы любителей, театральные вечера и просто «вечера искренности», во время которых мы набирались знаний и учились, сами того не понимая, человечности.

Должно быть, ее талант был в умении видеть в каждой из нас что-то особенное, неповторимое. Не могу вспомнить ни одного ее «замечания», на которые так щедро была Устинья Григорьевна. Фаина любила хвалить, радовалась нашим удачам и никогда никого не обидела ни словом, ни поступком.

И она называла нас на вы - нас, девчонок, недоростков!

Как мы ее слушали! Как старались готовить каждый ответ! Не чтобы блеснуть - чтобы ей понравиться!

Как умела она слушать!

По-моему, именно тогда я стала понимать вкус РАБОТЫ. Готовилась к каждому уроку - искала новые книги, читала серьезные статьи и всегда старалась составить о вопросе собственное мнение. Сидела в библиотеках, листала книжки, и - щеки горели, сердце стучало быстрее. Это и было счастье!

Она любовалась нами. Мы научились любоваться ею. Она и вправду была красавица. Глаза ее еврейские были, казалось, наполнены непролитой влагой. Нет, это не было характерное еврейское лицо. Это было лицо интеллигентной женщины XIX века. Такие лица любили писать русские художники-передвижники. Она носила локоны, они спускались на уши, ласкали щеки - никто из тогдашних учителей не решился бы так выглядеть. Она казалась аристократкой, она и была аристократкой по своему душевному складу. Должно быть, мы ее идеализировали, и слава Богу любимых и надо идеализировать.

А вообще-то она была калекой, наша Фаина, Фаина Владимировна Марголина: одна нога у нее была короче другой от рождения. Много лет спустя я узнала про опыты доктора Елизарова, который в своей больнице вытягивал конечности. Мучительно было думать, что в другие времена ее могли бы вылечить. У нее никогда не было своей семьи, она жила в семье некрасивой сестры, воспитывала ее детей, растила ее внуков - вот уж не судьба так не судьба!

Мы, девчонки, откуда-то прознали, что у Фаины был роман с очень интересным человеком: он преподавал в институте, о нем восторженно говорили его студенты. Какая бы это была пара! Но он был женат. Конечно, никто не знал, правда или выдумка про его роман с Фаиной. Нам очень хотелось, чтобы это было правдой...

В последний раз я видела ее в больнице... Она лежала в онкологии и жаловалась, что давно не приходит Аэлита, одна из ее любимых, врач этой больницы.

Я потом говорила с Аэлитой, она не могла, не могла навещать ее, просто боялась, что разревется у нее на глазах... Фаина не понимала, что умирает, - роковой диагноз тогда от больных скрывали. Знаменитые локоны поседели, но по-прежнему закручивались по утрам, и, блестя глазами, она говорила о новой книге уж не помню какого знаменитого писателя. Я все время давилась слезами и убегала якобы сменить воду в вазе с цветами или по телефону поговорить... Мне хотелось время остановить. Я не хотела видеть больничного халата - и видела его. Глаза не хотели замечать ужасную палату - вспоминался светлый класс, и она у стола читает наизусть что-то из Тургенева...

В памяти моей осталась восторженная, увлеченная женщина, похожая на портреты XIX века. И - любимый ею Пушкин о своем учителе:

*«Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Заложен им краеугольный камень,
Им светлая лампада зажжена».*

СТРОГАЯ КРАСАВИЦА

Белла Борисовна Трахтенберг была человеком совсем другого типа. Строга была во всем: в одежде, в словах, в отношениях с людьми. Этаким тип женщины тридцатых годов: короткая стрижка, волосы выложены узором на лбу, никогда не видела их в беспорядке. Строгий костюм, неизменная белая блузка... Никаких эмоций на лекциях не допускалось - только факты, только суть. Она читала у нас литературу XVIII века, и... нам казались скучными ее уроки. Еще она вела немецкий - тоже были уроки строгие. Очень профессионально, но не увлекало.

Потом она ушла с нами в школу на практику - и вот тут оказалось, что она умеет и любит шутить, знает бездну стихов и никогда не утомляется. Она помогала нам писать планы уроков и требовала совершенства. И - удивительно - уроки наши и впрямь блистали неординарностью, школьные учителя сбегались слушать нас и потом говорили, что многому у нас научились... Не мы у них - они у нас, робких новичков! Это была, конечно,

ее заслуга. Она не выносила серости, но не терпела и показного блеска и умела раскрыть индивидуальность каждой из нас.

Я заметила, это была общая черта учителей того времени (я говорю о лучших, подлинно интеллигентных учителях): они хотели и умели воспитать личность и радовались, когда находили в скромной школьнице талант, и все делали, чтобы его развить.

Казалось бы, что тут удивительного? Это и есть смысл учительского призвания! Это аксиома для любого времени, только не для того, о котором идет речь. Только что окончилась война, которую называли Великой и Отечественной, в каждой семье оплакивали потери, и нас приучали думать, что страна победила фашизм.

Мы не понимали главного: наш отечественный фашизм крепко держит нас за железной стеной, в безвыходном застенке. Только много лет спустя узнали мы, какой ценой страна остановила немцев. И задачей родного фашизма было воспитать поколение покорных, послушных, не способных думать, скорее всего - неличностей. Самобытность, индивидуальность была опасна режиму, ее старались унижить, лучше всего - уничтожить.

И вот в такое время наши учителя лепили из каждой Неповторимость! Мы никогда не говорили о политике, понятия не имею, что именно они тогда *знали*. В каких отношениях с режимом они находились - сейчас не выяснить. Огромная дистанция - казалось нам - нас разделяла: мы только начинали наш путь, они прошли его до половины. Но теперь мне кажется, они растили в нас Личность сознательно: это был их протест против Режима. Взял же меня на поруки Петр Иванович Васильев, когда мною заинтересовался «товарищ» из органов! Петр Иванович был парторг, и помогал ему комсомольский секретарь - Юра Прудкин, и именно Белла Борисовна сказала мне об этом много лет спустя, она была с ними «в заговоре»! Мы не понимали тогда, а теперь мне кажется, что это был заговор Интеллигентности против власть держащих Палачей. Как иначе могли они противостоять родному советскому Режиму?!

Белла Борисовна сидела вечерами после лекций над нашими проектами.

- Устали? - спрашивала она. - Давайте стихи читать!

Читала она прекрасно, точно схватывала характер поэта, мелодику его стиха. Любила Маяковского. Я не умела его любить, я признавала его гениальность умозрительно, а душу он мне согреть не мог. А она любила - человек своего века, - не чувствовала его противоречий, они с Маяковским были одно поколение.

Жила она с больной мамой тогда в общежитии, в отсеке, где полагалось быть ванной и уборной. Только кровать и стул там помещались, у дверей на тумбочке керогаз - был тогда такой агрегат, на нем готовили немудреную еду. Они с мамой спали на одной кровати, ее костюм висел на спинке этой железной кровати, а книги - любимые и необходимые - в чемодане под этой кроватью. Позже она жила уже в однокомнатной квартире, напоминающей операционную. Ничего лишнего - как всегда. Стол накрыт, мне казалось, не скатертью, а простыней. Белоснежная железная кровать (та самая?) и какое-то подобие диванчика, тоже накрыто белым. И книги. На стульях, на подоконнике, на каком-то ящичке в углу.

Что мы знали о ее жизни?

Говорили, она ушла в партизаны сразу, когда наша армия оставила Крым. В том отряде был мой двоюродный брат Виктор Зайцев и отец моей подруги - Юзеф Казакевич. От них я и услышала ее историю. Ей было восемнадцать, она знала немецкий и вела все штабные документы. Обязанности медсестры тоже лежали на ней. Однажды она выходила какого-то раненого командира из другого отряда, и тут ее настигла любовь. Фронтная жена... Господи, сколько об этом было тогда написано! Да так зло, недобрительно. Кажется, только Симонов написал: «Поцелуй, как встретишь, ей руку...»

В общем, это была обычная история. После войны он вернулся к своей семье. Она осталась одинока навсегда. Поцелуй, как встретишь, ей руку...

ДЕТИ КУЛИЧЕНКИ

Куличенки жили напротив нас в доме, который казался мне огромным. Он стоял в окружении ветхих строений и тоже был старый, но дом в три этажа! И комнаты были просторные, и балкон - фантастика! И у Куличенков была няня. Это значило, что они весьма высокопоставленные и обеспеченные люди. Папа Куличенко и впрямь был начальником: директор обувной фабрики - фигура! Дородный, розоволицый, громкоголосый, он обожал свое семейство. Помню, хватал мальчика и, громко смеясь, подбрасывал его к потолку. Малыш визжал, дрыгал ножками, и все очень веселились. Их мама казалась мне девочкой - юная, смуглая, черноглазая, веселая, она была по плечо мужу, и он брал ее на руки, как дочку. У нас никогда так не шутили. Мой папа тоже был «начальник», директор кинотеатра, но жили мы очень скромно, скорее, просто бедно. А у них были ковры и кресла, дорогие детские игрушки. Например, педальная детская машина - это перед войной была новинка и, должно быть, стоила целое состояние! Мальчуган разъезжал на ней по квартире и громко гудел в гудок... Девочка затыкала уши, но не сердилась: обожала братика. Детей звали модными тогда именами Искра и Роальд, по-домашнему, Ролик. Искра была моя ровесница, Ролику перед войной было три года. Его-то и пасла старая нянька, которая была как бы членом семьи: ворчала на отца, советовала маме, какое платье надеть в гости, вмешивалась в их разговоры. И мне, и моей маме нравились Куличенки. Мама приглашала их на семейные праздники, я бывала у них запросто, а летом, когда окна были открыты, Искра кричала мне со своего балкона: «Иди скорее, мама купила новые пластинки, будем патефон крутить!».

Когда в город вошли немцы, папа Куличенко ушел в партизаны. Он был в одном отряде с моим братом, и тот потом рассказывал, что розовый толстяк Куличенко оказался человеком храбрым и изобретательным: ему поручались самые рискованные операции. Маленькая мама уехать из города не могла: она была на сносях и скоро ушла в больницу рожать. Нянька привела детей к окошку знакомиться с новой сестричкой, а в это время солдаты выволокли из постели только что родившую женщину и потащили по коридору. Искоркина мама была, оказывается, не только женой партизана, она была еще и еврейка. Дети плакали за окном, она крикнула няньке: «Уведи детей!» Детей схватили, няньку отшвырнули, больше она детей не видела. Куличенко подорвался на mine, выполняя очередное задание.

Я встретила няньку после войны на улице. Она торговала семечками. Удивительно: она меня узнала и назвала по имени. Но когда я спросила, с кем она живет, глаза ее стали стеклянными, и она быстро-быстро стала говорить: «Вот Искорка будет рожать, она меня к себе заберет ребеночка нянчить. Искорка будет рожать и заберет. Нянчить, значит. Когда рожать соберется...» и пр. и пр. Старуха сошла с ума с того самого времени, когда расстреляли детей. Мои детские привязанности, мои первые друзья... Им не суждено было стать взрослыми.

СОФОЧКА

Там, во дворе, в Еврейском переулке, жили не одни евреи, но их было много. Коганы, Зиппы, Кизельштейны, Школьниковы, Орловы. Стерлись лица, а фамилии - вот они. Софочка Школьникова была идеальная девочка. Головка причесана волосок к волоску, на платьицах разглажены все складочки, тетрадки в безупречном порядке, и она немного разбавляла водою чернила, чтобы не писали жирно. Почерк, конечно, хоть на выставках показывай. Училась лучше всех, никогда «хорошо», всегда - «отлично». Дома у нее я, как ни странно, никогда не бывала - не звали. Все соседи меня к себе зазывали, угощали, ласкали, и я, конечно, не понимала, кто из них евреи, а кто не евреи. Школьниковыми тоже никогда не интересовались, евреи ли. Мама Софочки, крохотная серая мышка, не открывала рта. Папу я видела редко: небольшого росточка, не улыбочивый человек. Кем были? Чем жили? Софочка меня звала в свой палисадник, и мы рисовали

бумажных кукол. Это я умела. У меня дома на подоконнике всегда жили бумажные «артисты». Но она рисовала кукол в купальничках, придумывала для них нарядные платья, которые прикладывались к их бумажным фигуркам. У нее был вкус и, возможно, талант рисовальщика. В большой папке эти куклы и все их туалеты были сложены с тщательной аккуратностью.

В эвакуацию Школьниковы не уехали. Мне рассказывали потом соседи: мама отправила девочку в деревню. Никто не знает, почему она появилась в городе как раз в тот день, когда солдаты уводили евреев. «Мамочка! - закричала она. - Мамочка!» И солдат толкнул ее в колонну. Мама ее рыдала и кричала: «Не трогайте девочку, это не еврейская девочка! Смотрите, какие у нее светлые волосы, голубые глаза. Таких не бывает у еврейских детей!» Но было поздно. Их расстреляли вместе. Может быть, она и вправду была приемным ребенком? Какая разница, судьба у них была общая.



У НАС В ГОСТЯХ

РУФЬ ТАМАРИНА

Россия

У русской Музы
Дети - иудеи...
В том не ищите каверзной идеи:
Сошлись - судьба, планида, воздух, свет...
Так родились полотна Левитана,
Как неизбежность вечности,
Как данность,
Как на незаданный вопрос -
 ответ.

А после были Пастернака строки,
Полет Плисецкой, нежный и высокий,
И скрипка Спивакова...
 И букет
Имен известных, чаще -
 неизвестных,
И женщин удивительных, прелестных...
Искусства и науки вечный свет.

И, вероятно, в этом - наша доля:
Дышать и жить в любой неволе - волей.
Лишь только этим избран мой народ.
А прочее - галиматья и бредни,
Не стоящие и полушки медной,
Каким бы броским ни был переплет.

Декабрь, 1995, Томск

* * *

Мелодии древнееврейской
Почти незнакомый мотив,
И бабушкин голос из детства
Молитвы, как прежде, твердит...
Еще я не знаю, что будет
Треблинок удушливый дым,
И детских ботиночек груды -
Безжалостный символ беды.

Еще за отцовским нечастым
Застольем в те давние дни
Пока что не пахнет несчастьем
И дружбой согреты они -
Звучит озорной «Берель-бомчик»,
Старинная песня «От гейт»,
И братик по-русски лопочет,
Не ведая слова «еврей».

Его то ль сожгут, то ль застрелят
В том сорок-проклятом году,
Ни смысла, ни прока, ни цели
Вообще не имея виду...
А впрочем неправда - ребята
Со свастикой на рукаве
Его убивали когда-то
Всего лишь за то, что - еврей.

Хоть он, толстогубый подросток,
Ни идиш не знал, ни иврит,
И Жизни, и Смерти вопросов
Задать не успел - был убит.

А я задаю их - и людям,
И прежде - себе же самой:
А вдруг это все-таки будет,
И вновь поведут на убой
Нас, выросших в лоне России
Нерусских ее россиян,
Все те, кто беспamięтно пьян
Жестоким расистким бессильем?

...А мне одинаково милы,
На равных летя сквозь века,
И гордая «Хава нагила»,
И горькой «Рябины» тоска...

* * *

Из этой страны уезжают за лучшей судьбой.
Но лучшей судьбы - я-то знаю! - вообще не бывает.
Бывает судьба лишь одна, и она за тобой -
Куда б ни уплыл - все равно,
как судьба, приплывает.
Такая планида, какая тебе суждена,

С тобой от рожденья
До вздоха последнего будет.
Она не удача твоя, не беда, не вина:
Планиду свою заране не ведают люди...
Но если на свете достаточно долго живешь,
Планиду свою узнавать научаешься тихо.
И все-таки ждешь,
До последнего выдоха ждешь -
А вдруг оно минет тебя,
 неподвластное разуму лихо.
Такая планида -
Надеяться, ждать и - терять.
Удачницей слыть,
Обреченно не веря в удачу.
И где-то в последнем, прощальном тепле ноября
Писать о планиде своей, надеясь и плача...
Такая планида...

* * *

Е.Г.Боннэр-Сахаровой

Я знаю слишком хорошо,
Что это значит,
Когда молчанье душу жжет,
А сердце - плачет.

И ни одной слезинки вслух,
Все ночью, тайно,
Когда в тиши слабеет дух,
Борясь с отчаяньем.

Идет ли мокренький снежок
Иль зной горючий -
Неизлечим души ожог,
Сиротство мучит.

И нет родного, чтоб припасть
У изголовья,
А только злая есть напасть -
Судьбина вдовья.

Пред памятью Его святой
Склоняюсь низко,
Вам, как сестре, пишу о том,
Что сердцу близко.

Декабрь, 1989. Переделкино.



ЮРИЙ ГЕРТ

НА БЕРЕГУ

Рассказ

Сначала сидели в ливингрум, потом на балконе, отсюда виден был океан, лунная переливающаяся дорожка, она словно висела в пространстве, между черным небом и черной водой, разговор на минуту прервался - все залюбовались ею, тем более, что от дома до океана было рукой подать: стоило перейти дорогу - и ноги вязли в мелком пляжном песке, так что казалось - чуть рябящая серебристая тропинка начиналась где-то рядом, на нее можно было ступить и идти, как по канату, балансируя руками...

Плоская эта мысль сама собой приходила - и пришла, вероятно, - в голову каждому, но высказал ее только один из сидевших за вынесенным на балкон столом.

- Никак не привыкну, - с застенчивой улыбкой произнес Илья, хозяин застолья, крупный, широкоплечий, тяжеловато сложенный для своих сорока пяти лет, он был в компании самый молчаливый и если заговаривал, то всякий раз как-то невпопад, он сам это чувствовал и помалкивал, но других слушал очень внимательно, хотя слова падали в него, как в колодец, и такой глубокий, что не было слышно ответного всплеска. - Вот смотрю на эту дорожку и думаю, что одним концом она упирается в наш дом, а другим - через океан - во Францию или Испанию, а там и до России недалеко, так что если по дорожке этой идти прямо, не сворачивая, как раз в Россию и попадешь...

- Ну, вот! Опять!.. - всплеснула руками его хорошенькая жена Инесса. - Россия и Россия, Россия и Россия!.. - Она капризно надула губы, сложив их в розовый бутончик. - Да скажи я кому-нибудь, что здесь, в Америке, на берегу океана, в чудную лунную ночь собрались евреи - и только разговоров у них, что о России, которая, кстати, с удовольствием их выпроводила, то есть попросту вытурила, да еще и дала хороший пинок на прощанье... Скажи я кому-нибудь такое - ведь никто не поверит!..

Она смешалась, по возникшей вдруг тишине поняв, что перегнула палку, и смущенно передернула угловатыми, худенькими, как у подростка, плечами. Но взгляд, который она бросила на мужа украдкой, был напряжен, тревожен...

- Ну что же, если вам надоело... Если вы устали от наших разговоров... Мы можем и прекратить... - резким скрипучим голосом проговорил самый старший среди сидевших за столом, Александр Наумович, и нахохлился, в подслеповатых глазах, увеличенных мощными стеклами, блеснула обида. Он снял очки, которые делали его, маленького, похожим на филина, и принялся протирать линзы.

- Да нет, что вы!.. - заторопилась хозяйка замаять свою неловкость. - Я не так выразилась... Господи, да в кои-то веки съехались, встретились... Для нас это - праздник, подарок!.. - говоря, она то вскидывала руки, то плавно разводила их в стороны, то прижимала к своей небольшой, красиво очерченной платьем груди. В уголках ее виноватых растерянных глаз копилась слезы. До того, как приехать в Америку, она была балериной и сейчас тоже чувствовала себя как бы отчасти на сцене, особенно когда к ней

обращались все взгляды, что, впрочем, в компании, занятой захватившим всех разговором, случалось довольно редко.

- Хорошо, - невозмутимо согласился Александр Наумович, - тогда, с вашего позволения, продолжим... Итак, Марк, вы полагаете, что все в России идет именно так, как и должно идти? Правильно ли мы вас поняли?..

Теперь он, прищурясь, смотрел на самого молодого из собравшихся - рыжеволосого, с правильным удлинённым овалом лица, высоким лбом, голубыми холодноватыми глазами и резким решительным росчерком бровей. Этому лицу очень подошли бы загнутые на концах д'артаньяновские усы и острая бородка, - во всяком случае куда больше, чем оранжевая майка с приглашением отдохнуть на Багамах и широченные шорты в красных и зеленых полосах. Несколько дней назад Марк прилетел в Америку по каким-то своим делам и, поселившись в пятизвездочном отеле, там же поспешил приобрести майку и шорты, чтобы не слишком отличаться от сновавших вокруг, считал он, истинных американцев.

Марк вздохнул и, обдумывая ответ, опустил глаза, прикрыв их густыми, по-девичьи длинными ресницами.

- Хотелось бы знать, какие у вас имеются на сей счет резоны?.. - настойчиво продолжал Александр Наумович. Голос у него был требовательным, взгляд колючим, пронзительным. В его интонациях, его напоре ощущалось право так говорить. Марка знал он с давних пор, с того времени, когда тот со своими родителями поселился в доме, где жил Александр Наумович. Теперь он уже не помнил, о чем разговаривали они в первую их встречу, помнил только, что в дверь позвонили, он открыл, на пороге стоял мальчуган из квартиры напротив, одетый с подчеркнутой опрятностью, в пиджачке и белой рубашке, с аккуратно зачесанным назад чубчиком и поразившим профессора прямым, в упор, взглядом ясных, серьезных глаз.

- Извините, - сказал он, - вы преподаете литературу, а мы сейчас проходим Чехова и мне хотелось бы знать, кто прав - я или наша учительница...

Александр Наумович впустил мальчика, слегка смущенный бесцеремонностью, перед которой, впрочем, никогда не мог устоять. Они беседовали час или два, а то и больше. Вопросы у Марка были дельные, связанные не то с «Палатой № 6», не то с «Вишневым садом», и разговаривать с ним было одно удовольствие... Позже, когда Марк подрос, поступил в институт (правда, не гуманитарный, куда подталкивал его Александр Наумович), он пользовался, приходя к Александру Наумовичу, хранившимся у него и постоянно пополняемым «самиздатом», что само по себе в те времена означало высокую степень доверия и даже духовной близости.

- Да, так что же?.. Какие резоны?.. Мы вас слушаем...- Александр Наумович побарабанил пальцами по краю стола, уставленного закусками и бутылками. Прежде чем отважиться на эту поездку (Марк, прилетев, тут же дал им о себе знать), они с женой обзвонили множество трайвелагентств, педантично, до цента, все рассчитали и предпочли самолету автобус, в котором и провели около пятнадцати часов, сократив таким образом транспортные расходы почти наполовину. Правда, и те двести долларов, которые пришлось им выложить, сокрушали в прах ставший привычным для них бюджет, но они пошли на это, не думая - ради встречи с Марком...

- Видите ли, - осторожно выбирая слова, заговорил наконец Марк, наливая себе в бокал кока-колы и отхлебывая ее мелкими глоточками, - при переходе от одной системы к другой всегда необходимы известные издержки, это закон... И тут главным, на мой взгляд, является не форма движения, а его общее направление. А общее направление состоит в том, чтобы поставить Россию в ряд цивилизованных государств, оснастить современными технологиями, приобщить к миру компьютеров, без которых нет и не может быть никакого прогресса...

Продолжая говорить, Марк откинулся на спинку стула и, покачиваясь взад и вперед на задних ножках, в балахонистой, пылающей яркими красками майке, с крепкими, широко расставленными локтями, с разрисованной пальмами и попугаями грудью, казался непомерно огромным в сравнении с маленькой щуплой фигуркой Александра

Наумовича, лишь в глазах его порой проступало неуверенное, затаенно-опасливое выражение, словно он по-прежнему чувствовал себя мальчишкой перед придиричиво слушающим его профессором. Впрочем, как раз в те времена взгляд его был прям и открыт...

- Послушайте, Марк, - резко взмахнул рукой Александр Наумович, - все, что вы говорите, можно прочесть в любой газете. Но вы-то... Вы - оттуда... И могли бы выдать что-нибудь более внятное... - Он сердито пожевал мятыми губами и огляделся, ища поддержки и вместе с тем всем своим видом показывая, что не нуждается в ней.

Александр Наумович Корецкий прожил в Америке около двух лет и еще не успел отвыкнуть от того, что его имя постоянно фигурировало в литературоведческих статьях, на него, как на неоспоримый авторитет, ссылались в работах по истории русского стиха; оно, его имя, было в прошлом известно в среде диссидентского толка - не потому, что сам он был диссидентом, а потому, что знал многих из этих людей, разделял их убеждения и помогал им, как мог. Здесь, в Америке, существуя вдвоем с женой на скромное пособие, он целые дни проводил в библиотеке, радуясь неограниченным возможностям в получении редких, редчайших книг, от которых всю жизнь был отлучен, и пополняя свои, как выяснилось, весьма поверхностные знания в области еврейской истории. Однако не меньше времени у него уходило на чтение российских газет и журналов, доставляемых с небольшим опозданием. При этом он презирал себя за то, что ведет пустую, бездеятельную жизнь, когда в России все кипит и бурлит и сама она вот-вот сорвется - уже сорвалась и летит в пропасть!.. По утрам он бежал к почтовому ящику в надежде на свежие вести из России. Что до него, то он слал туда письма во множестве, при этом ему приходилось экономить на всем - на конвертах, на марках, он писал мелким почерком на тонкой бумаге, вкладывая в один конверт по два-три письма. У него был скверный английский; история русского стиха здесь никого не интересовала; друзья хлопотали, пытаясь подыскать ему какую-нибудь работу; наконец ему с торжеством сообщили - работа нашлась: кормить белых мышей в каком-то научном институте... Он отказался. Да, разумеется, любой труд благороден, однако что сказали бы в России его знакомые, узнав, что он приехал в Свободный мир кормить белых мышей? Что сказали бы его враги, которых осталось у него там не меньше, чем друзей?..

В Америке Александра Наумовича отыскивали его бывшие ученики, они списались с ним и, делаясь собственным опытом, толковали о курсе лекций, который хорошо бы прочесть в одном из американских университетов, объясняли, как обзавестись грантом, как связаться с каким-нибудь фондом... Александр Наумович ничего в этом не понимал и не хотел понимать. Он читал газеты, письма - и недоумевал: зачем он здесь?.. Он отлично знал, как и почему здесь очутился, но снова и снова задавал себе этот вопрос. Мало-помалу им овладела апатия, злость на себя, на воюющих в Боснии сербов, на палестинцев, на приютившую его Америку, где он чувствовал себя, как рыба на раскаленном песке, и в особенности, может быть, раздражали его земляки и коллеги, которые взапуски старались, как они говорили, «начать новую жизнь», стать «настоящими американцами» и, встречаясь, только и разговаривали, что о долларах (у каждого было их так немного), о марках машин (у всех, естественно, были они старые), об успехах детей, добывающих себе место под солнцем (как правило, им не было никакого дела до родителей)... Россия, перестройка, «Новый мир» Твардовского, «самиздат», за которым они когда-то гонялись, Таганка - всего этого в их жизни словно не существовало... Александр Наумович все больше мрачнел, замыкался в себе.

Узнав, что Марк прилетает в Штаты, он решил, что с ним необходимо повидаться. Решил?.. Да тут и решать было нечего: надо и все. К тому же прилетал он в город, где жили давние их знакомые, Илья и Инесса... Однако что-то смутило Александра Наумовича еще в отеле, куда они с Ильей заехали за Марком, - то ли крикливая, режущая глаз майка и какие-то безбрежные, красно-зеленые шорты, то ли сам отель, его громадный, роскошный, сияющий хрусталем и мрамором вестибюль с шумными, плещущими по углам фонтанами... Здесь они ждали минут пять, пока к ним спустился Марк.

- Сколько же вы платите за койку? - спросил Александр Наумович, когда они сели в машину.

- Сто пятьдесят, - улыбнулся Марк чуждо прозвучавшему тут слову «койка».

- Сто пятьдесят - чего?.. - переспросил ошеломленный Александр Наумович.

- Ну не рублей же...

Не сама по себе эта цифра - сто пятьдесят долларов за сутки - а снисходительная улыбка, с которой это было сказано, задела Александра Наумовича...

Пока накрывали на стол, он с женой Машей читал привезенные Марком письма. В них не было прежнего смятения - какая-то грустная, смягченная горькой иронией покорность судьбе, вплоть до полного безразличия к тому, что будет... Казалось, тяжело больной, истративший все силы на борьбу с болезнью, больше не верит ни обманувшим его врачам, ни их таблеткам. Они читали вслух, в иных местах Маша плакала, Александр Наумович брал у нее страничку и читал дальше, но и у него, несмотря на сердитые усилия, начинало щекотать в горле.

Глядя на красные от слез глаза жены, на ее усталое после дороги лицо, серое, в частых мелких морщинках, на ее когда-то черные, а теперь стремительно седеющие волосы, он корил себя за то, что не может найти для нее каких-то подходящих, утешающих слов... Они вышли к столу из отведенной им комнатки какими-то растерянными, одрябшими, забывшими привычку прятать свою старость... Однако разговор за столом и вспыхнувший вскоре спор вернули обоим обычное самообладание, а Александру Наумовичу и ставшую для него неизменной желчность...

- Так вот, - продолжал Александр Наумович, уже не обращая внимания ни на пересекавшую океан лунную дорожку, ни на старания жены пригасить его пыл, - меня, да и всех нас, интересуют не общие фразы, а ваш, именно ваш, Марк, взгляд на происходящее в России... Ведь вы - бизнесмен... Не знаю, какое место теперь занимает у вас в жизни наука, поскольку бизнес, как я понимаю, сделался для вас главным занятием... Но я не о том. Видите ли, все эти словечки - «свободный рынок», «биржа», «банки», «акции» - звучат для меня довольно-таки абстрактно. За ними мне все время мерещится Диккенс, в лучшем случае - Джек Лондон, Драйзер... То есть «свободный рынок», как я понимаю, это - борьба всех против всех, торжество силы, наглости, хитрости, бесчестных приемов - с единственной целью: разбогатеть... Торжествуют рвачи, воры, грабители, эксплуататоры трудового народа и, уж простите, трудовой интеллигенции... Да, да, именно так: с одной стороны - нищающие учителя, врачи, артисты, литераторы, с другой - миллионеры, счета в швейцарских и прочих банках, особняки, дачи, лимузины... Откуда, помилуйте, все это? Вы знаете другое слово - не эксплуататоры?.. Я, извините, не знаю... К тому же оно - из вашего обихода, ведь вы - доктор наук, экономист, и свои диссертации писали не о Тютчеве и Фете...

Все притихли. Было слышно, как, блестя фарами, проносятся по дороге машины и как там, за дорогой, на берегу кто-то врубил на всю катушку транзистор с задыхающимся от сумасшедшего ритма рэпом. Впрочем, транзистор тут же смолк...

- Александр Наумович, - усмехнулся Марк, давая понять, что ничуть не обижен, - я думал, два года жизни в Штатах сделали вас более... скажем так, современным, что ли... Вы видите перед собой то, к чему идет... Или точнее, - поправился он, - к чему должна прийти Россия в будущем... Возможно, не очень близком...

- Позвольте, но это же опять - в будущем! В «светлом будущем»!.. - взвился и даже хлопнул по столу Александр Наумович. - Кто только не обещал нашим людям «светлого будущего»!.. На моей памяти все обещали - Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, какой-нибудь Черненко - все, все обещали, трубили, бормотали о светлом будущем! И во имя этого самого «светлого будущего» разлучали детей с отцами, крестьян с землей, ссылали, загоняли в тюрьмы, расстреливали без суда и следствия!.. Теперь взялись... Не говорю - вы, вы лично, но такие, как вы, обещать людям «светлое будущее»... Мы с Машей только что прочли письма, которые вы привезли...

- И что там такое, в этих письмах?..

Александр Наумович выбежал из-за стола и тут же вернулся. В руке у него была пачка писем - веером. Он начал их читать, торопясь, выхватывая отдельные фразы, куски. Монтаж получился гнетущий. И в особенности, может быть, оттого, что вечер был так тих, безмятежен и снизу доносился слабый, но ощутимый аромат высаженных в клумбы цветов, и окна соседних домов, развернутых к океану полукругом, светились так уютно и весело, и люди на берегу медленно, лениво прохаживались вдоль кромки взблескивающей узкой ленточкой воды, или лежали полуобнявшись, или сидели в шезлонгах, заложив руки за голову, нежась в текущих с неба лунных лучах...

- Это ужасно... - выдохнула Инесса чуть слышно. Она сидела обхватив грудь руками крест-накрест и расширенными зрачками упершись прямо перед собой - в пустоту.

Илья протяжно откашлялся, как будто что-то цепко застрявшее в горле мешало ему говорить.

- По-моему, теперь самая пора выпить, - сказал он и принялся разливать водку по стопкам. Его никто не поддержал, он выпил свою стопку в одиночестве.

- Происходит физическое и духовное вырождение нации. - Александр Наумович сурово, как если бы он говорил с кафедры, оглядел сидящих за столом. - Растет детская смертность, резко сокращается продолжительность жизни, самоубийства стариков, проституция, зверские расправы на улицах - все это сделалось заурядным явлением. Это не я, это говорит статистика!.. Если ей верить, то к двухтысячному году население России сократится - заметьте, сократится, а не вырастет! - на пять миллионов. И вам все это, Марк, должно быть отлично известно...

Марк, морщась, пригубил стопку, выигрывая время для ответа, и, выбрав на тарелочке маслину покрупнее, кинул ее в рот.

- Чему вы удивляетесь?.. Я вполне с вами согласен: России предстоит долгий и тяжелый путь, но она должна его пройти, выстрадать... Другого пути попросту нет... - Марк обсосал косточку от маслины и, защебив ее между пальцами, выстрелил поверх балконных перил.

- Нравственность, - с нарастающим раздражением заговорил Александр Наумович, - нравственность, на которой стоит Россия, да и мы с вами, сформулирована Достоевским в одной-единственной фразе - я говорю о «слезе ребенка»... Ничто и никогда не может быть куплено ценой слезы ребенка... Одной-единственной детской слезинки, говорит он... И он оказался прав - он, как мы видим, а не те, кто обещал народу счастье, приобретенное... Нет, не «слезинкой ребенка»... Что там - слезинка... - Александр Наумович горестно взмахнул рукой. - Если бы - слезинка... Или вы полагаете, - выкрикнул он грозно, - при закладке нового общества нравственность является чем-то излишним?.. Чем-то мешающим?.. Так это уже было, было! Вы наследуете чужой опыт!..

Застольная беседа, начавшаяся на мирной, объединяющей всех ностальгической ноте, давно превратилась в прямую дуэль между Александром Наумовичем и, как он считал про себя, его духовным воспитанником, учеником.

- Видите ли, Александр Наумович, наука не признает ничего, кроме объективных фактов. Достоевский может говорить что угодно... Слова его прекрасны, и я готов подписаться под каждым. Но в науке существуют иные системы отчета, нравятся они нам или нет... - Марк бросал в рот маслины одну за другой. - Известный на Западе социолог, очень крупный, может быть, даже крупнейший в своей области авторитет... - Марк назвал его имя, никому из присутствующих, впрочем, не знакомое, - так вот, он вычертил ряд интереснейших схем, графиков... - Марк размашистым жестом провел в воздухе две пересекающиеся линии - ... и путем вычисления соответствующих коэффициентов построил кривую такого вида... - Он обозначил изогнутую линию между двух первых, пересекающихся под прямым углом. - И что же выяснилось?.. А выяснилось, что мера нравственности общества в периоды исторических катаклизмов катастрофически падает, это закон, подтвержденный огромным количеством наблюдений...

К Марку вернулось прежнее спокойствие. С видом победителя он обежал всех взглядом и выплюнул на блюдечко последнюю косточку.

Инесса, по-детски распахнув глаза, смотрела на Марка с наивным выражением страха и уважения. Александр Наумович, жуя губами, обдумывал достойный ответ. Поднявшись из-за стола, Илья отправился на кухню, где в духовке томилось мясо, приготовленное им по особому рецепту. В Союзе он был инженером на одном из крупных заводов, конструкторское бюро, которое он возглавлял, проектировало горные комбайны и считалось ведущим в своей отрасли, здесь же ему не везло - с языком не ладилось, а горные комбайны были никому не нужны. Днем он работал по ремонту домов, застилал полы ковролином, по ночам развозил пиццу... Вскоре он вернулся с большим противнем в руках, на нем горкой лежали обернутые в фольгу пластики мяса, обжаренные в собственном соку и с массой разных приправ - несмотря на открытый воздух, над столом сразу повисло ароматное, дразнящее аппетит, щекочущее ноздри облако.

- Прошу, - провозгласил Илья, держа перед собой противень. - Мясо по-мексикански... - Он шутливо прищелкнул каблуками, выбил чечетку.

- О-о!.. - первым потянулся к мясу Марк. - Судя по всему, невероятная вкуснятина... Он положил один ломтик себе на тарелку и, приоткрыв упаковку, шумно потянул носом: - Ну, - произнес он, закатывая глаза, - я вижу, что жизнь в Америке для вас, Илья, не проходит зря...

Он не заметил ни напряженной тишины, ни смущения, вызванных его словами, ни того, как омрачилось вдруг у Ильи лицо, ни того, как порывисто выскочила из-за стола Инесса... Она вернулась через несколько минут, уже без прежнего, игравшего на лице оживления, с принужденной, словно нарисованной на губах улыбкой.

Мясо и в самом деле было необычайно вкусным, все ели, дружелюбно посмеиваясь над Марком, который с азартом прикончил вторую порцию и уже тянулся за третьей. Только Александр Наумович вяло ковырялся в своей тарелке, продолжая размышлять о том, что сказал Марк. Собираясь в дорогу, он иначе представлял себе эту встречу. Два-три года назад Марк был другим. Тогда он был захвачен созданием какой-то уникальной по возможностям компьютерной программы. Вместе с ним трудилась большая группа молодых математиков, физиков, механиков. Чтобы завершить работу, необходимы были деньги. В то время создавались кооперативные предприятия, начинала развиваться посредническая деятельность... И Марк, морщась, взялся за чуждое для него занятие - бескорыстно жертвуя собой во имя науки...

- Ничего не поделаешь, - сочувственно, с примирительной интонацией проговорил Марк, вытирая салфеткой замаслившиеся пальцы, - ничего не поделаешь, Александр Наумович, другого пути нет... - Он легким, покровительственным жестом коснулся острого, костистого локтя Александра Наумовича, погладил его. Возможно, в тот момент ему пришло в голову, что они поменялись ролями - ученик и учитель... Мутная пленка жалости на мгновение застлала ему глаза: бессильный, никому не нужный, потерявший себя старик сидел перед ним, хорохорящийся по привычке и неспособный постичь того, что происходит вокруг...

Он не только прикоснулся к локтю Александра Наумовича, он даже приобнял Корецкого, по-сыновнему прикинув к жесткому, словно из дерева выточенному плечу своей мускулистой, жарко дышащей грудью... Но в этот момент заговорила до того молчавшая Маша, Мария Евгеньевна - так, не изменяя российской привычки, все здесь ее называли.

Да и не вязалось как-то иначе ее называть. Было что-то загадочно-значительное в ее лице, все еще красивом, несмотря на седину и морщины. Черты его были строгими, завершенными, как на античных камнях, и это придавало ему обычно некоторую холодность, державшую собеседника, о чем бы ни шла речь, на раз и навсегда отмеренном расстоянии. Рядом с ее статной фигурой Александр Наумович выглядел плюгавым, не в меру суеязящимся очкариком. Раньше, «в той жизни», Мария Евгеньевна заведовала в мединституте кафедрой глазных болезней, консультировала и оперировала наиболее «трудных» больных. Теперь она не пренебрегала любой работой, бебиситорствовала, выучилась водить машину и ездила убирать в домах богатых евреев-ортодоксов...

Сидя за столом, она прислушивалась к общему разговору - так врач наблюдает за пациентом, не спеша ставить диагноз, и лицо его сохраняет при этом выражение замкнутое, отрешенное. Только глаза Марии Евгеньевны, темно-карие, с вишневым отливом, по временам горячо блестели, хоть она и прятала их под приопущенными веками, а когда они вспыхивали слишком ярко, прикрывала их козырьком приставленной ко лбу ладони.

- Простите, Марк, но почему же это - другого пути нет?.. - заговорила она, глядя на Марка с настораживающей улыбкой. - Это вы решили, что нет, но ведь существуют и другие мнения...

- Вы о чем?.. Не понял...

- Ну, как же, Марк... Вспомните Сахарова... Ведь он говорил о другом пути...

Сейчас ничто не напоминало в Марии Евгеньевне погасшую старую женщину, какой она вышла к столу после чтения писем из России... От нее исходила энергия, слова были резки, отточены, взгляд спокоен и жгуч, Марк не выдержал его, уперся глазами в стоявшую перед ним тарелку с листочками мятой, лоснящейся жиром фольги.

- Конвергенция... Вам ведь знакомо это слово?.. Почему-то сейчас его или забыли, или стыдятся произносить... Пожалуй, это единственное, чего теперь стыдятся...

- Видите ли, Мария Евгеньевна... - поморщился Марк, не отрывая взгляда от тарелки. - Сахаров был, без сомнения, святой человек, но наивный... Наивный, как дитя... Во всяком случае, в экономике...

- Вы полагаете?..

- Убежден... - Марк потер, потеревил себя за мочку, как бы раздумывая, стоит ли продолжать. - Имеется, как известно, такое понятие - первоначальное накопление... Все помнят, конечно, даже по школьному курсу - «огораживание» в Англии, когда «овцы съедали людей»... - Он окинул сидящих скучливым лекторским взглядом. - А работорговля в Америке?.. Пиратство?.. На чем сколачивали свои состояния Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны?.. Это потом они или их потомки становились филантропами, жертвовали миллионы, строили музеи... Но начиналось-то --все знают, с чего...

- Да, конечно, все знают... Но конвергенция - это совсем другой путь... Вы уж извините, Марк, что вторгаюсь в вашу область... Это, насколько я представляю, слияние, соединение где-то в дальнейшем капитализма и социализма, это сочетание плюсов того и другого... Умное, дальновидное регулирование экономики, защита интересов слабых и бедных, медицина для всех, забота об окружающей среде, о материнстве, детстве - вот что характерно для нынешнего капитализма... Он учится, он берет у социализма его лучшие, сильные стороны, а вы толкуете о рабстве, «огораживании»...

- Я говорю о периоде первоначального накопления, без него никто не обходился...

- Так это в прошлом!.. Почему Россия обязательно должна пройти этот путь?.. Ей могут дать любые займы, предоставить самые передовые технологии, да у нее и у самой огромный научный потенциал, величайшие в мире природные ресурсы... У нее нет надобности начинать все с каменного топора, копировать Англию или Америку семнадцатого или восемнадцатого века... Разве не об этом мечтал Сахаров?.. А что мы видим?.. Такое не снилось даже Гитлеру - да, да! Без единого выстрела развалить страну, развалить экономику, половину населения отбросить за черту бедности, грабить людей, разворовывая нажитое, наработанное, созданное их трудом - и при этом утверждать, что другого пути нет, все предначертано!.. Я понимаю, когда так говорят те, кто и раньше стоял у власти, и теперь сидит в тех же креслах... Но если так говорят демократы... Вы, Марк... Это страшно! Да, Марк - это страшно!..

Гнев и возбуждение молодили Марию Евгеньевну, лицо ее горело, голос вздрагивал, звенел от напряжения.

- Добавлю: того ли хотели наши диссиденты?.. Буковский, Гинзбург?.. А Солженицын, Александр Исаевич?.. Ради этого сидели они в тюрьмах, издавали «Хроники», боролись за права человека?.. - Александр Наумович рывком отодвинул стул, встал и в волнении прошелся по балкону, задевая спинки стульев и чуть не опрокинув

стоящую на краю стола бутылку с водкой. - Только подумать... Только подумать, чего они хотели и что получилось!.. - В глазах его были боль и отчаянье.

- Ну что все напали на бедного Марка!... - сделала лукаво-ребячливую гримаску Инесса и вытянула губы трубочкой. - Почему он один обязан за все отвечать?.. - Она привсталась, рука ее плавным движением легла на голову Марка, пригладила волосы.

Должно быть, жалость, хотя бы и шутливая, прозвучавшая в ее словах, зацепила Марка.

- А как вы думаете, Александр Наумович, почему так случилось?..

-Что именно?.. - сверкнул стеклами очков Александр Наумович.

- Ну, как же - что... Вот вы говорите - диссиденты, Буковский... Да и не только они - вы, кстати, тоже... Ведь это у вас в доме я и «ГУЛАГ» прочитал, и Жореса Медведева, и мало ли кого еще... Кем бы я стал, вернее, **каким** бы я стал без вас - не знаю...

- Я всегда верил в вас! - вскинул голову Александр Наумович и горделиво огляделся.
- Верю и сейчас!..

- Спасибо... Так вот, почему так случилось, Александр Наумович, вы никогда не задумывались?.. - Александр Наумович собирался что-то сказать, Марк предупреждающе вскинул руку: - Ведь как хорошо было все придумано: свобода слова - люди читают умные книги, Джойса, к примеру, или Оруэлла, или тот же «ГУЛАГ»... Свобода слова - говорят, что хотят, где хотят: критикуют правительство, пишут обличительные статьи, которые тут же публикуют в газетах... Всюду митинги, демонстрации... Словом, народ ликует... Почему же случилось... Не так случилось, как рисовалось, мечталось, а так, как случилось на самом деле?.. И те, кто, как Мария Евгеньевна справедливо заметила, были раньше у власти, сейчас процветают по-прежнему, и много лучше, возглавляя компании, акционерные общества, банки, а вы, бескорыстные идеалисты, которые с ними всю жизнь боролись, или прозябаете **там**, потому что иначе это и не назовешь, именно - прозябание, тот образ жизни, который они ведут в нынешних условиях... Или - как Буковский, к примеру, или тот же, скажем, Жорес Медведев - живут-поживают себе в Англии... Наум Коржавин - в Штатах... Теперь вот и вы тоже... И если уж на то пошло, так те, кто вам верил, восхищался, теперь говорят: где же то, что было вами обещано?.. И где вы сами?.. Выходит, вы или не знали, куда зовете, и значит, не за свое дело брались, или знали... Но тогда... Тогда, извините, кто вы?..

Все это Марк проговорил с веселой, мстительной усмешкой, развалясь, упершись голыми коленями в стол и покачиваясь взад-вперед на стуле. Александр Наумович слушал его растерянно. То, о чем говорил Марк, ему и самому приходило в голову, но слишком больно вонзались эти мысли в сердце, он старался заглушить их, пеняя на свою чрезмерную интеллигентскую совесть, традиционное российское самоедство... Но Марк высказал все с безжалостной прямоотой. Александр Наумович ощущал себя так, словно с него прилюдно содрали одежду... Мария Евгеньевна слушала Марка с непроницаемым лицом, по нему трудно было решить, соглашается она с ним или нет.

- Может быть, выпьем?.. - несмело предложил Илья, потрогав ладонью затылок. Он приподнял над столом бутылку и поболтал ею в воздухе.

- Илья, ты русский человек!... - всплеснула руками Инесса. - И зачем ты приехал в Америку?..

- Вот именно... - негромко бормотнул Илья, бросив на жену взгляд, понятный только им двоим. Никто никак не отозвался на их слова, все были поглощены разговором. Илья болтанул бутылкой еще раз и нацедил тоненькой струйкой водку себе в стопку.

Марк смягчился, почувствовав, что не рассчитал силу удара:

- Что до меня лично, то я никого ни в чем не виню. Напротив, идет нормальный процесс, болезненный, да, но другого и не могло быть, я говорил это и буду говорить...

С его стороны это было благородно: он не обвинял, он протягивал руку... Но над столом повисло плотное, давящее молчание. Океан по-прежнему серебрился в лучах чуть сдвинувшейся в сторону луны, его масса сделалась как бы темней, громадней и выпуклей... Но никто не смотрел, не любовался мерцающей серебристой дорожкой.

- Скажите, Марк, - проговорила Мария Евгеньевна, пристально взглянув Марку в лицо, - вы, судя по вашим письмам, занимаетесь бизнесом...

- Отчасти, - поправил ее Марк.

- Отчасти... - повторила она. - И живете неплохо, объездили весь мир, теперь в Америке... Купили новую квартиру, машину...

- Да, лично я не жалею.

- Ну, а как живут другие?.. Те, что за порогом бедности, таких больше сорока процентов?.. И что это значит практически - быть за порогом бедности?.. Что эти люди едят, что носят?..

- М-м-м... Не знаю, - запнулся Марк. - Меня это как-то не интересует.

Он кашлянул, позвякав ложечкой о краешек блюда.

- А хорошо бы сейчас чайку, - проговорил он с деланной беспечностью. - Как вы на это смотрите?..

- Да, да, конечно... - Инесса торопливо поднялась и стала собирать тарелки. - Что же ты, Илюша...

Но Илья будто ее не слышал.

- А скажите, - повернулся он лицом к Марку, налегая локтями на стол, - для меня там сейчас нашлась бы работа?

- М-м-м... А кто вы по профессии?

- Инженер, конструктор горнодобывающей техники... Проще, моя специальность - угольные комбайны.

Марк помолчал, хмурясь, повел бровями:

- Не думаю... Скорее всего - нет... Даже наверняка - нет... Сейчас не до угольных комбайнов. Заводы стоят, шахтеры бастуют, им не то что новую технику покупать - за шесть-восемь месяцев зарплаты не платят. А что вы здесь делаете, чем занимаетесь?..

- Да вот... - Илья помедлил. - Карпет кладу... Развожу пиццу... - Он улыбнулся - стеснительной, беспомощной улыбкой, не вязавшейся с его крупным, прочно, по-мужски скроенным телом.

- Видишь, я же говорю: и там бы сейчас пиццу развозил, - гремя посудой, проговорила Инесса. - Только получал бы уж вовсе гроши... Пицца-то в России есть?.. - стараясь повернуть разговор, спросила она у Марка.

- Кажется, входит в моду, - сказал Марк. - Хотя я лично до пиццы не охотник.

- Я тоже, - усмехнулся Илья. - Поверите ли, меня от одного ее вида воротит...

- Как же вы... - Марк зевнул и, смутившись, прикрыл рот рукой. - Извините, перемена времени, все никак не привыкну... Так как же вы, - обратился он к Илье, - имеете с ней дело, если, говорите, от одного ее вида...

- Приходится... - вздохнул Илья. - Мало ли от чего здесь воротит...

- Илюша, разве тебе не хочется мне помочь?.. - оборвала его Инесса, должно быть, боясь и не желая, чтобы он продолжал. - Ты же видишь...

Она держала в руках поднос, уставленный грязными тарелками, высящимися горкой, которая, казалось, вот-вот развалится, обрушится на пол. Марк опередил Илью, пружинисто вскочил и перехватил поднос у хозяйки.

- Вот видишь!.. - упрекнула мужа Инесса, с притворным отчаяньем сцепив руки на груди и высоко вскинув округлые локти. В тот момент она была похожа на бабочку, которая раскинула крылышки, тщетно пытаясь взлететь...

- Куда прикажете?.. - спросил Марк, окинув ее быстрым, скольльзящим взглядом с ног до головы. Не меняя позы, привстав на носки, Инесса, словно на сцене, пританцовывая, прошла по балкону к распахнутой в комнаты двери. Марк, выставив перед собой перегруженный поднос, последовал за ней. Илья было поднялся, чтобы собрать со стола остатки посуды, но как-то безнадежно махнул рукой, сел и налил доверху свою стопку.

- За вас! - сказал он, подняв стопку и попеременно посмотрев на Марию Евгеньевну и Александра Наумовича. - От души!.. Вы не поверите... - Он хотел что-то сказать, но передумал, сделал рукой тот же самый жест, выпил и принялся расчищать стол. Но спустя минуту, остановился, наклонил к плечу голову и выставил вверх указательный палец:

- Вот... Слышите?..

Со стороны океана доносилась неясная, размытая расстоянием мелодия. Тем не менее, прислушавшись, можно было в ней ощутить какую-то странную, щемящую сердце смесь веселья и грусти, светлой, мечтательной меланхолии и затаенного страдания.

- Фрэнк Синатра...

Тихонько, себе под нос напевая и бормоча слова, которые ни Александр Наумович, ни его жена не могли разобрать, Илья отправился на кухню со стопкой посуды в руках.

Та же мелодия, но уже в полную силу звучала на берегу, когда после чая вся компания по предложению Инессы отправилась подышать и полюбоваться океаном вблизи. Как всегда, когда человек оказывается наедине с природой и все, что занимало до того его мысли, тревожило и грызло, кажется мелким, пустым, как бы вообще не существующим - в сравнении с тем, что существовало всегда и будет существовать вечно: морем, звездами, горными кряжами, так и теперь, на берегу, перед безмерным простором, в котором нет ничего, кроме воды и неба, куда-то прочь отлетело все - конвергенция, диссидентство, партократия, реформы, от которых зависит будущее России... Все, все это ушло, растворилось, рассеялось в теплом, пахнущем солью и водорослями воздухе, померкло в ярком, густом, трепещущем на водной глади свете луны, исчезло, поглощенное громадностью мира. В этой громадности ощущалась и громадность смысла или замысла, ради которого этот мир когда-то возник или был создан, однако замысел этот был смутен, загадочен, хотя, вероятно, включал в себя и те маленькие, ничтожные помыслы, которыми жили люди, каждый из них. Но связи между тем и другим было не постигнуть. И потому на какой-то миг все пятеро почувствовали себя размером и значением подобными песчинкам, которыми был усыпан пляж, а если точнее - щепками, принесенными океаном и выброшенными волной на берег Америки...

Но такие мгновения не длятся долго. По краям неба, приглядевшись, можно было заметить редкие, слабо мерцающие звездочки, к тому же время от времени по нему медленно и уверенно, по заранее размеченным трассам, плыли огни - ярче, крупнее, чем звезды, иногда их было сразу несколько, и они двигались в разных направлениях или навстречу друг другу, с неба доносился ровный, отдаленный самолетный гул - и оно уже не казалось таким громадным и загадочным. Со стороны шоссе слышался непрерывный, как рокот прибоя, шум пронесшихся мимо машин. Дома, расположенные за дорогой, походили на гигантские прозрачные кристаллы, наполненные светом, и еще - на пчелиные соты, увеличенные до невероятных размеров, источающие золотисто-медовое сияние. Пляж уже опустел, но там и сям еще виднелись люди, бродящие вдоль воды или, обхватив колени, сидящие на берегу. Кто-то плавал, кто-то барахтался на мелководье, повизгивал, рассыпая вокруг веера огнистых, искрящихся брызг. И были здесь куда отчетливей, чем с балкона, слышны слова исполняемой Фрэнком Синатрой песенки. Кто-то все время крутил одну и ту же пленку - и Александр Наумович, плохо разбирая на слух английскую речь, уловил припев:

Let's forget about tomorrow,

But tomorrow never comes...

Правда, это был всего лишь припев, означавший, по-видимому, что-то вроде "забудьте про завтра, ведь завтра никогда не приходит", Александр Наумович хотел спросить у жены, как перевести остальное, но почему-то раздумал.

Все уже сидели, расположась на заботливо прихваченной Инессой подстилке, покрытой мягким ворсом, когда заговорил Илья, по обыкновению, словно ни к кому не обращаясь, а глядя в океанскую даль, беседа с самим собой:

- Как-то раз, в самом начале, нас познакомили с одним американцем, привели его к нам домой, был переводчик, из наших, завязалась беседа, представлявшая, так сказать, «взаимный интерес»... Американец расспрашивал, кто я, откуда, почему эмигрировал... Я рассказал ему кое-что - как по нашей семье 37-й год прокатился, когда двух братьев отца расстреляли, как моя мать в детдоме росла, родители ее в ГУЛАГе погибли... И про Инну, которой после окончания хореографического училища с отличием напрямую сказали: «Здесь вам и таким, как вы, хода не будет... Уезжайте!..» И как потом ее выживали из

театра, прошло несколько лет, прежде чем ей дали танцевать Одетту и Жизель... Так вот, все это я рассказал американцу, и стало мне отчего-то стыдно и противно - мочи нет... Вышло, будто я жалуясь, прошу сочувствия... И я говорю: «Но все равно, несмотря ни на что, Россия - это моя Родина, мне было тяжело ее оставлять, я ее люблю...» Американец выслушал перевод - и смотрит на меня сердито, будто я его обманываю. «Как это, - говорит, - вы любите?.. За что?.. После того, что вы рассказали... Простите, - говорит, - но я вам не верю...» И я чувствую - ведь и вправду не верит!.. А что ему скажешь, как объяснишь... Да и что тут объяснять, когда у него башка на манер компьютера: все сложит, вычтет, просчитает и итог подберет... Но, может, в конечном-то счете он прав? И никакая это не любовь, а рабская психология? Своего рода мазохизм?

Никто ничего не ответил, да и вряд ли его внимательно слушали. Марк и Александр Наумович встали и, разговаривая, медленно прохаживались поблизости, Мария Евгеньевна слушала Инессу, которая, как и муж, за столом больше молчала и только сейчас что-то прорвалось в ней, хлынуло... Она была чуть ли не вдвое моложе Марии Евгеньевны, но та порой ловила себя на мысли, что в чем-то она, эта девочка, старше, зрелее ее, во всяком случае - опытней...

Между тем Александр Наумович говорил:

- Знаете ли, Марк, я отнюдь не во всем с вами согласен, отнюдь, но на кое-какие стороны вы мне открыли глаза... Действительно, мы кое в чем, должно быть, ошибались... Мы слишком верили, слишком надеялись - и за все, за все должны нести ответ... По крайней мере - перед своей совестью. Это драма всей русской истории: прекрасная, бескорыстная, исполненная самоотвержения интеллигенция - и в результате?.. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...» Но что было лучше: сохранить эту гнусную власть, основанную на лжи и крови?.. Нет, нет и тысячу раз нет!.. Но, Марк, я вам скажу... Только вам, даже Марии Евгеньевне не решусь в этом признаться... Ведь мы столько хлебнули при этой власти... Лучшая часть моей жизни ушла на исследование природы силлабо-тоники русского стиха... Я, как в нору, забрался в эту далекую от политики область, а писать и делать мне хотелось совсем другое... И все же ударов и колотушек мной было получено - не счесть... Я ненавижу этот строй, эту власть и ее присных... И все же... И все же, Марк, я иногда ловлю себя на мысли, что она была предпочтительней того хаоса, того маразма, который наступил за ее крушением. Сейчас страдают миллионы ни в чем не повинных людей, и у них нет никаких надежд на то, что будет лучше... Тогда были лагеря, психушки, бездарная цензура, да, но была надежда!..

- Нет, я с вами не согласен, - говорил Марк. - Все, что произошло, произошло к лучшему, и в этом прямая заслуга таких, как Сахаров, как вы... Без вас вряд ли было возможно сломать эту систему в столь короткий срок. Вы готовили к этому народ, объясняли, как грамоте учили, почему так жить дальше нельзя... Вы расчистили место, и на него пришли мы. К тому, как вы характеризовали нас, людей, скажем так, новой формации, можно добавить немало густых красок, но это не меняет дела. Да, сейчас России нужны такие люди, их энергия, их глубочайший интерес к тому, чтобы начатый процесс продолжался. Пусть этот интерес меркантильный, спекулянтский, безжалостный, но он лучше той спячки, того равнодушия, которые раньше были повальными. Именно в личном интересе - гарантия необратимости процесса. Вы скажете - мы жестоки?.. Да. Мы не считаемся с теми, кто слаб, стар, умственно неполноценен?.. Да, и еще раз - да. Но знаете, что мы выстроим вместо современного государства, если станем исходить из понятий гуманизма?.. Старомодную богадельню! Приют для нищих и бездомных! И только!.. Так что не сокрушайтесь, не терзайте себя, дорогой Александр Наумович. Вы свое сделали, осуществили, так сказать, свое историческое предназначение... Хотя действовали, как водится испокон века на Руси, уж слишком самоотверженно и бескорыстно, в результате чего и очутились здесь, на этом берегу... Но как бы там ни было, от нашего поколения вашему - низкий, как говорится, поклон...

Александр Наумович слушал Марка с нарастающим отвращением. Каждое слово его жалило, причиняло боль. «А что, если я ему просто завидую?.. - подумал он вдруг. - Завидую вот этой молодости, вере в себя... Завидую этим дурацким шортам, этой

ужасающей майке с пальмами и попугаями... Завидую тому, что он платит за номер по сто пятьдесят долларов в сутки - столько же, сколько нам с Машей положено по велферу в месяц...».

Какая-то туманная мысль, не мысль - неясное воспоминание всплывало и тут же тонуло у него в мозгу, мешало слушать... Наконец он вспомнил и даже остановился, радуясь, что память его еще способна пробиться сквозь пласты стольких лет...

- Я вспомнил, Марк, о чем мы разговаривали, когда вы пришли ко мне в первый раз. Помните - Чехов, спор с учительницей... Это было лет этак двадцать пять назад...

- Убей Бог, не припомню, - сказал Марк, мгновенно смягчаясь и меняясь в лице: он смотрел теперь на Александра Наумовича сверху вниз, улыбаясь ласково и предупредительно, как смотрят на детей или слабеющих разумом стариков.

- Мы разговаривали о «Вишневом саде», - с тихим торжеством в голосе сообщил Александр Наумович. - О Лопакхине... Вопреки вашей учительнице и школьному учебнику вы полагали, что это единственный положительный образ в пьесе, и я ничего не мог вам доказать!..

- Я и сейчас так полагаю, - сказал Марк все с той же мягкой улыбкой, от которой у Александра Наумовича где-то пониже затылка и между лопаток дохнуло холодом.

- Как я решилась?.. - говорила Инесса, лежа вполборота к Марии Евгеньевне. В бледном, сумеречном свете луны ее лицо казалось размытым, утратившим четкие очертания, только глаза блестели на нем так ярко, с такой пронзительной силой, что Марии Евгеньевне, как от резкого света, хотелось временами зажмуриться или стереть слезу. - Так и решилась, в одну ночь. Конечно, мы и до того столько думали-передумали, считали-пересчитывали, что выиграем, что проиграем... Тут как назло вдруг все сошлось: Илью повысили, назначили ведущим инженером проекта, квартиру дали новую в центре города, мне в театре главреж говорит: «Дура, ты же навсегда со сценой простишься, ты же себя потом проклянешь... Ты пойми, это же все равно что заживо в гроб лечь и велеть себя сверху землей присыпать, а потом разровнять, чтобы и следа никакого не осталось... А тут - хочешь, для тебя «Вестсайдскую» поставлю, хочешь - «Шелкунчика», «Болеро», за рубеж на гастроли поедем...» Ну, вот я металась - туда-сюда... А тут - помню, проснулась, темно, и тусклый такой фиолетовый свет на занавесках - от рекламы напротив... И вдруг - словно вспышка какая-то, озаренье: нет, больше не могу! Дышать нечем! Задыхаюсь!.. И еще минута-другая - задохнусь!.. И не нужна мне ни эта ваша квартира, ни «Вестсайдская», ни «Болеро», о котором столько мечтала... Ничего, ничего мне не нужно - от вас!.. Хватит! Не хочу больше ни ходить, ни танцевать на этой земле! Не хочу, чтоб и дети мои по ней ходили!.. Здесь, на этой вот самой земле погромы шли, от них один мой прадедущка, спасая семью, в Америку уехал, а у другого всех вырезали, его самого убили, одного отца моего, малолетку, чудом каким-то соседи спасли... Так потом он землю эту от немцев защищал, а в 53-м его из больницы прогнали - как же, «врачи-отравители», «убийцы в белых халатах»!.. А теперь?.. Перестройка, митинги, со всех сторон только и слышно - демократия, демократия... А в театре за моей спиной шепчутся: «Сионисты всю власть в труппе захватили! Думают, это им Израиль!..» А тут еще «Память», и в «Нашем современнике» статьи такие печатают, во всех грехах и бедах евреев обвиняют...

И вот я лежу в кровати и думаю: да как же это?.. Да что же тут размышлять и взвешивать-высчитывать?.. Вот, думаю, твои предки, темные, необразованные, всю-то свою жизнь прожили, не выезжая из местечка, а, значит, была у них и гордость, и человеческое достоинство... А ты?.. Сколько можно терпеть, чтобы тебе в глаза плевали?..

Бужу Илью, говорю: «Хватит! Ничего не хочу - хочу быть свободной!..» - «Надо подумать...» - «Оставайся, думай, надумаешь - приедешь, а я подаю документы...» Я понимала: ему будет труднее, чем мне, хотя ведь и мне было нелегко - бросить все, главное - сцену... Но в ту ночь что-то изменилось во мне, в какое-то, может, мгновение, которое созревало всю жизнь... Так птенец в яйце - растет-подрастает, пока - кр-рак! - не лопнет скорлупка... И здесь... Я вдруг почувствовала... И квартира, и друзья, у нас их немало, и театр... Что все это - важно... Не то слово... Что все это - моя жизнь, но кроме того - я еще

человек... А человек должен, обязан перед самим собой быть свободным... Чего бы это ни стоило...

- А поскольку человек свободен, - сказал Александр Наумович, ухватив последние слова Инессы, - то я решил искупаться... - Они втроем уже с полчаса прогуливались вдоль берега - он, Марк и Илья - и теперь подошли к тому месту, где сидели, вернее, лежали на песке Инесса и Мария Евгеньевна. - Было бы непростительно упустить такую возможность...

Александр Наумович, при всей погруженности в историю русского стихосложения и чтение диссидентской литературы, был неумолимо любознательным путешественником, объездил всю страну, от Кижей до Памира и Сахалина, для Марии Евгеньевны не было ничего удивительного в его желании прибавить к своей туристической биографии еще одну заманчивую подробность.

- Только недолго, - сказала она, - и не забудь про свои почки, хорошенько потом разотрись...

- Кстати, - сказала Инесса, - полотенце я тоже взяла, на всякий случай... Мы тут часто купаемся при луне... Илюша, ты с Александром Наумовичем?.. Пойди, окунись, а то комары заели... - На берегу в самом деле было много комаров, и становилось все больше. Но хотя всего лишь «пойди окунись» сказала она, Илья как-то странно, словно сбоку и откуда-то издали посмотрел на нее, отвел глаза, усмехнулся...

- А я останусь, - сказал Марк и растянулся на подстилке.

Они лежали трилистником - сблизив головы как бы в центре круга.

- Мы уехали, а спустя немного времени приехал Илья... - продолжала Инесса. - Я сказала себе и детям... Бореньке было четырнадцать, Яшеньке - тринадцать... «Свобода, - сказала я, - о, да, это прекрасно!.. Но за свободу надо платить...» Мы решили с самого начала: никакой помощи от родственников, надеемся только на себя!.. Мы сняли самую дешевую квартиру в самом скверном районе, в ней было холодно, сыро, по полу бегали мыши, к тому же хозяйка - кстати, из венгерских евреев - буквально издевалась над нами, кричала, что приехали даром хлеб есть, чтоб мы убирались в свою Россию... Никто никогда в жизни так на меня не кричал, да я и не позволила бы... А тут... Я сказала себе, что все стерплю, обязана стерпеть, ведь другая квартира обошлась бы нам дороже... Мы запретили себе жаловаться, мы сказали себе, что вывернемся, все преодолеем - сами!.. Мы радовались каждому заработанному доллару, и когда Боря с Яшенькой за целый день работы - они разносили, бросали в почтовые ящики рекламу прачечной - принесли по три доллара, это был праздник!..

Нет, наши дети не были неженками... Но только здесь они почувствовали себя сильными, самостоятельными... Почувствовали себя взрослыми людьми, понимаете - *людьми*, это главное... А я?.. Я сама? Раньше и помыслить себя не могла вне театра, репетиций, спектаклей... А тут оказалось, что могу... Могу жить без всего этого... Я работала в пошивочной мастерской, на фабрике игрушек, в норсингхеме, ухаживала за больными, беспомощными стариками, которые мочились под себя и не могли ни спустить ног, ни повернуться... И при этом знала, что ни от кого не завишу, то есть завишу только от себя, принадлежу только себе...

- А театр?.. - спросила Мария Евгеньевна.

- Я приказывала себе не думать об этом... Одетта-Одиллия должна порхать по сцене в белой пачке и на пуантах, а не носить горшки с кровавой мочой... Потом я занялась аэробикой, стала давать уроки, оказалось, за это хорошо платят... Ко мне пошли люди, нам стало легче жить... Хотя когда я приходила домой, мальчики кормили меня с ложечки - я бывала не в силах шевельнуть рукой... Но как бы там ни было, сейчас у нас есть все - квартира, две машины, без этого тут не проживешь, дети учатся в университете, жаль, вы их не увидите, сейчас каникулы, они гостят у своих приятелей в Канаде... Правда, это Америка, за все, что мы имеем, надо платить... Квартира, машины, мебель - ведь все в рассрочку... И так получается, что я работаю днем, Илья зачастую ночью... Друзей у нас нет, мы живем одиноко, я же говорю, ваш приезд - целый праздник для нас... А так... Земля для нас чужая, чужой и останется... Но думать некогда, хотя это, может быть, и

хорошо, тут надо думать о том, как зарабатывать деньги, на остальное тебя просто не хватает...

- И это вы называете свободой?..

Прежде чем ответить Марии Евгеньевне (вопрос был жесток, Мария Евгеньевна и сама это чувствовала, но то ли это было в ее характере, то ли в профессии, требующей максимальной ясности при постановке диагноза), Инесса помолчала, играя ракушками, выцеженными из песка. Она их легко и ловко бросала вверх, ловила, подхватывала лежащие на подстилке, бросала вновь - и полностью, казалось, отдавалась этой игре, похожая на маленькую, целиком увлеченную своей забавой девочку. Руки ее двигались при этом так плавно, с такой точностью ловили продолговатые, с острыми краями раковинки, так были гибки в запястьях, а пальцы, при всей их цепкости, казались до того лишенными суставов и похожими на узкие, удлиненные цветочные лепестки, что и Мария Евгеньевна, и Марк, наблюдая за Инессой, словно и сами были поглощены ее игрой, забыв о заданном вопросе.

Но Инесса о нем не забыла, и ракушки, казалось, не отвлекали, а, напротив, позволяли сосредоточиться на нем...

- Вот и Илья меня о том же спрашивает... - проговорила она наконец, следя глазами за взлетающими в воздух ракушками и не глядя ни на Марка, ни на Марию Евгеньевну, - а что я могу ответить?.. Я знаю наверняка одно - наши дети будут свободны, за них я спокойна...

- Очень хорошо вас понимаю, - сказала Мария Евгеньевна. - И наши дети так же считают. - Она вздохнула. - Пойду, посмотрю, как там наши купальщики...

Мария Евгеньевна поднялась, расправила платье и пошла вдоль берега, озабоченно вглядываясь то в сидящих на песке, то в бредущих по колено в воде, закатав штаны и высоко подняв юбки. Не замечая здесь ни Александра Наумовича, ни Ильи, она с неожиданной, неизвестно откуда взявшейся тревогой всматривалась в серебристо-черную даль, залитую лунным блеском гладь океана, трепетно-живую, покрытую мелкой зыбью...

...But tomorrow never comes,
But tomorrow never comes...

Сладкая меланхолия Фрэнка Синатры пронизывала воздух, в котором слабо и нежно мерцали огоньки, рассыпанные по широкой, образующей залив излучине берега, в небе, как покинувшие свое привычное место звезды, плыли золотые, синие, зеленые светлячки-самолеты, отовсюду веяло истомой, наступившей после жаркого дня, и бездумным, расслабленным покоем. Только вспышки выдвинутого далеко в океан маяка, с механической точностью загоравшиеся через равные промежутки времени, настораживали, намекали на какую-то фальшивинку в этом покое...

- У вас необыкновенные руки, - говорил Марк, лежа на животе и опершись о локоть, глядя на Инессу протяжным, немигающим взглядом. - Вы могли бы вообще не произносить ни слова и объясняться только жестами... Но вы это и без меня знаете...

Инесса смеялась - негромким, ею самой забытым грудным, воркующим смехом. Она отвыкла от таких взглядов, таких слов. Она знала им цену... И однако они были приятны, как легкая щекотка. Она не стала отдергивать руку, когда Марк бережно взял ее в свою, поднес к глазам и принялся рассматривать пристальным, изучающим взглядом хироманта.

- Вы разглядываете мою руку так, будто это музейная реликвия... - продолжая смеяться, Инесса попыталась - не очень, впрочем, настойчиво - высвободить руку, но Марк не дал.

- Это рука балерины, - сказал он и осторожно, не дыша, коснулся ее губами.

- Ну, это уж ни к чему... - Инесса потянула руку к себе, но Марк не выпустил ее, сдавил - маленькую и с виду хрупкую - своими волосатыми, сильными пальцами и стал целовать - порывисто, жадно...

- Вы сумасшедший?.. - Она вырвала руку и огляделась по сторонам.

- Немного...

- В первый раз вижу перед собой сумасшедшего бизнесмена...

- Я не только бизнесмен... Мы целый вечер толковали черт-те о чем, а мне так много нужно вам сказать... Мы должны встретиться... Прошу вас... - Взгляд у Марка был одновременно и молящий, и требовательный.

-Что-то их не видно... - сказала Мария Евгеньевна, вернувшись. - Может быть, я не там искала... - Вид у нее был не то чтобы растерянный - напряженный.

- А что их искать? - сказал Марк. - Никуда они не денутся, сами придут... И в Россию не уплывут... Александр Наумович, кстати, как плавает?

- Он от берега никогда не отходит...

- А Илья на воде может часами держаться... Он ведь из Керчи, на море вырос...

- Вот видите, - сказал Марк. - И нечего волноваться, нет никаких причин.

Он, однако, поднялся и стоял возле женщин, готовый принять участие в поисках - совершенно ненужном и глупом, с его точки зрения, занятии, когда заметил быстрым шагом идущего, почти бегущего к ним Александра Наумовича. Он задышался, его цыплячья грудь и бока с отчетливо проступающими ребрами дышали часто, судорожно, казалось, дыхание вот-вот оборвется... В одной руке он держал скомканную кое-как одежду, очевидно снятую перед купанием, в другой - туфли, и этой же рукой, отогнутым вбок мизинцем придерживал на носу готовые слететь очки.

- Ну, вот... - успокоительно начал было Марк, но Александр Наумович не дал ему договорить.

- Где Илья?.. Он здесь?.. Вы его видели?..

- Да ведь он был с тобой... Вы вместе... - Мария Евгеньевна после секундного облегчения вновь с тревожным недоумением вскинула брови.

- Где же он может быть... Где же он может быть... - бормотал, озираясь по сторонам, Александр Наумович.

- Ничего не понимаю, - сказал Марк. - Что случилось?.. Когда вы его потеряли?.. Где?..

Во время рассказа Александра Наумовича - понятное дело, сбивчивого и путаного - про то, как они долго искали подходящее место для купания, везде было мелко, Илья хотел найти, где поглубже, и ушел за сложенные из бетонных блоков буны, оставив Александра Наумовича поплескаться на мелководье, - одна Инесса сохраняла видимое спокойствие, лицо ее не только не выражало волнения или испуга, но, напротив, казалось затвердевшим, застывшим, с поджатыми губами и пустым, словно внутрь себя обращенным взглядом.

- Что же делать?... Что же делать?... - твердил Александр Наумович, продолжая в смятении шарить глазами вокруг и по-прежнему держа в одной руке туфли с распутившимися, свисающими вниз шнурками, и в другой - одежду. Марк без большого успеха выпытывал у него подробности. Мария Евгеньевна предложила пройти по берегу в обе стороны, выкликая Илью, и если что - вызвать спасателей, или как он здесь называется, этот сервис...

Инесса сказала, что останется на том же месте, чтобы всем не потеряться вконец, и будет ждать. Она даже попыталась приглушить охватившую всех тревогу, даже, улыбаясь, предложила Александру Наумовичу или одеться, или оставить свои вещи с нею, но не бегать по пляжу в таком встрепанном виде...

Оставшись одна - Марк и Александр Наумович отправились к бунам, Мария Евгеньевна - в противоположную сторону - Инесса села, обхватила руками колени, лицо ее было обращено к океану, холодный стеклянный блеск в глазах делал его безжизненным, как у слепых. Она сидела, потому что не могла ни стоять, ни бежать - ноги ослабли, обмякли, не слушались ее, словно из них вынули кости... «Нет, - думала она, - нет, нет, нет...» Но ей вспомнилось, как он посмотрел на нее, уходя... И каким скрыто-возбужденным был весь вечер... Он так хотел, так ждал этого дня, этой встречи, какое-то туманные надежды были у него, возможно, ему верилось - кто-то со стороны придет, подскажет, подтолкнет в направлении, до которого сам не додумался... Отыщется выход... Этого не случилось, наоборот... «Господи, спаси его... - твердила она, твердила не как

бессмысленную скороговорку, а вкладывая значение в каждое слово - кажется, впервые в жизни. - Господи, спаси его... Господи...»

«Как я могла не разглядеть этого психопата... - думала Мария Евгеньевна, торопливо, крупно шагая вдоль кромки набегающей на берег воды. - Типичный, законченный психопат... Сконцентрирован на себе, на своей идее-фикс... Живет рефлексиями, себя мучит и всех вокруг... Неумение вести себя адекватно обстоятельствам, вписаться в них - и отсюда вечная враждебность «я» и мира... Надо было не растревлять его душу разговорами, не дразнить, а беседовать о какой-нибудь нейтральной ерунде... Все мы делаемся неврастениками, если пытаемся думать, понять, что с нами произошло, что впереди...»

- Илья-а-а!.. - крикнула она несколько раз, сложив ладони рупором. - Илья-а-а!.. - Голос ее терялся и глохнул среди океанской шири, так ей казалось, хотя кричала она, изо всех сил напрягая связки. На нее смотрели с любопытством те, кто находился поближе, но с места никто не тронулся, океан, огромный и равнодушный, был безответен. Откуда-то взявшаяся тучка напозла на луну, стало темно.

Александр Наумович и Марк добежали до буна, того самого, за которым исчезла фигура Ильи, когда они с Александром Наумовичем расстались.

- Что же делать, Марк? Что можно предпринять?.. - говорил Александр Наумович. - Неужели Илья мог... Но тогда - где же, где он?..

«Не надо было ехать сюда... - металось у него в голове. - И было ведь, было у меня предчувствие... скверное предчувствие... (Никакого предчувствия у Александра Наумовича не было, он вообще не относился к тем людям, кто придает значение каким-либо предчувствиям, но сейчас ему представлялось, что оно было, было...) Не надо было ехать... Не надо было встречаться с Марком... Не надо было делать так, чтобы там, в России, не оказалось места для Ильи... Но откуда же я знал, когда молился на Сахарова, на Солженицына, что все кончится вот этим - этим вечером, этим берегом, этой водой... - Он вдруг увидел перед собой колышущееся в воде тело, рыбешек, проплывающих над ним пугливой стайкой. - Не может быть... Не может быть...» - говорил он себе. Ему показалось вдруг, что все, что было у него позади, было грандиозной ложью, обманом, в котором он сам так глупо и безызывительно принимал участие.

- Что делать?... - Марк сбросил майку, сбросил свои широкие, как юбка, шорты и остался в белом, плотно сидевшем на его бедрах подобии плавок. - Пойду, взгляну... Вдруг он решил нырнуть, прыгнул сверху и расшиб голову... Так бывает...

Бурно, с плеском, с брызгами, взметнувшись облаком, кинулся он в воду и поплыл вокруг бетонной, выдвинутой в океан глыбы. Плыл он красиво, сильными, несчастными гребками бросая тело вперед.

«Абсурд, театр абсурда... - говорил он себе. - Прилететь в Америку, выпить водки и отправиться искать утопленника... Какая связь?..» Дикой, невероятной была мысль, что человек, с которым какой-нибудь час назад он сидел за накрытым столом, разговаривал, чокался, запивая необычайно сочное мясо, запеченное в фольге... Им же, кстати, этим же человеком и запеченное... Что этот человек... Такой большой, неуклюжий, с потерянными, тусклыми глазами... И сам похожий на ребенка... На инфантильного, акселерированного подростка... Что он... Слишком дикой, невозможной была мысль об этом... Хотя отчего же... - Марк обогнул мощный, выпирающий из воды угол буна и нырнул, скользя рукой по его шершавой стенке, на глубине махристой от прилепившихся к ней водорослей. Вода, пронизанная лунным светом, была прозрачной, он ничего не заметил... Хотя отчего же... Марк помнил несколько случаев, один связан был с учителем географии, мягким, добрым человеком, позволявшим ученикам безнаказанно над ним издеваться... Его искали по всему городу, а обнаружили на кладбище, на могиле отца - здесь, в уединении, он выпил приготовленные таблетки, закурил, присел на скамеечку, стоявшую в кустах сирени, развернул газету... Его хоронили всей школой и каждый, Бог знает отчего, в душе считал себя причастным к этой смерти, вдвойне таинственной, загадочной, как это всегда бывает, когда речь идет о самоубийцах...

Марк плыл от одного буна к другому, нырял, всматривался в пустынную поверхность океана, не столько желая, сколько страшась увидеть то, что искал... Случаев самоубийств, известных ему, открылось не так мало, а вместе с тем возникло ощущение их заурядности, обыденности, и в этот ряд без труда встраивалось то, что происходило - уже произошло - сегодня...

Возвращаясь к тому месту, где оставалась Инесса, они увидели еще издали их обоих - Инессу и Илью... Они стояли, разговаривая, Илья широкой спиной почти заслонял Инессу, и в первое мгновение Марк и Александр Наумович решили было, что обознались, но Илья издали помахал им рукой, Инесса выглянула из-за его плеча и замахала руками тоже.

Не владея собой, Марк, подойдя, сграбастал Илью, бросил на песок (Илья не сопротивлялся) и, навалившись на него всем телом, тихим голосом выдал ему все, что само собой хлынуло из него в тот момент...

- Надо сказать, вы заставили нас пережить пренеприятные минуты, - сердясь и радуясь одновременно, проговорил Александр Наумович, когда оба, Илья и Марк, отдуваясь, поднялись с земли. - Так что же все-таки случилось?... Где вы были?..

- Мальчик решил порезвиться, - сказала Инесса. - Убить его мало!.. - Она привстала на носки и пару раз пристукнула Илью кулаком по лбу. - Как вам это нравится?.. - обратилась она к Марии Евгеньевне, которая только что подошла к ним.

- У меня нет слов... - По лицу Марии Евгеньевны, по ее опущенным глазам, вздрагивающим векам было видно, что она еще не пришла в себя.

- Нет, в самом деле, куда вы девались? - Александр Наумович пожал плечами. - Ведь мы уже думали, что вы... - Встретясь взглядом с Марией Евгеньевной, он не договорил, поправился: - Мы уже думали, что вы уплыли в Россию...

- Далеко, - сказал Илья. - Пришлось вернуться...

Он виновато улыбнулся, одними губами, через силу. Глаза его оставались грустными. И когда они оба - Илья и Инесса, то есть все-таки больше Инесса, чем Илья, рассказывая, как он решил доплыть до маяка, но не доплыл и повернул к берегу, постаралась обратить все в шутку, в несбывшийся рекорд для Книги Гиннеса, было заметно, что ни для нее, ни для него дело вовсе не исчерпывалось одной только шуткой, что тут все глубже, запутанней и серьезней. Однако никому не хотелось этого замечать, по крайней мере - сейчас...

Облегчение, овладевшее всеми после пережитого страха, оттеснило в сторону все остальное. Они еще не верили себе. Они похлопывали Илью по плечу, поглаживали по затылку, старались притронуться к нему пальцем, как бы проверяя и доказывая себе, что он - живой, ничего такого с ним не стряслось... Они еще не вполне оправились. Александр Наумович находился в не присущем ему заторможенном состоянии, после одинокого, однообразного существования обилие впечатлений этого дня давило на него. Он сидел в позе лотоса, которую принимал, когда старался успокоиться, и смотрел в океанскую даль. Мария Евгеньевна сидела от него несколько поодаль, и ее лицо, обычно сосредоточенное, энергичное, имело выражение безмятежно-расслабленное, она словно грелась в лунных лучах. Илья сидел между Инессой и Марком, Инесса тихонько поглаживала его локоть, другим локтем он упирался в локоть Марка, и это соприкосновение локтей, похоже, доставляло им обоим удовольствие.

Они остались на берегу одни. Позади шуршали об асфальт поредевшие машины, вода едва слышно накатывала на песок. Им не хотелось подниматься, не хотелось нарушать хрупкую тишину. Редкостное чувство избавления от нависшей, неминуемой, уже как бы осуществившейся опасности охватило их, с ним не хотелось расставаться. А может быть, напоминание о том неизбежном, что рано или поздно ждало каждого впереди, заставляло всех ощутить взаимную близость, так люди на плоту, который несет на скалы, принимают друг к другу, как будто это способно их спасти...

Небо уже не было таким пустынным, как раньше, небольшие облака в тонких серебряных ободках двигались по нему, то наплывая на луну, и тогда все вокруг темнело, то вновь освобождая ее блистающий диск, и тогда берег и океан опять заливало ярким,

струящимся светом. Была в этой переменчивости своя странная гармония... И было такое чувство, какое бывает у человека, ощущающего, что в полной мрака комнате кто-то есть - по едва слышному краткому шороху, по еле уловимому дыханию, по сгущению тьмы в какой-нибудь части ее пространства, - хотя все это, с другой стороны, может оказаться только выдумкой, мнительностью, игрой воображения, не в меру возбужденного или болезненного...

- Может быть, пойдем?.. - сказал Илья, поднимаясь. - Я только сейчас сообразил, там есть еще торт из «русского магазина», мы его даже не начинали...

Упоминание о торте, который их ждет, и все, что стояло за этим - балкон, уютная, красиво убранная квартира с привезенными из России эстампами по стенам, с большим телевизором и глубокими креслами перед ним, - все это отодвинуло случившееся на берегу, вернуло к привычной реальности. Все поднялись, Илья и Марк сложили подстилку, предварительно стряхнув с нее песок и похлопав ею при этом, как парусом.

Александр Наумович, стоя в сторонке, одевался, зашнуровывал свои старомодные туфли, с которыми не хотел расставаться, хотя дома у него стояли почти новые, купленные в секонд-хенде за доллар. При этом он думал (почему-то именно сейчас ему пришла эта мысль), что и он, и все они жили и еще продолжают жить в плену кажущихся им столь важными иллюзий, из-за них они спорят и порой ненавидят друг друга, на самом же деле все проще, и есть только этот песок, небо, вода и они сами внутри этого простого, не поддающегося сомнению мира. Но мир этот прост лишь на первый взгляд, в нем существует нечто важное, сложное и подлинное, оно больше, значительней, чем даже Россия, Америка или океан... Но тут многое следовало додумать, это был только начаток, зародыш мысли...

Потом они направились к дому - одной из нескольких вытянувшихся вдоль берега кристаллических глыб. Впереди не спеша шли женщины - Мария Евгеньевна вперевалочку из-за больных и вдобавок уставших за день ног, Инесса - приобняв ее, поддерживая за локоть. Мужчины шли, приотстав, беседуя о пустяках... Облака между тем густели, смыкались, луна оставалась все дольше закрытой ими, но, появляясь вновь, светила с удвоенной силой. И после всего, что случилось, у всех было какое-то светлое, легкое чувство и надежда, что можно еще что-то поправить, что-то изменить...

ЛАЗАРЬ И ВЕРА

Рассказ

Перед тем, как уехать в Израиль - документы были уже оформлены, билеты куплены, багаж отправлен - Лазарь выкроил денек и прилетел к себе, в «свой» город, хотя что уж там осталось-то «своего», если не считать кладбища?.. И вот здесь, на кладбище, сбоку от ворот, в аллеяке, где продавали цветы, он и увидел ее, но не узнал сразу, решил, что это ему показалось...

Цветов было много, торговки торопились их продать, опасаясь, что вот-вот хлынет дождь, по небу ползли тяжелые, грозно-лиловые тучи, и в упавших на землю полусумерках так ярко, призывно пламенели георгины и гладиолусы, так нежно трепетали на ветру, набегавшем порывами, хризантемы и астры... Лазарь выбрал несколько хризантем необычной, изысканной формы - густого кофейного цвета, с длинными и тонкими, как спицы, лепестками. Впрочем, какое это имело значение? Мать была женщина простая, на окнах у нее пунцовели обыкновенные гераньки, алел ванька-мокрый... Но Лазарь все-таки выбрал эти. Они бы, подумал он, распачиваясь, ей понравились, не могли бы не понравиться... И вдруг увидел точно такие же у женщины, направлявшейся к воротам. Не будь их, этих кивающих на ходу лохматыми головками хризантем, Лазарь ее, возможно, и не заметил бы. Но тут, помимо свисающих с локтя цветочных головок, что-то еще бросилось ему в глаза - стройная, узкая в талии

фигура, прямые плечи, длинная шея с прозрачным, вьющимся по ветру шарфиком... И потом - эти быстрые, легкие шаги... Более всего, может быть, именно эти шаги... В них ощущалось как бы стремление оторваться, взмыть над землей...

Однако пришло это ему в голову позже, когда он увидел ее снова, уже на центральной, прорезающей кладбище аллее, а тогда... Она?.. Не она?.. Она?.. Нет, нет, не может быть... Не может, не может быть... Не может... Почему - не может?.. Он бросил несколько бумажек нищим, дежурившим у ворот. Он никогда не подавал милостыни, считая ее пошлым лицемерием, но теперь задержался, роясь в карманах, только чтобы приотстать, пропустить ее подальше вперед...

Он шел по центральной аллее, вдоль которой, в соответствии с принятой на кладбище (да только ли на кладбище?..) субординацией, располагались могилы «отцов города», обнесенные островерхими, откованными из чугуна решетками, придавленные глыбами черного и белого мрамора, серого и розового гранита. Были здесь и могилы, судя по надписям, людей действительно известных и уважаемых, но Лазарь смотрел на те и другие, не отличая, смотрел, как чужой, как иностранец. Он давно уже сказал себе, что он чужой в этой стране, которой не было дела до него, и он платил ей тем же. Хотя с нею, с этой страной, связана была вся его жизнь, он отдавал ей - год за годом - все лучшее, что у него имелось... Но когда в институте стало известно, что он уезжает, никто, ни одна душа не потянулась к нему, не попыталась его удержать. Это его удивило, а потом даже обрадовало: так было проще... И уже не ощущалось ничего оскорбительного в том холодном равнодушии, в той отрешенности, которыми, казалось, был пропитан гниловато-сырой кладбищенский воздух. Он ехал сюда, чтобы порвать последнюю нить, тонкую шелковинку, еще соединявшую его с прошлым. На это потребовалось гораздо меньше усилий, чем он предполагал...

Клены и акации, росшие в оградках и между ними, теряли последнюю листву, ветер ее подхватывал, мел по асфальту... Лазарь заметил: там, впереди - уменьшенный расстоянием знакомый силуэт... Ее силуэт... Откуда он взял, что именно ее?.. Да хотя бы и ее... Он почувствовал что-то вроде озноба. Он вовсе не хотел ее встретить. После всего, всего... Что-то мутное, злобное поднялось, забурлило в его душе, он и не думал, что старые обиды, как летучие мыши, способны выпорхнуть из темных, тайных ее закоулков и так больно вкогтиться в ожившую память.

Ему захотелось тут же свернуть в боковую аллею, избавиться от маячившего впереди силуэта в синем строгом жакете, но только сейчас он, кажется, осознал - и осознал в полной мере, - что означают слова «помимо воли»... Ноги сами, помимо его воли, вели Лазаря за фигуркой, показавшейся ему вдруг такой хрупкой на фоне могильных оград, голых, словно судорожно вскинувших ветки деревьев, быстро темнеющего, начинающего чуть-чуть моросить неба. Незаметно для себя он прибавил шагу, широко, не по-кладбищенски разбрасывая свои длинные ноги, едва удерживаясь, чтобы не побежать, отчего-то боясь, что фигурка впереди пропадет, исчезнет, и теперь - навсегда...

Приближаясь, он уже слышал отчетливое, быстрое поцокивание ее каблучков по асфальту. На него удивленно смотрели - и те, кто оставался позади, и те, кто шел ему навстречу. Он никого не замечал, ему казалось, вокруг никого нет, они одни... Они?.. Он вдруг подумал, что ему чего-то не хватает в ней... Чего же, чего?.. Косы. Да, косы. Длинной, ниже пояса, с бантом на конце, из-под которого выглядывал озорной хвостик. Коса была толстой, туго заплетенной, солнце блестело на ней, рассыпаясь в мигучие искорки. Она как бы оттягивала голову назад, придавая ей слегка заносчивую, горделивую осанку, если же смотреть со спины, скользя взглядом вверх от самого кончика, она казалась упругим тугим стеблем, несущим большой, готовый раскрыться цветок.

Она остановилась и стояла к нему спиной, пока он не поравнялся с ней (куда было ему деваться?..). Только тут она обернулась - медленно, как бы с трудом, преодолевая сопротивление, повернула голову - и он увидел... Такое родное... Такое чужое лицо... Чужое, незнакомое... Оно сделалось еще красивей, словно эскиз, черновой набросок перешел в картину... Точеный, чуть вздернутый нос, высокий лоб, решительный - от виска до виска - разлет бровей и под ними - огромные, темные, цвета густого янтаря глаза,

смотревшие на него холодно, не пуская вглубь, скорее отталкивая. И голос - холодный, стеклянный:

- Лазарь?..

Не то утверждение, не то вопрос...

- Вера...

И его голос - ей в тон, такой же бесцветный, стеклянный. И отчетливое, отчаянное желание уйти, сбежать... Зачем - и ей, и ему - эта встреча?..

И снова:

- Ла-зарь... - уже другим, слегка отмякшим, оттаявшим голосом, как бы вслушиваясь в забытые и вдруг воскресшие звуки. - Ла-зарь...

- Вера...

- Между прочим, я сразу тебя узнала...

- И я...

- Там, у цветов...

- И я тоже...

- Почему же не подошел?..

- А ты?..

- Я?.. Была не уверена, что ты захочешь меня видеть... Решила: захочет - догонит...

- Как видишь, догнал...

- Вижу. - Она улыбнулась, лицо ее посветлело. - Ну, здравствуй!..

Вера протянула руку, он задержал ее в своей - маленькую, но крепкую, как бы желая удостовериться, что это в самом деле она, что это ее рука. И было мгновение, оба почувствовали, когда исчезло, пропало все, что стояло между ними глухой стеной... Не зрелый, даже несколько перезревший мужчина в балахонистом, слишком просторном для его тощего, долгового тела пиджаке, светлоглазый, с курчавой бородкой, присыпанной, как пылью, ранней сединой, и не женщина с порядком поблекшим лицом, с «гусиными лапками», бегущими от уголков век к вискам, с предательски провисающей складкой под подбородком, - юноша в бьющейся, парусящей на ветру штормовке, с гривой черных, дымящихся над головой волос, одновременно дерзкий и застенчивый, сильный и робкий, стоял перед тоненькой, яркой, ослепительной девушкой, в белом - «колокольчиком» - платье с золотым ореолом над головой со светящимися карими глазами, словно реющей над землей, растворяющейся в солнечных лучах...

Они стояли посреди дорожки, в первые минуты не зная, что сказать друг другу, о чем спросить...

- А у тебя точно такие хризантемы, как мои... Забавно, правда?..

- Забавно...

- Мне они нравятся...

- Мне тоже...

Он не замечал - обманывал себя, стараясь не замечать - ни тонких, как лезвие бритвы, морщинок, ни чуть наметившихся под глазами мешочков, тем более, что все те же ямочки вспыхивали у нее на щеках, над кончиками по-детски припухлых губ, на мягко очерченном, слегка выступающем подбородке, и те же были глаза - огромные, сияющие, с живым, застрявшим в янтарной их глубине играющим лучиком...

Вдоль аллеи шли люди, на них оглядывались, их лица никак не гармонировали с кладбищенской обстановкой, памятниками, тихой, скорбной печалью, веющей над ними, с отдаленными, но хорошо слышными рыдающими звуками оркестра, очевидно, над чьей-то свежей могилой...

- А помнишь, как я в первый раз пришел к вам домой?.. - невпопад сказал он.

Они учились в параллельных классах, и в «Сцене у фонтана» она была Мариной, он - Лжедмитрием, но перед новогодним концертом, они к нему готовились, она внезапно заболела, он отправился к ней проведать, и увидел ее - в жару, в кровати, в нижней мужской рубашке, белой, с длинными, по самые кисти, рукавами, расходящейся на груди, там не хватало пуговицы, а то и двух, и она то и дело поправляла, стягивала ворот рукой, маленькой, бледной, с остро проступающими косточками. Мать не хотела впускать его к

ней, но она, слышал он, крикнула: «Пусть войдет!» - и он вошел, повременив немного, пока она, вероятно, натягивала на себя эту непомерно большую для нее рубашку, оставшуюся, должно быть, от погибшего на фронте отца. Он, впрочем, ничего не заметил - ни этой рубашки, в которой она тонула, откинувшись на высоко, одна на другую положенные подушки, ни руки ее, сжавшейся на ворота в кулачок, ни узенькой щелочки, нечаянно распахнувшейся на груди, - он видел только ее горячие, блестящие от жара глаза, которых раньше не видел, не замечал. Посидев немного в кресле-качалке, заботливо пододвинутой матерью к ее постели, он ушел с ощущением праздника в сердце, и все вокруг - люди, дома, вывески, крыши, небо - все лучилось, исходило ярким, праздничным светом...

- «Ты ль наконец? Тебя ли вижу я?..» - процитировал он, смущенно усмехаясь. - Ты помнишь?.. «Одна, со мной, в сиянье тихой ночи...».

- «Часы бегут, и дорого мне время...» - без запинки подхватила она, смеясь. - Только не «в сиянье», а «под сенью...» - Но лицо ее тут же посерьезнело, что-то в нем изменилось, погасло. - Ты откуда?... Надолго?... И вообще - почему здесь?... Забавно: не встречаться столько лет - и встретиться на кладбище...

«Забавно... Забавно...». Да, да, ее словечко, уцелевшее с тех времен... И в правом уголке рта (оказалось, он помнил и это) один зуб краешком набегаёт на другой... И эта легкая, едва заметная шепелявинка...

Лазарь, сам не зная отчего, уклонился от внятного ответа.

- Я прилетел утром, ночью улетаю... А ты к кому?.. - Он кивком указал на цветы, которые Вера держала в руке, головками книзу.

- К маме.

- Вот как... - Он помолчал. - И давно?..

- Десять... Нет, уже двенадцать лет...

Он вздохнул, мягко тронул, пожал ее локоть.

- А ты?..

- И я... У меня родители... Они тоже здесь, на еврейском кладбище...

Территория городского кладбища, расширяясь, постепенно захватила, слилась с расположенными неподалеку друг от друга мусульманским, еврейским, армянским, красноармейским, как оно с военной поры называлось, на нем хоронили умерших в госпиталях, ставя на могилах крашенные суриком деревянные пирамидки с фанерными звездочками наверху.

- Вот как...

- Да, и тоже давно... Моего отца ты не знала, а мать, должно быть, помнишь...

- Тетю Соню?... Еще бы... - Вера искоса бросила на него странный взгляд и торопливо спрятала, опустила глаза.

Лазарь не поверил себе, ощутив в ее лице еле приглушенную враждебность.

- Может быть, ты проводишь меня?.. Мы ведь так ничего и не знаем друг о друге...

- Да, да, конечно...

Вопреки готовности, с которой он произнес эти слова, Лазарь и в себе ощутил ответно шевельнувшуюся неприязнь, старую, тяжелую, как могильная плита, обиду...

Они свернули с главной аллеи в боковую, потом по виливающей из стороны в сторону тропке, углубились в ту часть кладбища, где и памятники были поскромнее, и оградки попроще, без вычурностей. Вера шла впереди, не оглядываясь, ее крепкие, стройные ноги мелькали так быстро, словно она стремилась убежать от него, мало того - от себя...

Они постояли у могилы, поросшей темно-зеленым барвинком, с кустом сирени в изголовье, в конце бабьего лета внезапно, по второму разу выбросившим несколько пышных лиловых соцветий. Вера принесла веничек и лопату, припрятанные в лопухах, растущих вдоль кладбищенской стены, они прибрали могилу, подмели присыпанную желтым песочком дорожку, Лазарь принес воды, ведро, тряпки, банку для цветов - все было здесь, на месте, заранее припасено, и пока Вера, сняв жакет и закатав рукава белой кофточки, протирала мокрой тряпкой плиту из розового гранита, Лазарь окапывал и поливал землю под сиренью. На вделанном в гранит медальоне была фотография еще не старой женщины с добрым, расплывшимся лицом, мягкой полуулыбкой на полных губах,

смотрящими, казалось, из какой-то далекой дали умудренно-печальными глазами... Он хорошо помнил этот взгляд. После того раза, когда он словно впервые увидел девочку из параллельного класса, которую привык видеть - и не видеть - в школе, ноги сами приносили его к дому, где жила она; он бродил под ее окнами в поздних вечерних сумерках, стараясь быть незамеченным, или стоял подолгу под раскидистой акацией, посреди пустыря, оттуда тоже были хорошо видны ее окна. Опершись о ствол спиной, ощущая лопатками его корявую кожу, он смотрел на оранжево-желтый прямоугольник на втором этаже, рассеченный переплетом рамы на шесть квадратов; сознание, что она где-то рядом, делало его бескорыстно счастливым... Однажды здесь застиг его грозовой ливень - с оперным грохотанием грома, вспышками молний... Он стоял, несмотря на густую листву, до нитки промокнув, пока из подъезда к нему сквозь стену дождя не метнулась какая-то темная фигура, накрытая с головой плащом. Это была Мария Алексеевна, чье лицо теперь он видел на овальном медальоне. «Что же ты стоишь, дурачок?.. Разве можно...» Пока он согревался и подсыхал, облаченный в чистое, вынутое из комода белье с затвердевшими складками (видно, все из того же бережно хранимого и ненужного теперь запаса), обе, Вера и Мария Алексеевна, хлопотали вокруг него, поили чаем, подкладывали малиновое варенье из тонконогой вазочки... С того дня он сделался здесь своим, и когда к Вере забегали подруги, никто из них не удивлялся, заставая Лазаря в ее комнате - то за уроками, которые они готовили вместе, то просто в кресле-качалке, с книгой в руке... Своим был он здесь и потом, когда оба стали студентами, поступили в институты - он в строительный, она - вслед отцу и матери - в педагогический. И все оставалось таким - вплоть до разрыва...

То ли тучи, сплошняком затянувшие небо, то ли фотография Марии Алексеевны напомнила ему о ливне. Оказалось, и Вере он запомнился. Когда Лазарь упомянул о нем, отчужденно-хмурое лицо ее посветлело, плотно сжатые губы раздвинула летучая, как рябь на воде, улыбка, в глазах приоткрылась - и тут же, впрочем, пропала - когда-то кружившая ему голову прозрачная, янтарная глубина...

Могила была прибрана, решетка обновленно блестела, покрашенная черным лаком. Укоротив длинные ножки, Вера поставила хризантемы в стеклянную банку, наполнила ее водой, поместила в лунку перед изголовьем и для устойчивости присыпала по бокам землей. Делала она все это старательно, подробно, похоже, стремясь оттянуть момент, когда ничто уже не будет отвлекать их друг от друга... Но он наступил. Они присели на скамеечку внутри оградки, соприкоснувшись плечами, скамеечка была коротенькая, на ней и вдвоем было тесно... Случайное это соприкосновение, однако, сблизило их больше любых слов.

- Как ты жила все это время? - спросил Веру Лазарь, закурив и отгоняя ладонью дым в сторону.

- Как жила?.. Ничего интересного. Ты лучше расскажи о себе.

- Сначала ты.

Она пожалала плечами:

- Хорошо... После института работала в сельской школе, по направлению... Там же вышла замуж, за учителя по труду, он был единственный мужчина у нас в коллективе... Федя простой, хороший парень, мастер на все руки... Меня он любит - больше, наверное, чем я заслуживаю... - Вера вздохнула, одернула юбку на коленях. («А ты?» - хотелось ему спросить.) - У нас двое девочек, сын, уже студент. Дочки кончают школу, одна в девятом, другая в десятом. Хорошие ребята, хотя совсем не такие, какими были мы... Может быть, оно и к лучшему... Я бы могла рассказывать о них бесконечно, только вряд ли тебе это интересно...

- Мне интересно... Все, что связано с тобой... - Он положил поверх ее руки, лежавшей на колене, свою, стиснул тонкое, показалось ему, хрупкое запястье. Вера высвободила руку - словно для того, чтобы поправить распушенные ветром волосы.

- Как видишь, ничего особенного... Марины Мнишек из меня не получилось... Обыкновенная училка русского языка и литературы. Правда, заслуженная... - Она с шутливой важностью вскинула голову. - В прошлом году наградили значком...

- Тебе нравится школа? - Он мог не спрашивать - он помнил, с каким восторгом, нет, обожанием вилась вокруг нее малышня, когда они учились, и с каким удовольствием и как всерьез Вера с ней возилась...

- О да!.. - Она встрепенулась, зажглась. - Школа - это моя жизнь!.. - Однако, повернувшись к нему озарившимся вдруг лицом, уловила что-то такое в его глазах, что помешало ей продолжить. - Но об этом в другой раз...

- Другого раза не будет. - Голос Лазаря прозвучал так глухо, что он и сам удивился - это был не его, чужой голос.

Он поискал, куда бы бросить окурок, достал из кармана какую-то бумажку, завернул, сунул в карман. Потом вынул новую пачку сигарет, распечатал, закурил. И пока говорил, курил не переставая, зажигая одну сигарету от другой.

- Ты слишком много куришь...

Он не обратил внимания на ее слова. Точнее - обратил, они царапнули, резанули его: «Ты слишком много куришь...» - и это все, чем она могла ответить на его рассказ о том, когда и как родилась у него мысль об отъезде, как она подчинила себе все, сделалась доминантой в его жизни... «Ты слишком много куришь...» Впрочем, что еще могла она сказать?..

Ветер прошумел в гуще сросшихся кронами деревьев. Остро пахло предгрозовой свежестью. Несколько первых, тяжелых капель упало на них, но оба ничего не замечали.

- Ты хорошо все взвесил, обдумал?..

- Да, тысячу раз. Тебе это трудно понять, но мое место - там. Я не хочу быть подонком...

Он передернул плечами, пытаясь унять пронизавшую его дрожь.

- Ну, да... - вздохнула она. - Ты все такой же, как раньше... Ничуть не изменился...

В движении, которым она притронулась к его плечу, была такая горячая нежность, что у него на секунду занялось дыхание.

- И ты... - пробормотал он. - И ты такая же...

Возможно, громыхнувший где-то гром и ветер, брызнувший в них дождем, охладил обоих, заставил почувствовать фальшивость их слов... Они поднялись, оборвав разговор.

- Я с тобой, - сказала Вера.

- Это ни к чему. Ты же видишь, каждую минуту может хлынуть...

- Ничего... Говорят, из большой тучи - маленький дождь... И потом, - она потрянула сумочкой, - у меня зонт, если что, он и тебя прикроет...

Еврейская часть кладбища производила впечатление покинутости, заброшенности. Большинство могил заросло травой, памятники осели, покосились, решетки порыжели от густой ржавчины. Пока разыскивали могилы родителей Лазаря, он читал на ходу частично забытые, частично запомнившиеся с детства, частично незнакомые имена: Мильчик, Шварц, Абрамсон, Сокольский, Альтшулер... Казалось, весь город переселился сюда, и люди, плохо или никак не знавшие друг друга, встретились и зажили единой семьей... Впрочем, благостно-печальному настроению, охватившему было Лазаря, мешало то, что на иных могилах фотографии были поцарапаны, на других выколоты глаза, на некоторых - там, где изображен могоендовид, - виднелись - россыпью - щербинки, словно от бьющих в упор автоматных очередей, хотя, конечно, автоматы - это было бы слишком, скорее всего это были следы от камней, но у Лазаря, когда он заметил их, потемнело лицо, взбугрились скулы...

Они постояли молча около двух поросших травой холмиков. Серые, прочно врытые в землю плиты сохранились в целости, только фотографии потемнели, местами на них расплылись бурые пятна. На одной был отец Лазаря - грубоватое лицо с крупным носом, бритым, как у боксера, черепом и добродушно-уверенным взглядом здорового, рослого, физически сильного человека. Хоронить его пришел весь лесотарный завод, на котором он проработал чуть ли не всю жизнь, последние годы начальником ящичного цеха. На втором снимке была мать - круглое, одутловатое, почти без подбородка лицо, тревожные, даже испуганные глаза в оправе несоразмерно больших очков... На самом деле была она другой

- живчиком, хохотушкой и, как ни странно, коротышка с выпуклым яйцевидным животиком хорошо смотрелась рядом со своим великаном-мужем...

Дождь то начинал мелко, нерешительно накрапывать, то прекращался. Они складывали в сторонке битый кирпич, осколки стекла, куски проволоки, жестянки, Лазарь уносил все это в конец кладбища, сбрасывал в груды такого же мусора. В кустах отыскивались два мятых ведра с пробитыми днищами, Лазарь кое-как наладил их, и ему было в чем носить.

На кладбище в двух или трех местах виднелись люди, делавшие ту же работу, что и они. К ним вперевалочку подошла толстая пожилая женщина с черной, туго повязанной косынкой на голове, в перепачканных землях шароварах, попросила открыть баночку с краской.

- Простите, вы что - тоже уезжаете?.. - спросила она, когда Лазарь - не без труда, впрочем, - скovyрнул плотно сидевшую крышку. - Вот и мы... - сказала она, не дожидаясь ответа. - Все говорят - надо ехать... А как, ответьте мне на вопрос, как ехать, когда тут прожита вся жизнь?..

Женщина дышала шумно, с астматическим присвистом, ее печальные коровьи глаза с тоской смотрели на Лазаря, складка под подбородком дрожала, казалось, женщина вот-вот заплачет.

- У вас там кто-то есть?... У нас, представьте, ни-ко-го...

- Мама!.. - окликнул женщину молодой сердитый голос. - Иди сюда, ты мне нужна!..

Женщина вздохнула и, тяжело ступая и покачиваясь, направилась к могиле, где выпалывала траву невзрачная на вид, черненькая девушка.

- Между прочим, что же все-таки тогда произошло?.. - Лазарю не нужно было уточнять, оба помнили, о чем речь, и понимали неизбежность заданного Лазарем вопроса.

- А ты что же, так ничего и не знаешь?..

Устроив себе маленькую передышку, они сидели на мшистом пеньке.

- Нет, - отрубил, глядя в землю, Лазарь, - ничего. - Он курил, сигарета жгла ему пальцы, губы, но он, глубоко затягиваясь, не замечал этого.

- Забавно... - В ее голосе слышалось явное недоверие. - Очень и очень забавно...

- Не знаю, может быть... Но когда я вернулся с практики, ты уже уехала - на Урал, в село Медведевку... Так, в Медведевку?

- Так, - нехотя подтвердила Вера. И, вытянув из травяной трубочки стебелек, надкусила блекло-зеленый кончик.

- Видишь, я все помню... И потом не отвечала, сколько я ни писал... - Он сплюнул, помолчал, сдерживая накатившую вдруг откуда-то изнутри ярость. - У тебя что, пока меня не было, появился какой-то хахаль?..

- Дурак, - вспыхнула Вера. - Хоть ты и доктор каких-то там наук, по газетам знаю, а все равно - дурак. - Она отвернулась, он видел только ее затылок, завитки упавших на высокую шею каштановых волос. - Извини, но можешь ты объяснить, почему вы, мужики, такие дураки?..

От ее слов, ее тона у него немного отлегло от сердца. Он чувствовал себя так, будто все, о чем они говорили, случилось не двадцать пять лет назад, а вчера, и разговор их может что-то поправить, переменить...

- И все-таки... Что?.. Ты ведь, кажется, вскоре скаканула замуж?..

- А ты?..

Лазарь косо усмехнулся, подергал себя за кончик бороды.

- Это назло тебе... И тебе, и себе, и всему свету... Короче - с отчаяния...

- Вот как... Себя-то ты хорошо понимаешь, да только себя...

- Но я хочу понять и тебя тоже... Так что же случилось?..

Она грызла травинку, словно раздумывая, стоит ли отвечать. Стоит ли, надо ли...

- Так что же все-таки?..

- Хорошо, я скажу... - Голос у нее сделался сухим, бесстрастным. - Как-то раз я зашла к вам... Я ведь часто заходила проведать тетю Соню, почитать - мы их вместе читали - письма, которые ты ей присылал... Мы их читали, говорили о тебе... Мне казалось всегда,

что она хорошо ко мне относится, даже любит... И я тоже... Ну, если не любила, то для меня она была - не чья-нибудь, а твоя мать, и в этом все... И вот однажды она мне сказала, что хотела бы иметь для своего сына... Для тебя то есть... Жену-еврейку...

- Она так сказала?..

- Да, она так сказала.

- Глупости... Не могла она так сказать!..

Лазарь вскочил, потом снова сел. Он не мог, не мог поверить...

- И тем не менее она так сказала. Русская ей не подходит... Ей, тебе... В общем - вам...

Голос ее оставался по-прежнему сухим, бесстрастным, но каждое слово, которое Вера произносила, казалось, царапало ей горло.

Она так сказала?.. Он обернулся - они сидели к могиле спиной - и обескураженно посмотрел на мать. Они встретились взглядами - он и мать, смотревшая на него с памятника, с гранитной плиты, с розоватого, в черных ветвистых жилках гранита... Взгляд ее, пропущенный сквозь очки с массивной роговой оправой, был тревожен, упорен и нем... Она словно порывалась и ничего не могла сказать...

- Я шла домой... Не знаю, как тебе передать... Да, шла домой, как будто меня выгнали на улицу голой... Понимаешь?.. Нет, не то... Как будто меня всю исхлестали крапивой... Или обвинили в каком-то страшном грехе, преступлении. Я пришла домой - и три дня редела в подушку. Не могла понять, ничего не могла понять. Кроме одного: я вам чужая... Чужая... И навсегда останусь для вас чужой... Понимаешь - чужой, чужой... Не такой, как вы... И буду всегда это чувствовать, даже если никто мне не скажет ни слова...

Я редела три дня, а потом уехала. Уехала раньше времени, чтобы только не видеть тебя, не встречаться с тобой...

- Почему?..

- Не знаю... Может быть, потому, что была уверена - ты станешь меня уговаривать, переубеждать... Пожалуй, даже уговоришь... Но ведь это ничего не изменит... И потом, сказала я себе, да, я - русская, ну и что тут плохого?.. Преступного?.. Я вам не нужна?.. Ну, так и вы мне тоже не нужны!..

- И ты...

- Да, уехала, постаралась все забыть, вырвать из сердца... Выскочила, как ты сказал, замуж, ушла с головой в работу, нарожала детей... И вот теперь сижу с тобой и рассказываю, что да как... Не знаю, к чему мы затеяли этот разговор...

Вера тоже - вольно или невольно - оглянулась на памятник, он был в их разговоре как бы третьим. Лазарь заметил, как при этом враждебно насунилось ее лицо, изогнулись и сошлись на переносье пушистые брови, а глаза из прозрачно-янтарных снова сделались темными, непроницаемыми. Мало того - что-то мстительно-злорадное мелькнуло в ее взгляде... Ему стало не по себе от этого взгляда. И захотелось подняться, встать поперек, заслонить от него мать...

Пенек, на котором они сидели, был невелик, при каждом движении они касались друг друга - локтем, плечом, краем бедра... Ветер, налетая порывами, прядями ее волос щекотал ему ухо... Они сидели рядом - и в то же время были далеки друг от друга, как никогда.

...Однажды, после какой-то потасовки, случившейся по дворе, он прибежал домой:

- Ма, они говорят - я еврей... Я - еврей?..

- Да, глупенький, ты еврей.

- А ты?..

- Я еврейка.

- А па?..

- Он тоже еврей.

- Выходит, все мы - еврей?..

- Да, глупенький... Мы - еврей.

- А они?.. - Он показал на окно, за которым шелестела нежной листвой акация, плескались ребячьи голоса.

- Они?.. Они - нет... - Мать вздохнула, погладила его по голове. - Они не еврей...

- Ма, - сказал он, подумав, - а что такое - еврей?..

В тот ли, в другой ли раз она рассказала ему... Он этого не помнил. Но рассказанное ею запомнилось, обожгло - на всю жизнь: маленькая девочка с тоненькими, пружинистыми, торчащими в стороны косичками (он и сам не знал, отчего так явственно примерещились ему эти косички), с выпуклыми, стеклянными, как у лягушонка, глазами, в коротеньком платьице с голыми коленками («Мне было тогда столько же лет, сколько тебе...»), она стояла посреди черно-красной, густой, растекшейся по полу жижи... Она вернулась после того, как бегала с подружками на берег Днепра, к обрыву, где буйно цвела сирень, и там они, забыв обо всем, заигрались на ярком весеннем солнышке. У нее и теперь в кулачке, возможно, зажата была веточка сирени, свежей, пахучей... А вокруг - от стены до стены - все было залито кровью, и в том, что лежало на полу, в разодранной в клочья одежде, с рапоротыми от груди до паха животами, с вывалившимися наружу внутренностями, - во всем этом никак нельзя было признать ни мать, ни отца, ни маленьких и постарше сестричек и братиков...

Он рассказал ей о том, что знал со слов матери и что с детских лет с такой беспощадностью стояло у него перед глазами.

- Ты должна ее понять... - Он произнес это тихо, просительно, как бы извиняясь за мать.

- Но я-то здесь при чем?.. Я-то?.. - Румянец брызнул на ее щеки, полыхнул, залил огнем все лицо. В нем были гнев, досада - ей как будто предлагалось принять на своей счет все то, что случилось - где-то, когда-то...

- Кто же говорит, что - при чем...

- Но так получается!.. Вот забавно - это я, я в ответе за тех погромщиков!.. За то, что было сто лет назад!.. От этого зависит моя жизнь, судьба... Моя, твоя... Мы еще не родились, а все уже было предрешиено!.. Это же чушь какая-то! Дикость! Абсурд!.. - При каждом слове она в ярости колотила себя кулаком по колену.

- Не спорю... Но почему ты ничего мне тогда об этом не сказала, не написала хотя бы?..

- Ну, знаешь... Когда тебе указали на дверь, как-то не хочется снова в нее стучаться... Да и что мог ты сделать?.. Сказать?.. Что все это мещанство, предрассудки, пережитки прошлого, что с ними надо бороться?..

Лазарь усмехнулся:

- Наверняка...

- И потом... Потом взять и уехать в свой Израиль?..

Он помолчал, поиграл желваками, прежде чем ответить.

- Скорее всего - да.

- Значит, тетя Соня была права?..

Лазарь не сразу нашелся... Он вытянул из пачки сигарету, закурил, сделал две-три затяжки.

- А тебе не приходило в голову (он был не вполне искренен в этот момент), что она просто пожалела тебя...

- Меня?.. Пожалела?..

- Да... Пожалела и хотела уберечь...

- От чего?.. От тебя?..

- Нет... Скорее - от нашего еврейского счастья...

- И сломала всю мою жизнь?..

Она отвернулась и мизинцем выгнала проступившие между ресниц слезы.

Кладбище, и без того почти безлюдное, опустело. Мать и дочь, торопливо докрасив ограду, прощально помахали Лазарю и Вере и уже издали что-то прокричали, что-то вроде «До встречи!..» - Лазарь не расслышал - по небу от края до края, глуша все остальные звуки, прокатился гром.

Дождь мог хлынуть каждую секунду, но ни он, ни она не делали даже движения, чтобы подняться...

Поборов сопротивление - слабое, впрочем, - Лазарь взял ее руку в свою, спрятал в своей большой, широкой ладони.

- Посмотри, что происходит... Люди едут и едут... Куда, зачем?.. Чтобы жить по два-три года в вагончиках?.. И задыхаться летом от жары, а зимой мерзнуть в четырех стенах, ведь там не топят?.. И учить язык, то есть учиться заново говорить?.. И забыть, надолго забыть, что ты был врачом, учителем, музыкантом - убирать чужие квартиры, нянчить чужих детей?.. И слышать, как то там, то здесь взорвалась бомба, столько-то убито, столько-то ранено, и хорошо еще, если речь идет только о бомбе, каждый день можно ждать кое-чего похуже... И все-таки... Все-таки люди едут... Значит, есть причина?..

- И ты... И твоя жена (он почувствовал, как ее рука напряглась и легонько шевельнулась, словно желая высвободиться)... Она думает, как ты?.. Ведь ты ничего мне так и не рассказал о ней, о детях...

- Да, она думает, как я... Кстати, у нее все родные погибли в Рижском гетто.

- И вы решили?..

- Да...

Вера покачала головой:

- Но что ты там будешь делать?..

- Не знаю. Если понадобится - буду мести улицы, класть кирпичи, меня этим не испугаешь...

- Но ты - доктор наук... Тебе не кажется, что это - самоубийство?..

- Не думаю. Скорее самоубийство - оставаться здесь. Когда в метро на Пушкинской мне в руки суют фашистские листки, газетенки, брошюры, вплоть до «Майн кампф», а все вокруг бегут, спешат, никому нет дела... Мне кажется, начни завтра какие-нибудь молодчики расстреливать моих детей, все так же будут куда-то бежать, спешить, никто не остановится...

- Но там... Ты сам говоришь - что ни день, то взрывы, теракты...

- По крайней мере, там есть автоматы...

Потихоньку стало накапывать. Сквозь поредевшую листву акации, под которой они сидели, просочилось и упало на них несколько капель. Он сбросил пиджак, накинул его на Веру, но она, передернув плечами, высвободила одну полу и накрыла ею Лазаря. Теперь они сидели, тесно прижавшись друг к другу, Лазарь чувствовал, как сквозь его рубашку, сквозь жакет и белую блузку, в которые была одета Вера, от ее плеча, ее тела струится к нему живое тепло.

- Говори... Что же ты замолчал?..

- Видишь ли, тебе это трудно понять, а мне - объяснить... Но если коротко, то нам надоело... Мы не собаки, которых можно по настроению приласкать, погладить или пнуть ногой... Мы не хуже и не лучше других, и мы хотим одного - чтобы к нам относились, как ко всем остальным... А там, куда мы едем... Весь этот жалкий лоскуток земли, из-за которого столько шума, можно накрыть тюбетейкой... Но эту землю нужно устроить, обжить, защитить, чтобы люди, если придется, не клянчили больше, не молили - о помощи, об убежище, как это было, когда не где-нибудь, а в самом центре Европы, и не когда-то, а в середине двадцатого века, при общем молчании их, как скот, гнали на убой, в газовые камеры... Миллионы, миллионы людей...

- Страшные вещи ты говоришь...

- Страшен мир, где такие вещи возможны...

Они помолчали. Она приникла к нему, как если бы хотела от чего-то защитить или, напротив, сама ища защиты. Ветвистая жилка у нее на виске оказалась возле его губ. Целуя, он зарылся носом в ее волосы, вдохнул их давно забытый цветочный, луговой аромат...

Потом они пытались, но без успеха, спастись от дождя, притиснувшись к стволу приютившей их акации. (При этом Лазарю на ум пришел пустырь перед Вериним домом и та, давнишняя гроза...). Вера вспомнила про зонтик, Лазарь его развернул и поднял над головой, придерживая другой рукой пиджак, накрывающий обоих. Дождь, долго копивший силы, между тем припустил вовсю. Он хлестал тяжелыми, упругими струями по

земле, по памятникам, по могильным плитам, его брызги, отскакивая от мрамора и гранита, клубились над полированной поверхностью, висели в воздухе сплошным туманом. Все дали заволкло плотной сизой пеленой. Сквозь ливень, как сквозь мутное стекло, виднелись горбатые, никнувшие к земле кусты сирени, надгробья, которые казались ожившими, жмущимися друг к другу. Взбаламученные потоки бурлили среди могил, сливались, пузырились, волокли обломки ветвей, палую листву, креповые ленты с венков, раскуроченные, сорванные с деревьев вороньи гнезда...

Вера стояла, прильнув к Лазарю, припав головой к его груди. Манипулируя зонтом, он старался хоть немного уберечь ее от хлестких струй, бьющих то отвесно, то наискось, но по щекам ее бежали крупные капли. Впрочем, он был не уверен, что это дождь...

Они стояли под зонтом, единственной их защитой, а дождь все лил и лил. Казалось, хляби небесные разверзлись и затопили всю сушу. Молнии вспарывали небо, зловеще озаря мертвенным фиолетовым светом все пространство. Грохотал гром. Вокруг островка, который с каждой минутой все больше размякал и таял у них под ногами, бушевал потоп, и было похоже, что от всей тверди земной остался только этот жалкий, ничтожный островок, да и тот вот-вот утонет, скроется под водой...

ИСКУССТВО



ЮРИЙ ГЕРТ

ПАРАДОКСЫ ИОСИФА СУРКИНА

Искусство - всегда чудо, на этот раз - втройне, поскольку воедино сплелись три чуда, три парадокса...

Парадокс первый. До поры до времени жил Иосиф Суркин, мало или даже совсем не задумываясь о своем еврействе. Хотя жизнь его в основном была связана с Киевом, то есть с тем самым прославленным Шолом-Алейхемом Егупцом, где за двенадцать лет до рождения Иосифа прошел знаменитый процесс Бейлиса, а за семь - в 1918 году - разразился страшный еврейский погром. Но жил он, как все, во всяком случае - как многие: «сталинские пятилетки», голод, ежовщина... Какая уж там Палестина, какие мечтания о Земле Обетованной!.. Началась война - он ушел на фронт и закончил ее лейтенантом, командиром взвода зенитчиков, побывав и на Висле, и под Берлином, и в Праге. Даже во время стремительного наступления, минуя один из «лагерей смерти» с чудовищными сооружениями, с помощью которых уничтожали здесь тысячи и тысячи людей, он думал не столько о евреях, главных жертвах таких лагерей, сколько обо всем советском народе, о фашизма - одинаково ненавистном для всех... А впоследствии случился в его жизни смешной эпизод. Позади был Бабий Яр, «борьба с космополитами», «дело врачей»... Иосиф подал заявление об уходе - в организацию, где работал скромным экономистом. Вокруг зашелестело: «Суркин-то уезжает... Известно - куда... Все они такие...» Начальство всполошилось, задергалось в предчувствии неприятностей: «Вы же советский человек - и вдруг... Не хо-ро-шо...» Иосиф успокоил: уезжаю, да только не на Ближний Восток, а на Дальний... И показал билет, где значилось: Магадан. Ехал он туда заработать на кооперативную квартиру: его семья ютилась на шести квадратных метрах, а он не был ни работником обкома, ни - по меньшей мере - завбазой... Да, он был «простой советский человек», Иосиф Суркин...

Что же дальше?... А дальше... Прожив более шестидесяти лет в Союзе, только в Америке он ощутил себя... ч е л о в е к о м !.. И не «простым», а сложным... И не «советским», возникшим в 17-м году, а старше... Гораздо старше... Этак на две-три тысячи лет...

А случилось так, что как-то раз слепил он для своей внучки, точнее - правнучки, Эсенки собачку... Потом что-то еще... И почувствовал, что пальцы его тянутся к глине, что им приятно ощущать ее податливость и прочность, что она, глина, моментами начинает жить как бы сама собой, принимать форму... И руки, пальцы вступают с нею в таинственный, обоюдорадостный контакт...

В Вене, той самой, где когда-то побывал он со своими зенитчиками молодым лейтенантом, еврейская община подарила ему Библию, там он впервые коснулся ее страниц. Книга Исхода... О да, вокруг него - не пустыня, а красивейший, благоухающий цветами город, и не ослы и верблюды бредут по раскаленным пескам, а мчат по широким шоссе машины, в небе гудят самолеты... Но если разобраться, так ли уже много изменилось за эти тысячи лет?..

Он вылепил Моисея - развевающаяся одежда, взлохмаченная, падающая на грудь борода, поднятые в благословляющем жесте руки... Потом рядом с Моисеем встал еврей, прижимающий к груди свиток Торы; Стена Плача с прикишкой к ней головой молящегося - кажется, что это не мертвые камни, что в них стучит, бьется бессмертное сердце народа, струится его многострадальная кровь. А вот - трое, читающие Книгу Книг, три еврея, три человека, вынырнувших из потока ежедневной суеты, внимающих голосу вечной мудрости: не сотвори себе кумира... Не убий... Не укради... А вот и совсем иные характеры: продрогший на верту мальчик, торгующий папиросами; жители местечка с колоритными лицами и жестами, они обсуждают новость - то ли о предстоящем погроме, от ли о том, что их сосед собрался в Америку... А дальше - музыканты, скрипачи... Ах, что бы там ни случилось, а ты, скрипочка, играй, плачь или радуйся, печалься или смейся - только играй, живи, не умирай, не поддавайся тем, кто жаждет растоптать тебя, разбить, заставить замолкнуть... И вот уже обращенное к небу в предсмертной муке гневное, страшное лицо женщины: как можешь ты, Господи, смотреть на то, что творят с нами, бросая в печи наших малюток, насилуя дочерей, закапывая в землю живыми наших матерей и отцов? Как можешь ты на это смотреть?..

С тех пор, как Иосиф Суркин вылепил первую скульптуру, прошло несколько лет, сейчас на стеллажах, почти целиком занимающих его комнатку, около ста работ. Разглядывая их, скульпторы-профессионалы дивятся: до чего талантливо! Выразительно! И только подумать - без всякой школы, учебы!.. Для меня же парадокс в другом: как в человеке, внешне далеком от всего еврейского, пробудился Еврей?.. Хотя такой ли уж это парадокс? Может быть, у каждого случается в жизни так, что в какой-то момент все, скопившееся за долгие годы, как будто и не оседавшее на дно души, а скользившее мимо, соединяется в одно - и мы вдруг ощущаем себя не развеянными ветром песчинками, а звеньями в цепи, растянувшейся в веках, уходящей другим концом в вечность...

Парадокс второй. Однажды Альберта Эйнштейна спросили: «Верите ли вы в Бога?» Он ответил: «Я верю в Бога Спинозы, который открывается нам в гармонии всего сущего». Не думаю, что Иосиф Суркин читал Спинозу (до того ли было!..), не знаю, известны ли ему слова Эйнштейна, но главная мысль обоих, представляется мне, очень ему близка. Я обмолвился о скрипачах, музыкантах... Но в творчестве Иосифа Суркина «музыкальная тема», особенно в последнее время, занимает немалое место. Скрипка и воздетый над нею смычок... Пальцы, бегущие по клавишам... Гриф виолончели, как бы ставший продолжением охватившей его руки... Когда смотришь на эти подчеркнута-лаконичные скульптуры, кажется, музыка начинает звучать, воздух - вибрировать от ее звуков... Как, почему?.. Разве для нашего времени, а по сути - для всего XX века, характерна не дисгармония, не какофония жизни, полной трагедий, крови, нравственного одичания? Не отрицание ли стройного, утверждающего, гуманного начала, нашедшее самое законченное выражение в Холокосте, - предмет современного искусства, предмет размышлений и творчества многих художников?.. Но еврейство в глубинах своего сознания всегда, несмотря ни на что, хранило идею торжества справедливости, неизбежности победы добра над злом, гармонии над хаосом. Идея эта по временам становится все более сомнительной, однако не это ли, вопреки всему, многократно увеличивает ее ценность?.. «В мелодию преобразили шум...» Не в этом ли - высшее

назначение искусства? В прозрении - там, за хаосом и трагичностью жизни, - гармонии, смысла, далекой и прекрасной цели?.. Когда я смотрю на «музыкальные образы» Иосифа Суркина, мне кажется, что он участвует в этом трудном для нашей эпохи поиске сокровенной истины, потаенной красоты... Несмотря ни на что... Несмотря ни на что...

Парадокс третий. Иосиф Суркин и все его большое семейство - в Америке, где жизнь отнюдь не «течет млеком и медом», как мыслится многим в России. Но Иосифу Суркину и его жене, врачу, посвятившему почти сорок лет жизни лечению людей, нравится здесь, в Америке, все - начиная от Конституции, с которой они подробно знакомы, получая американское гражданство, и кончая модами. Но значит ли это, что Россия, все русское ими забыто, выброшено из памяти?..

Испанские евреи привезли в Америку не только ладино, немецкие - не только реформируемый иудаизм: они привезли с собой, хотя бы частично, ценности большой европейской культуры, в созидаании которой и сами участвовали. Следует ли путать, смешивать в одно Пушкина - с «чертой оседлости», Толстого и Короленко - с казачьей нагайкой и «черной сотней»?.. Кто знает, может быть, чувство гармонии, владеющее Иосифом Суркиным, родилось там, среди бесконечных русских равнин, под неярким русским небом, над прозрачной гладью Днепра?.. Так или иначе, «второе семейство» Иосифа Суркина - его глиняные, обожженные в муфельной печи человечки - тоже родом оттуда, откуда родом он сам. И хотя с той страной, его родиной, связано много тяжкого и горького, Иосиф лепит не испанских торреадоров, не французских пастушек, не английских робин-гудов, а тех, кто знаком и близок ему - по памяти, по книгам, по внутреннему чувству, в то самое время, когда его жена учит свою маленькую правнучку Эсеньку русскому языку, учит грамматическим правилам, пишет с ней диктанты... И дело тут не в ностальгии и не в великой, еще не оцененной по заслугам Западом культуре, а в том, что в Эсеньке, как и во всех наших наследниках, неизбежно сольются в гармоничное целое Пушкин и Уитмен, Ахматова и Дикинсон, Левитан и Мондриан, Чайковский и Гершвин... Парадокс?.. Да. Еврейский?.. Не только. Скорее в этом сказывается парадоксальность мира, которую выразил еврей Иосиф Суркин - в своем творчестве, своей судьбе...





МАРИНА СТУЛЬ

Страницы из блокнота

ТАЛАНТУ ГОДЫ НЕ ПОМЕХА

Представьте себе: человеку за 70 лет; в прежней жизни, в России, он не имел никакого отношения к художественному творчеству, был просто экономистом. Ну, не совсем так просто: интеллигентный человек - много читает, любит музыку, но в числе художников представить себя не мог. И вот пришел возраст, который принято называть

старостью, а он стал... художником. Точнее, скульптором. И никакого периода первых проб и ошибок, никакого ученичества: лепит свои мини-скульптуры из глины и поражает зрителя совершенством форм, гармонией замысла и воплощения. Озарение свыше? Чудо? Его друг и первый ценитель его работ так и назвал свой очерк, первый очерк о творчестве Иосифа Суркина: «Чудо на седьмом этаже». И меня позвали познакомиться с чудом.

Вижу творения удивительные. Вот человек припал к Стене плача, и на лице его такая мольба и такая вера!.. Чего просит у Бога, на что надеется? А вот совсем другой сюжет: нищий портной счастлив - удалось купить швейную машину. Надо видеть это восторженное лицо! Исполнилась мечта, теперь он столько сумеет сделать и, может быть, даже разбогатеет... А вот целая группа религиозных людей, читающих Тору, спорящих о Торе и даже переписывающих Тору.

Скорее всего, в этих скульптурах «бьется бессмертное сердце древнего народа, струится его многострадальная кровь». Голос крови? Генетика? Но у меня возникло иное впечатление. Более поздние работы Иосифа посвящены... музыке. Музыка - это самое тонкое выражение человеческих переживаний. Их трудно, да и не надо передавать словами. Одной из ранних работ была «Скрипач на крыше». А новая - руки контрабасиста. Совсем другие, чем у скрипача. Инструмент требует других усилий. А это - руки пианиста. Гибкие, нервные, трепетные. У них свой характер. И совсем другие, бесплотные и грозные, шесть рук мучеников Холокоста - память о шести миллионах погибших в тисках фашизма. Это руки припали к трубам органа, или это трубы печей, где сжигали людей? Трагизм и надежды переплетаются в новых работах Иосифа Суркина. Мне видится направленность эстетической мысли художника в утверждении многообразия человеческих переживаний, проявлений человеческого духа.

Меня волнуют композиции Иосифа Суркина, как, должно быть, волнуют каждого, потому что и мне свойственно искать выход, впадать в безверие и отчаяние, надеяться... Все, что увидела я на полках в квартире Иосифа, - это маленький музей человеческих переживаний, Он - импровизатор, творит свободно, испытывает радость от творчества. Он умеет подсмотреть и вернуть нам чувства: сомнения, радость, тоску одиночества. А человеку за 70... Чудо?

Драматург Виктор Розов, которому сейчас немало лет, недавно сказал в одном интервью: «Природа и возраст не только делают тело дряблым, но и высасывают духовные, особенно творческие силы. Это очевидно. Это биология». Хочется возразить Виктору Розову с... позиций сегодняшней биологии, пожалуй.

Старость в наши дни... постарела. В пушкинские времена стариком считался человек лет 50, а еще недавно границей старости были 65 лет, а сейчас, по определению ООН, граница эта отодвинулась к 75 годам. И происходят со стариками явления поистине

удивительные. «Новые старики» теряют физические силы, но не способность к развитию личности.

Их могут донимать болезни, но творческие силы способны с болезнями спорить!

Я думала, Иосиф Суркин, который стал талантливым скульптором в возрасте 70 лет, - исключение, феномен. Оказывается, нет!

Новейшие исследования установили, что у многих стариков остались в психике некие задатки, о которых они не подозревали в молодости. Эти задатки помогают им «вспомнить» нереализованные способности. Как бы «вдруг» они становятся художниками, мастерами разных промыслов... Но есть один секрет. Медицина делит старых людей на оптимистов и пессимистов. Пессимисты увядают даже физически здоровые. Оптимисты, даже физически недомогаая, находят в себе творческие возможности!

Я бы поделила всех нас на натуры пассивные и активные. И какие важные выводы напрашиваются сами собой для нашего поколения!

Стареющие эмигранты, мы «выпали» из своей прежней жизни, из своей профессиональной среды, лишились дела, которому отданы молодые и средние годы, потеряли статус и испытываем «шок отставки». Иные быстро дряхлеют. Обществу мы не нужны. В Америке и свои пожилые знают эти трудности... Но как раз биология, которую обвинил драматург Розов, позаботилась оставить нам надежду.

На все эти мысли натолкнули меня замечательные миниатюры Иосифа Суркина. Не хочу разрушать иллюзию, такую прекрасную, и опровергать определение - ЧУДО! Да, чудо. Всякое творчество есть чудо.

Возможно, в каждом из нас есть скрытые до сих пор таланты. Не обязательно искать в себе скульптора или композитора. Мало ли возможностей у природы! И важно не огорчаться, что пришла старость... Важно найти в себе творческие силы! «Творчество - молодое», - сказал нам Иосиф Суркин о своих работах. И мне видится его могучий Моисей, который дает наставление своим преемникам. Великая сила духа заключена в этой композиции. Как мощный аккорд, венчающий молодое творчество.



FAINA

Она подписывает свои картины именем, а не фамилией, и в этом уже читается характер. Семейство очень друженное, любимое: родители, муж, дети, но есть какой-то кусочек жизни, где она сама по себе. Фаина.

Первое, что я увидела, - двойной портрет, дедушка с бабушкой. Они сидят за столом, в руках дедушки - молитвенник. Морщины перечеркивают старое лицо вдоль и поперек. Глаза задумчивые. Лицо бабушки прописано менее четко, руки опущены, глаза полузакрыты. Если смотрит, то внутрь, в себя. Серый платок наброшен на плечи. Предметность бытия не нарушена, проекция души приглушена чуть-чуть. Скорее всего, он читал молитву, она слушала. Объединяет их покой, внутреннее созерцание.

Писался двойной портрет по воспоминаниям и фотографиям. Читается традиция, та самая, которую старается Фаина передать своим детям. Не религиозность, а эмоциональный настрой, в основе которого глубокая порядочность, привязанность к семье, уважение к авторитетам.

Я знала, что Фаину занимает еврейская тема, и спросила - почему? Глубокие корни? Она ответила: «Корни? Все корни были выкорчеваны в войну. Немцы в Риге уничтожили все семейство отца: родителей, родственников, близких. Ему было 14 лет, и он не погиб в этой мясорубке только случайно, чудом. Так всегда говорят: чудом выжил в фашистских лагерях. Один выжил из всей семьи. А мамы родители из местечек Белоруссии. Спасла эвакуация.» Они сколько-то времени жили в семье с внуками, от них остались в сознании еврейские традиции. Когда Фаина стала серьезно писать, превращала их в духовные образы.

Таких картин много. Вот два еврея в талесах готовятся к обряду обрезания. Вот старая еврейка ощипывает курицу. А эта, в фартуке, крутит уже ощипанную курицу над головой ребенка. Есть такой обычай, так изгоняют злых духов. Поражает лицо женщины. Жизнь расписала его морщинами, вырезала их будто ножом, оставив метку каждой беды, каждого переживания. На другой работе пять ликов, не схожих и жутко одинаковых - те же глубокие борозды, глаза обращены в запредельные мистические сферы. Называется «9 ава». День печали: память о двух разрушенных Храмах, о скитаниях, о кровавых жертвах.

Если это миф о национальной трагедии, если в этой картине воплотилась притча о духовном опыте, значит, художник глубоко впитал в себя движение духа народа.

- Вы пессимист? - спросила я неосторожно.

- Нет, я - иронист, - ответила Фаина.

А в картинах читается восприятие времени как нити, где вчера, сегодня и завтра завязаны узлом, который не развязать, не распутать, не разорвать. И уже трудно понять, где история и где современность.

Десять лет назад она увезла из Риги, которая казалась, в общем-то, благополучной, свою благополучную семью. Фаина не ощущала в Риге открытого антисемитизма. Миф об интернациональном братстве тоже не очень поддерживался. Свое еврейство евреи чувствовали всегда. Они не прикидывались латышами, хотя многие знали латышский язык. В республике откровенно не любили всех нелатышей. Но откровенного антисемитизма никто тогда как будто не чувствовал. С 6 класса Фаина училась в художественной школе. После школы поступила в Рижскую Академию художеств. Там среди студентов евреев было немного: Прибалтика желала готовить национальные кадры. Но ее взяли. Скорее всего, отбирали одаренных. Училась хорошо, часто хвалили. Национализм разлит был в воздухе, но кто мог сказать тогда, что очень скоро перерастет он в неприкрытый фашизм. Она уехала и детей увезла, чтобы легче было дышать. Она была человеком искусства, такие люди острее чувствуют время. «Искусство, - здесь я обращусь к цитате, - это прежде всего состояние души. Душа свободна, у нее свой разум и своя логика». Это из очень ранних мыслей Марка Шагала.

Когда я смотрела ее картины, мне привиделось известное родство с Шагалом. Потом поняла: видимого влияния не было. Но невидимое родство было несомненно.

«Я не хочу быть похожим на других. Я хочу видеть мир по-своему». Это был главный постулат Шагала. Я даже не уверена, помнит ли она эти его слова. Во всяком случае, мне не говорила. Но об этом говорят ее картины.

Красота женского тела, которой отдали так много красок художники мира, оставляет ее равнодушной. Все равно, что она пишет, - пляжную публику, женщин, моющихся в бане, мать, стягивающую с ребенка одежду на ночь, - никогда не любит женским телом. Стало быть, ее влечет не плоть. Скорее - дух.

Картина называется «Новорожденный». Лежит на переднем плане спеленутый младенец, а мать сидит рядом, подперев лицо ладонями. Глаза ее закрыты. Что видит она, смежив веки, что грезится ее внутреннему зрению? Там нет примет нашего безумного века, во все времена думы матери о том, что ждет новорожденного, что готовит жизнь младенцу? Горести, радости, опасности, тревоги? Не знаю, что виделось автору, мне, зрителю, чудится тревога. Во всяком случае, ни намек на счастливое материнство, как мы привыкли традиционно воспринимать эту тему.

Большое полотно замечательно называется «Танцует американская мечта». Мужчины в черном, как полагается, женщины в нарядном. Кто-то прильнул к шее партнерши, где-то дама обхватила шею партнера... Танцуют самозабвенно люди, достигшие тут, в Америке, всего, чего хотели. Успеха, денег, конечно. А больше ничего им не надо. Картина нравится многим зрителям, пришлось даже писать с нее авторскую копию. Мы же с Фаиной немного поспорили о ней. Такие лица у этих, кто схватил свою мечту, как жар-птицу, такие лица самодовольные и недалекие... Она уверяет, что нет у нее к ним неприязни, нет и досады - такие они есть, чего уж тут искать! Если она и впрямь иронист, вряд ли тут легкая, спокойная ирония. Если и не сатира, то и не спокойное наблюдение, и может быть, читается больше отношения, чем ей самой видится.

Вот недавние впечатления от поездки в Европу и Израиль. Толпа у Лувра. Бьют фонтаны. В Париже их много. Туристы, отвернувшиеся от Лувра, так лучше их запечатлеть. Малопривлекательные лица. Утомились созерцанием красоты? Побывали тут не из жгучего интереса, а потому, что это целый обряд - туризм... И это видели? И это? Нет у автора претензий к ним. Так, легкая ирония...

А это Гайд-парк в Лондоне. Пеликаны на зеленой траве. И гуляющие дамы, и джентльмены похожи на пеликанов: грудь колесом и вежливая важность, такая упоенная самодостаточность. Ирония авторская мне видится не такой уж безобидной. Ну, конечно, не мизантропия, но определенно критический взгляд на эту человеческую толпу. Нет, не умеет и не хочет она любоваться современниками. У тех, исторических, были традиции, твердые убеждения. Пусть ни покоя, ни довольства они не принесли, но жить помогали. К ним интерес и сочувствие я вижу в каждой работе...

«Невеста» привезена из Израиля. Наряд уместный к случаю, большая шляпа-портрет человека, озабоченного исключительностью своего положения. Ее гости удалены от нее известным расстоянием. В своем критическом настрое я читаю вопрос в этом полотне... Господи, что ее ждет? Может быть, мне мешает смотреть опять же предрассудок: еврейские женщины такие красивые, особенно взволнованные исключительными обстоятельствами, думается мне. А эта совсем не такая... Я уже говорила: ничего традиционного в картинах Фаины не найдешь, это сразу бросается в глаза...

Не могу не сказать о ее Михоэлсе - Короле Лире. Писалось, как «Ода Климту», художнику, которого она высоко ценит. Сидит ее Лир высоко. Там, внизу - трава, вообще человеческий мир. Взгляд в себя. В никуда, в бездну... Сзади выглядывает Шут, как второе лицо Короля, Актера, Человека... Долго стою и вспоминаю, вспоминаю, раздумываю. Работы Фаины просто толкают к раздумьям.

Она много экспериментирует, техника одних картин не похожа на почерк других. Чувство формы у нее всегда очень важно. В картинах еврейской тематики превалировал желто-коричнево-зеленоватый тон. Европейские картины имеют совсем другой колорит: много ярких впечатлений. Пейзаж, казалось бы, не очень занимает ее, а вот из Израиля

привезла несколько любопытных пейзажей, особенно интересны впечатления от Мертвого моря: розовый рассвет, золотой предвечерний закат... Случается, зрители, хорошо знающие ее, удивляются: это тоже твоя работа? Непохоже на тебя... А меня привлекает не техническое совершенство - без него просто нет лица художника, - а содержательное осмысление жизни. Похоже, она знает что-то такое о людях, что скрыто от невнимательного наблюдателя и часто даже от них самих. Может, она знает о современнике то, что еще неведомо нам? Есть мнение ученых-социологов: начались ментальные перемены человечества в размахе цивилизации. Преобладают консерватизм, ориентация на успех, технизация сознания. Фаина не делит своих героев на «тех» и «этих», однако, к современникам относится с иронией. Помните: «Танцует Американская мечта»?

Очень интересный и ни на кого из знакомых не похожий художник. С волнением стану наблюдать за эволюцией ее таланта. Даже представить не могу сейчас, что родится в следующий раз?

Рекомендую: FAINA





ТЕАТР КИСТИ

Вадима НЕМИРОВСКОГО

Нет, он не артист и не режиссер. Он - Художник. Вот так, с большой буквы. Совсем другое искусство? Но когда находишься среди его композиций, не оставляет мысль о перевоплощении. Обычно Мастер долго ищет себя, потом находит, и уже узнают его манеру, почерк, меняются только темы. А тут Мастер каждый раз новый, неожиданный. Перевоплотившийся. И что такое Театр? Ошибается тот, кто думает, что театр - зрелище. О нет. Театр - это взаимная работа сцены и зала. Актеры со сцены посылают зрителю стукот своих переживаний, зритель немедленно отправляет на сцену свой эмоциональный ответ. Возвратить ему его посыл вы можете только опосредованно. Он повлияет уже на другие работы. Художник набирает энергию своего искусства от нас, от

отношений с современниками. Что-то уловил. Чего-то недостает... О чем-то мечтается... Есть художники, которые долго и мучительно обдумывают все это. У Вадима Немировского иначе. Кто знает, как создается искусство? Где-то в мозгу накапливаются биотоки жизненных переживаний. И уже идет работа над рисунком. Над офортом. Над картиной. Тут - скрытое от него самого доверие к нам, зрителям. Художник нам доверяет подхватить его эмоцию, его фантазию Он надеется, что мы способны этот посыл усвоить, родить встречную эмоцию, и уже не забудем эту его картину, она станет частицей нашего внутреннего мира. Так или примерно так я представляю неуловимый этот процесс. Мы привыкли: картину можно рассказать. Внимательно рассмотреть и пересказать все, что глаз увидел. Чем искушеннее глаз, тем больше деталей заметит. Из них складывается целое. А уж из него - настроение, переживания. Помните, как знакомились с коллекциями в родных русских музеях? То же самое в прекрасных музеях мира. Академическая манера вхождения в жизнь. Верность жизни - во всех школах этому учат.

После разрушили эти традиции другие художники. Изменился взгляд на мир. Главным стало не содержание, а впечатление. Разрушители традиций далеко пошли. Вообще убили содержание. То есть содержанием стали яркие или, наоборот, темные мазки. Висят на стенах картинных галерей, ходят посетители с серьезными лицами, смотрят, даже случается, обсуждают... Простите, но меня эти опусы не трогают. И не верю, что других трогают. А если не волнует, где искусство? А искусство - оно для того и существует, чтобы заставить нас пережить что-то неожиданное, чего еще не было в нашей духовной практике. Только совсем не обязательно, чтобы на жизнь было похоже. Искусство - это не «что», а «как». Замечательный русский искусствовед М.Бахтин прямо так и написал: «Жизнеподобие вовсе не обязательно». Обязательно равнодушие. Оно передается вам яркими красками, светом, полутонами... Господи, как прекрасен мир! Господи, как мир печален... смотрю работы Вадима Немировского. Нельзя спросить, кто

это. И неважно узнать, где это. Мне говорят: это написано в Узбекистане. А это сделано в Прибалтике. А вот это - в Крыму. Может быть, есть какие-то приметы Узбекистана или Прибалтики? Не ищите. Волнует совсем не это. Что же?

Совсем небольшое полотно. Одна американская зрительница сказала: «Вижу водопад». Другая: «Солнечный свет пролился». А художник по секрету: «А я рисовал трех граций». Он и не старался заставить нас увидеть нечто. И мой глаз увидел то, что почувствовала: нежность. Или печаль. Вот другой рисунок: дама в нездешней шляпе, какие не носят в наш век. В руке у нее как будто бокал. За ее спиной открывается проем



...куда? В мечту? В будущее? В воспоминания? Это как вам подскажет ваше настроение.

А театр! Вот тут и кулисы, и маски, и роковая женщина, и призрачные декорации, и яркие-яркие краски. А на другой картине печальная дама оперлась на хрупкий комодик, и где-то зеркало, где-то пейзаж, и занавес полуопущен... Театр? А где-то на другой картине намек на танец. Только намек, только наклон, излом, шарф летит, ножка отставлена, музыка вокруг - не в инструментах, в колорите, в атмосфере. Извините, виновата, я все-таки попыталась рассказать то, что изображено на рисунке, словно это старик-реализм. Не верьте, не верьте: вы увидите что-то свое, другое. И театр не тот, что на сцене, и герои не те, что на рисунке, а те, что вам привиделись. Вот где-то петушок... Как знакомо! Называется «Утро». Картину, оказывается, нельзя рассказать. Ну попробуйте рассказать музыку! Или своими словами передать стихи. Какая нелепая затея! Вот такое ощущение оставляет поэзия Вадима Немировского. Помните, у Лермонтова: «А душу можно ль рассказать?» Историю его

русско-узбекского, потом американского житья-бытья рассказать можно. Это не раз делали как на русском, так и на английском языках. Я пересказывать не стану. Обычная трудная стезя. Обычная счастливая стезя. Талант себе пробивает путь. Неважно, что сегодня его служебное место - другое. Искусством мало кто зарабатывает на жизнь в Америке. Очень своеобразно тут понимают и саму метаморфозу его творчества. Одной из первых написала о нем американская журналистка в плане скорее политическом: прежде он тяжело жил в России, и колорит его работ был темный; теперь он живет в счастливой Америке, мрачные тона отступили. Да простит меня американское искусство, не стоит так примитивно глядеть на творчество, право же, не стоит. Вот взгляните: то ли контур женской фигуры и лебедь над ней, то ли из небытия рождается свет... Бог знает, куда может завести поэзия рисунка, сделанного рукой Немировского. Можно говорить: неповторимый живописец, тонкий психолог, безрассудный романтик, утонченно-изысканный стилист... Это все уже написали о нем в России и в Америке. Были и выставки, и премии - все, как положено таланту. Только это надо видеть и пережить самому.

Кажется, он умеет все, и никакой материал для него не чужой. Карандаш, перо, кисть. Гравюра, офорт, акварель, масло... А эти странные композиции из пластика, который кажется то металлом, то фарфором, то изящным восточным камнем... Ох, эта мастерская. Кажется, нужно перо поэта, чтобы описать это жилище его Музы. Только один штрих: мольберт приехал из России. Через границы. У мольберта краски, всегда готовые стать образами. Театр! И - парты. Здесь теперь будет школа. Это закономерно. Зрелость требует передать то, что накоплено, в новые, совсем юные руки. Робкие рисунки мальчиков и девочек. Кто знает, какой путь их ждет? А вот про девушку Флору Ютас, наверное, уже все ясно. Ее работа отмечена на конкурсе. Тональность ее рисунков мажорная: американский флаг, мяч в волейбольной сетке и много рук, поднятых как будто не для того, чтобы подтолкнуть или поймать мяч, а для того, чтобы проголосовать... Америка! А мне ближе те работы, которые вместе с мольбертом приехали через океан. Те, в коричневых тонах. Намек на бабушкину мебель - комод, кресло, старинное зеркало... Странный лик... Воспоминание о будущем? Нельзя стереть из памяти то, что не нами пережито. «Все, что было не со мной, помню». Налет патины. Старина. Идет время. Ни к какой школе себя Вадим не относит. Ни к какому направлению. Но ведь чтобы не писать, как старые мастера, нужно хорошо знать классическую их манеру. Чтобы пробовать себя в разных жанрах, надо хорошо усвоить их принципы и приемы. Чтобы быть самим собой, нужны уверенность и смелость.



Его картины знают в Европе и в Америке. А он в расцвете сил. И сколько еще неожиданностей ждет его зрителей, почитателей, поклонников, не знает даже он сам.

МАРИНА СТУЛЬ

КОНТРАСТЫ АЛЕКСАНДРЫ БРИН

Я написала «Контрасты Александры Брин», а надо бы так: Сашеньки Брин. Не идет ей торжественное имя. Сашенька - такая она нежная, поэтичная, открытая. Я давно так не радовалась знакомству с новым человеком. Показалось: знаю ее много лет. Стихи у нее есть:

*«Слово «вместе» звучит, как музыка,
Как мелодия первого вальса...»*

Недавно вышла маленькая книжечка ее стихов.

*«Сотканы стихи из одиночества,
Грусти в них серебряная нить.
Тонкие сплетения пророчества
Рифмы волшебство соединит...»*

Она - не художник слова, стихи - это от щедрости душевной. Она - поэт кисти, пера, карандаша. В рисунке - ее контрасты: грусти серебряные нити, тонкое внимание к человеческому бытию, желание утешить человека, вызвать улыбку. Отсюда рядом со щемящей печалью ее гравюр - шаловливые ее клоуны и забавная находка - рисовать лица на семечках тыквы. Тревожащие лица и насмешливые, задумчивые и озорные.



Объединяет контрасты эмоциональность - не пылкая, взрывная, а мягкая, лирическая, иногда задушевная, иногда - горькая, кое-где ироническая...

О ней писали, знаете, по-американски: родилась в Молдавии, училась в Кенигсберге, выставлялась там-то и там-то...

Конечно, это тоже хорошо - знать о художнике: откуда он, где получил образование. Только не дают эти заметки понятия о настроениях ее души, о щедрости сердца, поисках и находках. Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, если речь идет о художнике. Но, не услышав, как узнаешь, что живет в городе Кливленде Саша Брин. Если у вас есть дети, спешите украсить их детские комнаты радужными изображениями ее клоунов, а если тревожат вас мысли о судьбах человечества, хорошо бы иметь возможность время от времени обращаться к ее памяти о прошлом...

Потом будут узники за колючей проволокой, пока еще нет примет концлагеря... Еврейская девочка прислонилась к плечу очень старой женщины... В глазах подростка вся печаль

еврейского народа, но будущего она еще не знает... А старуха уже знает все... Может быть, это последняя близость молодой жизни и жизни прожитой, а завтра - смерть... Тон зеленовато-серый. У жизни уже нет больше красок...

Меня-зрителя это полотно потрясло больше всего.

А эта парочка парит от счастья! Парнишка и девчонка, ей-богу, нищие, все их имущество - скрипка и смычок, а они - счастливые, эти еврейские подростки. Конечно, еврейские, смотрите, какие у паренька кудрявые растрепанные волосы, а девчонка большеглазая и простенькая... местечковая?

Когда это было? Время-то какое! Это всегда было! Любовь и музыка и чуть-чуть еврейского акцента.

- Какая прелесть! - скажете вы, увидев эти нежные лица, непременно скажете, реакция будет однозначная у вас, у меня, у всех. Оторваться не могу от этих гравюр. Очаровательные женские головки: вот эта, с короткой стрижкой, которая ей так идет, и эти глядят из-под широкополых шляпок, которые придают и без того милым лицам прелесть женственности. Чуть-чуть кокетства, чуть-чуть лукавства и самую малость грусти. Гравюры.

А это совсем другое лицо. Глазищи огненные, черные кудри разметались по плечам, губы припухлые, как у ребенка. Цыганочка? Молоденькая итальяночка? Что-то загадочное. И впечатление загадки не случайное. У знакомых в Италии (семья жила в Италии, пока решался вопрос о стране эмиграции) висел такой портрет то ли бабушки в молодости, то ли родственницы, о которой говорили: колдунья. Стоило снять со стены портрет - говорили в Италии - как на дом, на семью обрушивались невзгоды. Верните, верните портрет скорее, благополучие семьи зависит от того, здесь ли картина!

Саша Брин уже в Америке вспомнила об этом портрете и написала его по памяти. Теперь он хранит спокойствие и гармонию ее большой семьи. Легенда? Фантазия? Оторвать глаз трудно.



- А эта серия называется «Местечко», - говорит художница. - Забытое... осталось только в рассказах Шолом-Алейхема... Хочется, чтобы не забывалось... Это я себе представила наши молдавские местечки, по любимым книгам, по рассказам бабушки... Видите? Старая синагога... А это хедер, мальчишки в шапках учатся... Еврей размышляет над Торой... А это идише маме... добрыми и грустными глазами глядит вслед выросшим деткам... Теперь нам смотреть вслед своим сыновьям... Это портрет старого еврея, и всю грусть и доброту, и надежду можно прочитать в его глазах... Две соседки говорят о тяжелой жизни. Архитектурный пейзаж за их спиной сам говорит о неблагополучии...

Я хотела бы, чтобы читатель услышал ее, Сашину интонацию... Она любит этих людей, этих своих персонажей, и ей так хочется, чтобы их полюбили те, кто смотрит. Я вот полюбила такую картинку: мальчонка лет 10-11 несет домой корзинку, надо

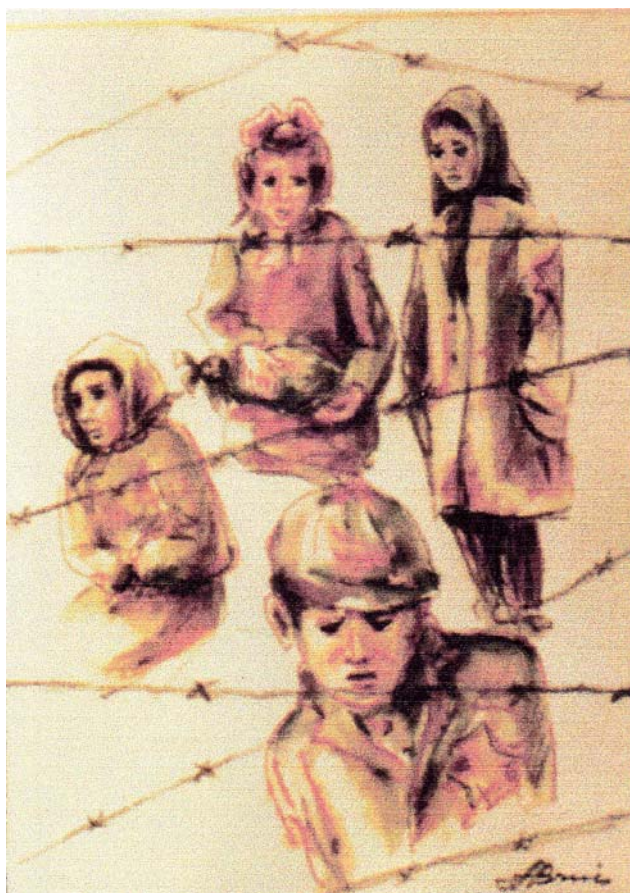
накормить сестреночек-братишек... Бог знает, чем он торговал: спичками? Газетами?

«Купите, купите папиросы...» Называется «Кормилец».

Серия «Холокост» лаконична и сурова. «Гетто». «По эту сторону колючей проволоки». «Последняя прогулка». И много картин без названия - просто номер 1, 7, 12... Как у узников не было имен, только номер...

- Почему вы пишете об этом так настойчиво?

- Это настолько запало в душу, требует выхода... Чтобы помнили. Чтобы не допустили. В память о тех, кого уже нет.



В честь Дня памяти жертв Холокоста был выпущен специальный маркированный конверт. На марке - портрет шведского дипломата Рауля Валленберга, который спас тысячи евреев, а на конверте и на штампе специального гашения, с согласия автора, помещена картина Александры Брин, которая называется «Последняя прогулка» - за колючей проволокой три смертника в полосатых робах. Нельзя без волнения смотреть на этот конверт: марка с лицом современника и участника трагических этих событий - и силуэты жертв, вызванных воображением человека, который знает о них только по рассказам...

Бессмертна память сердца!

Она часто выставляет свои работы на художественных шоу, вот и сейчас собирается принять участие в выставке в Корниелле. Прекрасное там учебное заведение, и снова память: в этом университете много лет преподавал Владимир Набоков.

- Что повезете туда на этот раз?

- Да вот... свои контрасты... Вот увлеклась манерой монотипии. Это акварельная техника. Прежде не писала так, но ведь

интересно!

Делается красочное пятно, в нем надо угадать что-то неожиданное, то, что хочешь ты сказать людям.

- Вот видите - рыбы. Кажется, они уже были там, я их только подчеркнула. А цветы, ветки в японском стиле - очень мне нравится эта работа. Хочется поэзии и тишины - сажусь и рисую цветы и пейзажи.

Эти ветки, букетики, гроздья так нежны и чем-то похожи на милые лица женщин с ее гравюр. В них женственность и настроения, как всегда у Саши, неоднозначные.

- И любимая ваша техника - цветы на семечках и лица клоунов на семечках. Любите цирк?

- Знаете, на выставках всегда к этим рисункам очередь. Часто спрашивают, как вы спросили: любите клоунов? Пришлось отвечать: «Это вы любите!» У меня их целая коллекция. Они красочные, привлекают мажорным настроением. Но я отношусь к ним серьезно. Хорошо, когда радуешь людей!

- Приятно, когда к вашим работам очередь?

- Приятно. Но иногда бывают случаи забавные и странные. Представьте. Долго ходила по выставке американка. Уходила, возвращалась. Видно, нравились ей настурции в японском стиле. Гляжу: вынула из сумочки кусочек ткани - образец мебельной обивки. Цветы ей очень нравились, но не взяла: не тот тон... нужный тон есть, но не основной, не доминирующий. Тогда было это очень странно. Теперь больше не удивляюсь. Бывает, подходят люди к каждой картине, обо всем поговорят, потратят час, но ничего не купят. Пришли муж с женой сурового вида, ни о чем не спросили, не сказали ни слова. Думала - не нравится. Подошли: «Пожалуйста, вот эти две работы». Расплатились и ушли, так и не сказав ни слова. Я рассматриваю покупателей и просто посетителей - когда еще удастся

подглядеть такие типы интересные! Интересно, куда уходят мои работы. Я к ним, как к детям своим, отношусь.

- С любимыми работами трудно расставаться?

- Если работа мне самой нравится, - сажусь и пишу эту тему снова. Точная копия редко получается, получается иначе, интересно, как путешествовать!

О путешествиях особый разговор. Сколько живописных воспоминаний! Вот Одесса - любимый город! А это Канкун, это Франция. Тут Санкт-

Петербург, а тут Яффа, Израиль. Это синагога в старой Лодзи, а это Ласточкино Гнездо в Крыму... Я как будто с ней побывала во всех этих чудесных местах - и прониклась ее чувствами. Ведь не просто архитектурный пейзаж - настроение, волнение, лирика: нежность, поэтичность, мечтательность. Техника - чернила, тушь, карандаш, а тона теплые, задушевный разговор...

- А дома, в Молдавии, вы тоже выставались?

- Никогда, и это мне не грозило. Я работала иллюстратором в детском журнале «Звездочка». Платили за рисунок рублей 5, иногда 12. На эти деньги жить нельзя было, но я это делала для души.

Она все делает для души. Или от души, так вернее. И ведет задушевный разговор со зрителем. И каждый становится «вместе». Помните: «Слово «вместе» звучит, как музыка». Перебираю картинки, оторваться трудно. Вот эта ее любимая: немолодой еврей прижал к себе ребенка. Лицо доброе и, конечно, печальное. Хочется спасти от горестей, от тревог вот это родное существо, но разве возможно такое в этой жизни? На отце (или это дед?) одежда полосатая. Может быть, это талес, а может быть это уже одежда узника? Горькая радость бытия вот эта детская щека рядом...

А это - клоуны! Тоже такие разные, сделаны в разных манерах, интерпретациях. Кто пляшет, кто жонглирует, кто кувыркается. Забавные - и грустные, смешные - и проказливые. А это просто бэби, такое веселое дитячко! Надо же было увидеть в нем смешные цирковые черты! Она их увидела, сочинила, придумала!

- Очень хочется людей радовать!



Яков Липкович

ХУДОЖНИК - О СЕБЕ

...Мы спускаемся в подвал его дома и видим ряды самодельных деревянных полок, снизу доверху уставленных вручную расписанными керамическими блюдами, вазами, кувшинами, чайниками, сервизами, разными зверюшками. Своеобразие и яркость цветов не передаваемы словами. Хочется смотреть, смотреть и смотреть... И всей душой наслаждаться и радоваться, что ты живешь на этой прекрасной планете - Земля.

«Все мои работы, - говорит он, - создавались именно с этой целью. Да, я хочу, чтобы люди видели, как прекрасна жизнь. На лепестках цветов, которые я рисую на вазах, или в глазах жениха и невесты, отплясывающих вот на этих больших тарелках, красота должна быть видимой для всех, кто способен видеть ее и чувствовать...»

Да, мы понимаем, что создается эта красота не где-нибудь, а вот здесь, на этом гончарном круге, в этой печи для обжига керамики, в этом скромном доме на краю небольшого овражка с его веселой и буйной растительностью, и все равно ждем новых откровений...



«Здесь так хорошо, так красиво, - продолжает хозяин дома, - что я свое вдохновение нередко нахожу прямо вот тут, за окном. И все-таки основные мои вещи рождены памятью».

А точнее, добавим мы, всей жизнью художника, появившегося на свет незадолго до войны в Ленинграде (Санкт-Петербурге), где и прожил большую часть жизни. После окончания института он долгие годы работал инженером и программистом, понимая, что не это, а другое - главное его дело. Желая как можно больше увидеть, узнать, он много путешествовал по

России. И рисовал, рисовал, рисовал...

«Да, днем я должен был работать ради денег, а ночью трудился для души...»

Решение эмигрировать пришло к художнику в конце семидесятых годов. Десять лет он и его семья ходили в отказниках. Что такое жить на случайных заработках, знают многие. И тем не менее он, чтобы иметь больше времени для искусства, устраивается рядовым электриком на катке с искусственным льдом. В его обязанности входило... заменять перегоревшие лампочки. За это ему разрешили занять старую заброшенную котельную, где он стал осваивать новую для себя художественную технику - керамику...

Но вот разрешили выезд, и он вместе со своей семьей прибыл в Кливленд. Правда, шесть месяцев они, как и большинство эмигрантов из России тех лет, провели в Италии в ожидании разрешения на въезд в США. О том, что Италия дала художнику, рассказывает он сам:

«Цвета и освещение в Италии были, естественно, другими, чем в России. Даже вода и та была другого цвета. Половодье красок прямо захлестнуло меня. Это был танец красок. И я полюбил их, эти изумительные трепетные цвета Италии...»

Но жизнь есть жизнь. Оказавшись в Америке, художник решил попробовать зарабатывать на жизнь своим художественным ремеслом. Сперва он делал керамические плиты для кухонь и ванных комнат, потом вернулся к своему основному делу - к художественной керамике. Его работы стали появляться на художественных выставках. Как и большинство кливлендских художников, он не отказывался от участия и в ярмарках искусств...

И все же зарабатывать на жизнь продажей своих работ удастся не каждому художнику. Таких счастливицков в Америке единицы.

«Я не в их числе, - признается он. - Наш главный кормилец - работающая жена... К тому же я люблю дарить свои работы. Как-то мимо моей палатки на ярмарке проходили ребяташки, и я им раздал всех своих зверюшек. Захотелось порадовать их и себя тоже...»

«Я вырос в России, - продолжает он, - где быть евреем было не очень-то уютно, скажем так. А временами и опасно... Долгое время я считал себя нерелигиозным человеком, хотя читал Тору и поражался глубине ее мыслей. Наверно, поэтому мне так близок еврей Шагал. Но и нееврей Ван-Гог тоже...»

Послесловие.

А теперь самое время признаться, что это вольный перевод статьи с английского, опубликованной в газете «Джуиш ньюс». Герой же ее - кливлендский художник-керамист Борис Витлин, с чьими работами я с восхищением познакомился еще несколько лет назад. Сейчас мы втроем, то есть я, старый писатель из России, Иосиф Суркин, тоже самоучка, только скульптор (см. статьи о нем) и он, Борис Витлин, - сидим за столом и, попивая чаек с сухарями, ведем неторопливый разговор о том, как хорошо все-таки жить и делать то, что по душе и тебе, и людям. И еще радоваться тому, что живем мы не где-нибудь на чужих и опасных задворках, а здесь, в этой свободной и доброй стране - Америке...





ИСААК ФУРШТЕЙН

ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Сжатый очерк

*Благословенной памяти родителей
моих - Баси и Михоэла Фурштейн,
погибших в пламени Холокоста.
Автор.*

В исторической перспективе для евреев рассеяния знаменательным был тот сентябрьский день 1654 года, когда 23 еврейских беженца из бразильского города Ресифе на паруснике «Pear-tree» («Грушевое дерево») достигли берегов Северной Америки. Парусник бросил свой якорь у города голландской колонии Новый Амстердам. В 1664 году колония была захвачена англичанами и переименована в Нью-Йорк.

Долгий путь прошли эти пионеры. Открытие Америки Колумбом (1492) совпало с изгнанием евреев из Испании. Поскольку новые земли оказались в руках Испании и Португалии, въезд евреям туда был запрещен. Какая-то небольшая часть насильно обращенных в христианство евреев (морранов), поселившихся в Америке, подвергалась преследованиям, так как и в Новом Свете утвердилась инквизиция. Когда голландцы завоевали северо-восточную часть Бразилии (1630), там была провозглашена свобода вероисповедания, подобно тому, как это было в самой Голландии. Но голландская власть продержалась недолго: в середине XVII века вернулись португальцы, и евреям пришлось бежать из этой части Бразилии в Северную Америку.

Голландский бургомистр Нового Амстердама неприятливо встретил пассажиров «Грушевого дерева». Он даже пытался добиться высылки нежелательных иммигрантов, но безуспешно. Правление голландской Компании, считаясь со своими еврейскими пайщиками, решило их оставить. Три года спустя к общине в Новом Амстердаме прибавилась другая - в Ньюпорте. Евреи появились в Массачусетсе, Делавере, Мериленде.

Начало было положено. Никто тогда не мог предвидеть, что здесь со временем окрепнет пятимиллионный еврейский контингент в невиданных для диаспоры условиях благосостояния и полного гражданского равенства, что ему будет суждено стать опорой еврейского возрождения на исторической родине (в Израиле).

Первая половина XVIII века на всех территориях еврейской диаспоры от Северной Америки до Приднестровья - время, не отмеченное какими-либо выдающимися событиями в еврейской истории. На дальнем западе, за океаном, продолжается укрепление европейских позиций. Америку прозвали тогда «Новым Светом», но это был новый европейский свет: «Новая Англия», «Новый Йорк», новый старт старой Европы, ее омоложение. Здесь медленно, но неуклонно из десятилетия в десятилетие расширялась еврейская база. Здесь победил новый дух. «Декларация Независимости» Соединенных Штатов в 1776 году провозгласила принцип: «Никакой человек, признающий существование Бога, не может быть лишен своих гражданских прав и не должен терпеть притеснения вследствие своих религиозных убеждений».

В течение 100 лет, предшествовавших американской революции (1776-1783), евреи расселились в большей части британских колоний Северной Америки. Наиболее крупными местами их поселения были портовые города Ньюпорт, Филадельфия, Чарльстон. Евреи североамериканских колоний пользовались всеми правами: правом проживать в любом месте и быть владельцами домов, правом заниматься любыми профессиями, правом свободно исповедовать свою религию. Ограничение же их прав состояло в том, что они не могли занимать должности в местной администрации. Такое положение сохранялось вплоть до начала американской революции.

Основными занятиями евреев Америки в колониальный период были торговля и ремесло. Экономический уровень их жизни был достаточно высок, подавляющее большинство евреев принадлежало к среднему классу. Члены еврейской общины чувствовали себя составной частью окружающего мира. Вместе с тем они стремились к обеспечению сохранения еврейского тысячелетнего наследия.

В период американской революции число евреев, проживающих в Америке, не превышало 2,5 тысячи человек (общее население колонии тогда составляло 2 млн. человек). Подавляющее большинство евреев поддерживало борьбу за независимость. В американской армии воевали свыше 100 евреев-добровольцев. Один из них, Франсис Сальвадор, достиг звания полковника.

Во время войны за независимость были заложены основы американской демократии. Американская Конституция провозгласила: «Никогда не надо требовать принадлежности к какому-то вероисповеданию, как необходимого условия для занятия какой-либо должности или для исполнения каких-либо общественных обязанностей в Соединенных Штатах». В дальнейшем религия была отделена от государства, а также было запрещено превращать какую бы то ни было религию в государственную или ограничивать свободное выражение религиозных чувств. Таким образом эмансипация евреев в США была достигнута ранее, чем это произошло в Западной Европе. Первые десятилетия существования американского государства были безмятежными для евреев.

Одной из причин относительного благополучия для первой волны еврейских иммигрантов на североамериканском континенте и быстрой их абсорбции был иудейский характер американского протестантизма. Пуритане считали себя духовными наследниками Библии (Танаха). Новый Завет они рассматривали лишь как историю Христа. Бога они искали в Ветхом Завете (Торе).

Пуритане сравнивали свое переселение в Америку с Исходом евреев из Египта. Они видели в Массачусетсе новый Иерусалим. В основанном ими Гарвардском университете наряду с латынью и греческим преподавался и иврит. Было даже внесено предложение объявить иврит официальным языком колоний. Американская Конституция обязана протестантам многими заимствованиями из Пятикнижия (Торы).

Американская революция положила конец колониальному периоду. В 1776 году Континентальный конгресс принял Декларацию независимости. В 1783 году независимость Соединенных Штатов была узаконена Парижским договором.

Вот еще некоторые важные даты и события той революционной поры:

В 1787 году в Филадельфии собрали Конституционный Конгресс, на котором были приняты первые семь статей Американской Конституции.

В 1789 году генерал Джордж Вашингтон был избран первым президентом США.

В том же году в Нью-Йорке, первой столице, был созван первый Конгресс (парламент) страны Свободы.

В 1800 году Вашингтон, округ Колумбия (Washington, D.C.), стал постоянной столицей страны.

Среди активных участников американской революции были и евреи. В историю борьбы за американскую независимость золотыми буквами вписаны имена англичанина, управляющего финансовым ведомством, Роберта Мориса и еврея-банкира, выходца из Польши Хаима Соломона. В докладе Сенату от 9 августа 1859 года №177 комитета по революционным искам говорится:

«Комитет на основании имеющихся в его распоряжении доказательств пришел к заключению, что Хаим Соломон должен быть рассматриваем как один из наиболее верных и действительных друзей страны в очень критический период ее истории, когда денежные ресурсы были незначительны, а ее затруднения многочисленны и тяжелы. Как видно, он верен беззаветно национальной чести... Он оказал очень существенную помощь делу революции бескорыстно, из искренней и горячей любви к человеческой свободе». (Сборник «Пережитое», том II, стр. 12, С.-Петербург, 1910).

Остается добавить, что Хаим Соломон прибыл в страну в возрасте 32 лет (он родился в 1740 году). Вначале жил в Нью-Йорке. Разбогател, обладая исключительными финансовыми способностями. Жизнь его была полна приключениями и тревогами, он пользовался доверием Джорджа Вашингтона и других выдающихся деятелей революции. При этом, как свидетельствуют современники, «Хаим Соломон в зените своей славы и благополучия не удалился от еврейства, а наоборот принимал живое и деятельное участие в делах филадельфийской общины».

К 1820 году первый период еврейской иммиграции, продолжавшейся более 120 лет, окончился. В стране тогда проживало более 4 миллионов человек, в том числе более 10 тысяч евреев.

Первая четверть XIX века стала временем массовой эмиграции немецкого населения в Америку.

После наступления в 1815 году в Европе политической реакции и экономической депрессии значительное число немецких евреев разуверилось в возможности добиться полного равноправия и устремилось в Америку. В 1820-1870 годах из Баварии, Чехии, Венгрии и Познанской области в США прибыло более 150 тысяч евреев. Большинство новопривывших занялось мелкой торговлей. Многие из них осели на восточном побережье. Вскинув мушкет на плечо и котомку за спину, они двинулись в Луисвилл и Новый Орлеан, Чикаго и Сент Луис, Цинцинатти и Кливленд. (Кстати, в Кливленде первый еврей появился в 1837 году, это был Симха Торман из Баварии. Он сразу же открыл лавку по продаже кож и мехов, за ним через несколько лет последовали его братья с семьями из Германии). «Золотая лихорадка» 50-х годов прошлого века привела многих евреев в Калифорнию, они были среди первых поселенцев Сан-Франциско.

Новые иммигранты трудились день и ночь, жили очень скромно и экономили каждый цент. Они копили деньги, чтобы открыть собственное дело. Бродячие торговцы-коробейники становились владельцами лавочек. Владельцы лавочек становились хозяевами универмагов. Вся огромная система современных американских универмагов родилась благодаря упорному труду этих бродячих торговцев. Вспыхнувшая гражданская война (1861-1865) закончилась победой «северян». Вопрос о рабстве разделил евреев, как и всю страну. Южные евреи сражались на стороне южан, а северные - в армии Гранта. К концу войны в армии Гранта насчитывались 9 генералов-евреев и сотни офицеров-евреев. Столько почти было их в армии конфедератов.

После войны началось стремительное развитие американской промышленности. Евреи, однако, в нем принимали слабое участие, они были вытеснены в розничную торговлю. Большая часть американских еврейских богатств нажита была именно в этой области. Последующие поколения вложили значительную часть состояний в искусство и филантропию. Фамилии Гугенхаймов, Варбурггов, Штраусов, Шиффов, Розенвальдов стали символами американской культурной и филантропической деятельности. Эти семьи жертвовали в музеи богатейшие коллекции произведений искусств. Они покрывали дефицит симфонических оркестров и оперных трупп. Они жертвовали миллионы на строительство концертных залов и музеев. Они основывали фонды и кафедры для поощрения научных исследований.

Первые еврейские поколения выдвинули замечательных коммерсантов и филантропов, но среди них по-прежнему не было государственных деятелей, юристов, ученых. Они не занимали значительных государственных постов. Первый конгрессмен-еврей был избран в 1842 году, первый сенатор-еврей - в 1845 году, оба во Флориде. Не на высоком уровне было и еврейское образование.

К 1880 году в Америке уже проживали 260 тысяч евреев, еврейская община Нью-Йорка была наиболее значительной - она насчитывала 40 тысяч евреев.

Но наступили 80-е годы XIX века... В Америку хлынула масса русских евреев. Начался еще один Исход.

Самая мощная волна (третья) началась в 80-х годах прошлого столетия. В те годы во всем мире насчитывалось около 7,5 миллиона евреев, а в годы Первой мировой войны, т.е. 35 лет спустя, число их достигло 14 миллионов.

Эмиграция в конце XIX - начале XX столетия преимущественно из стран Восточной Европы в заокеанские страны, в первую очередь в Соединенные Штаты, была одним из важнейших факторов в жизни евреев.

Так бывало и в прошлые века: когда становилось нестерпимо в одной стране, уходили в другую. Страны Ближнего Востока, Рим и Испания, Центральная Европа и славянский восток - этапы странствований евреев.

Эмиграция в целом никогда не была добровольной: иногда она принимала форму изгнания, драматического исхода или хаотической катастрофы, но всегда лежали в ее основе объективная необходимость, принуждение.

В основе каждого такого передвижения - экономические, политические, правовые, религиозные, национальные и общекультурные причины.

Усилившийся антисемитизм после периодов эмансипации в странах Западной Европы (Германия, Франция, Австро-Венгрия); разбушевавшееся погромное движение в Российской империи Александра III и Николая II; обнищание и несправедливость широких масс еврейского населения черты оседлости послужили началом великого переселения евреев.

Счастьем для евреев было, что в то время, когда в Европе конца XIX века поднялась враждебная для них волна, открылись перед ними ворота в Новый Свет, как тогда называли Америку.

Великое переселение 1880-1930 гг. не было специфически еврейским явлением. В течение ста десяти лет Соединенные Штаты приняли около 38 миллионов иммигрантов. Из этого числа более 32 миллионов прибыли из Европы. В абсолютных цифрах США приняли больше англичан, немцев, итальянцев, поляков, чем евреев. Однако относительно численности народа евреи были на первом месте. В течение десяти лет (1881-1891 гг.) Россию покинули 150 тысяч евреев, из них 135 тысяч эмигрировали в США, 15 тысяч - в другие страны. Это было началом великого переселения. За четверть века, с 1891 г. до Первой мировой войны из России эмигрировали 1,314 тысяч евреев, из Румынии за пять лет 1897-1904 выехало около 60 тысяч евреев. Война прервала этот процесс, но он возобновился в 1921 году.

В первые годы после Первой мировой войны ежегодно эмигрировало четверть миллиона евреев.

Поток эмигрантов устремился через Гамбург и Бремен на пароходах германских и американских линий. Условия транспортировки, мягко говоря, были далеки от нормальных, пока не занялись переселением общественные организации.

В 1902 году был основан HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), потом - другие организации. В период до 1907 года более 60% иммигрантов прибыло без средств и знания языка.

Великая страна сказочной свободы и богатства - Североамериканская республика овладела в те годы воображением миллионов людей, скученных в российской «черте оседлости».

Соединенные Штаты видели в иммиграции общегосударственную необходимость. В 1890 году решением Верховного суда иммиграционное законодательство было изъято из ведения отдельных штатов и передано в ведение федерального правительства. Политика «открытых дверей» пришла к концу в 1921 году, когда при президенте Гардинге была введена трехпроцентная «квота» для иммигрантов каждой национальности. Позднее «квота» была уменьшена до двух процентов, и наконец в 1927 г. общее число иммигрантов, допускаемых в США из всех стран, было ограничено 150 тысячами. Широкий поток превратился в маленькую струйку.

Из ниже приведенной таблицы можно увидеть распределение еврейской эмиграции в течение ста лет, предшествовавших Европейской катастрофе:

Период	США	Аргентина Бразилия	Другие страны	Палестина	Другие страны	Итого
1840-1900	890 000	28 000	2 000	35 000	30 000	985 000
1901-1905	1 823 000	149 000	19 000	76 000	52 000	2 119 000
1926-1939	173 000	107 000	58 000	233 000	83 000	654 000
ИТОГО	2 886 000	285 000	79 000	344 000	165 000	3 758 000

Из таблицы явствует, что в наиболее трагический период тридцатых годов XX века, в канун Холокоста, доступ в американские страны был резко сокращен, на первое место вышла подмандатная Палестина. За последние четыре года (1938-1940) США приняли всего 132 тыс. евреев. В этом, к сожалению, выразилась та небольшая помощь европейскому еврейству, застигнутому гитлеровским безумием.

Фундаментальным следствием «великого еврейского переселения» было возникновение пятимиллионной общины в Америке между 1880 и 1933 годами.

Статуя Свободы при въезде в нью-йоркскую гавань и остров Эллис-Айленд, там, где прибывшие проходили проверку, остались немymi свидетелями тех лет. Они вошли не только в еврейскую литературу, но и в историю еврейского народа.

Время с 1880 по 1920 гг. было периодом великого переселения народов Европы на Американский континент (третья волна). Заинтересованность Соединенных Штатов в иммигрантах в то время была велика, так как страна нуждалась в миллионах рабочих рук для обслуживания бурно развивающейся промышленности и освоения земель. Нужны были сотни тысяч людей, которые могли бы накормить, одеть, обуть и обслужить население быстро растущих городов. Начиналась эпоха гегемонии больших городов, эпоха администраторов и бизнесменов.

В эволюции, которая превратила Соединенные Штаты в величайшую торгово-промышленную державу мира, евреи сыграли роль животворного фермента. Они активно включились в экономику страны в отраслях, предопределенных их европейским прошлым: не на земле в качестве фермеров, не в добывающей и обрабатывающей промышленности, в тяжелой индустрии, на рудниках и заводах. Их место оказалось в бесчисленных мастерских и фабриках текстильной и швейной промышленности.

Оторванные от насиженных мест и от прежних источников пропитания, новички, в большинстве своем начинавшие свою новую жизнь неимущими (евреи занимали первое место среди иммигрантов в отношении минимально ввозимых в США денежных средств), постепенно приспосабливались к тяжелой и непривычной обстановке. Положение большинства иммигрантов было чрезвычайно трудным: без специальности, без языка, они часто становились жертвами жестокой эксплуатации в так называемых «потогонных мастерских», работая по 10-12 часов, получали мизерную зарплату и жили скученно, по несколько семей в одной квартире. В Нью-Йорке, например, по данным 1912 г., восточно-европейские евреи работали в основном в швейной промышленности (85%). Второй сферой занятий было коробейничество (торговля вразнос), затем следовали хлебопечение и строительство. Острый духовный кризис, пережитый иммигрантами, был вызван не только тяжелым бытом и трудом, но и тем, что во многих случаях новые условия были связаны с неизбежностью нарушения свято соблюдавшегося веками субботнего и праздничного отдыха.

Эксплуатация способствовала возникновению и росту рабочего движения (1901-1909), в котором большую роль играли члены различных еврейских и русских революционных партий, в основном Бунда.

Во времена «великих» стачек 1909-1916 гг. рабочие добились существенного улучшения своего положения, создали мощные профсоюзы, где евреи составили значительное большинство.

За сравнительно короткий срок еврейские рабочие добились зарплаток, значительно превышающих первоначальные. Это дало им возможность выписывать своих родственников или оказывать им материальную помощь, ставшую немаловажным фактором в жизни некоторых общин Восточной Европы. Со временем оказание помощи родственникам и преследуемым в других странах евреям становится одной из отличительных черт американского еврейства. Между тем «гетто» новых иммигрантов разрослись в крупные общины, процесс урбанизации совершался стремительно быстро.

Три четверти еврейских иммигрантов высадились в годы великого переселения в одной единственной нью-йоркской гавани. Нью-Йорк сконцентрировал самый большой процент иммигрантов, они составили самую многочисленную этническую группу населения города: в 1900 г. в городе проживало 580 тыс. евреев. 11 процентов от общего населения города; в 1910 г. - 1,1 млн., 23 процента от общего населения; в 1920 - 1,143 млн. - 29 процентов. В 1920 г. 45 процентов еврейского населения Соединенных Штатов проживали в Нью-Йорке.

В годы, предшествующие Первой мировой войне, была сделана попытка частично отвести поток иммигрантов из Нью-Йорка в Гальверстон (Техас) и распределить их по юго-западным штатам страны. В результате центрами, где сосредоточено было еврейское население, стали города: на атлантическом побережье - Нью-Йорк, Нью-Арк, Бостон, Филадельфия, Балтимор; внутри страны - Чикаго, Детройт, Кливленд, Питсбург; в Калифорнии - Лос-Анджелес и Сан-Франциско. К 1980 году только в 8 городах США была сосредоточена основная масса еврейского населения: Нью-Йорк - около двух миллионов, Лос-Анджелес - 503 тысячи, Филадельфия - 295 тысяч, Чикаго - 253 тысячи, Майами - 225 тысяч, Бостон - 170 тысяч, Вашингтон - 160 тысяч.

Можно считать великой удачей, что гигантское скопление еврейской нищеты со всеми ее неприглядными внешними атрибутами, неизбежно сопровождавшее первые десятилетия великого переселения, ни на нью-йоркском Ист-сайте, ни на чикагском Вест-сайте не вызвало антисемитской реакции. В «американском плавильном котле» народов в порядке вещей было появление масс чужеземцев без языка, и евреи из Витебска были не более необычным зрелищем, чем итальянцы из Апулии или китайцы с Желтой реки.

Концентрация в больших городах заметно повлияла на жизненный уклад евреев и на отношения с нееврейской средой. Именно в больших городах проявилась экономическая, социальная и культурная активность евреев. Это привело к усилению их влияния в общественной жизни, голоса еврейских избирателей стали значительным политическим фактором. Жизнь в больших городах приобщила евреев к современной американской культуре. Время шло... Еврейские дети хлынули в государственные школы, и малыши стали приносить первые награды за отличные успехи в свои бедные жилища. Затем они устремились в высшие учебные заведения, возросло число работников умственного труда. В результате этих процессов появились две диаметрально противоположные тенденции: с одной стороны, ослабление влияния традиции (религии), усиление культурной ассимиляции евреев, с другой стороны, укрепление еврейской солидарности, осознание общности судьбы всего народа и поиски новых путей в развитии национальной культуры, нашедшие свое выражение в художественной литературе и театральном искусстве.

На протяжении жизни всего лишь одного поколения характер еврейских профессий неузнаваемо изменился. Теперь уже редко можно было встретить еврея среди неквалифицированных рабочих. Большинство стали менеджерами, владельцами магазинов, свободными предпринимателями, администраторами, инженерами, врачами, адвокатами, учителями, писателями, артистами, профессорами университетов, учеными. Примерно четверть работоспособных стали клерками и продавцами.

В таком крупном центре как Нью-Йорк, где проживало более 1,5 млн. евреев, уже к 1935 году две трети адвокатов и судей, более половины врачей, музыкантов и учителей

музыки, артистов и художников были евреи. Можно сказать, что еврейская иммиграция преуспела более, чем другие, за последние сто лет.

В 20-е годы по мере улучшения своего благосостояния евреи переселялись в лучшие кварталы, в 40-е годы они устремились в пригороды. Как они сумели за одно поколение совершить такое превращение? Некоторые исследователи утверждают, что ответ на этот вопрос надо искать в составе еврейской и христианской иммиграции. Собственно русские, польские, румынские, венгерские иммигранты были крестьянами и рабочими. Богатые и образованные русские, поляки, румыны, венгры не покидали свои страны. С евреями дело обстояло иначе. Гнет распространялся на всех. Поэтому бежали все: богатый и бедный, рабочий и ученый, верующий и неверующий. С ними перемещалась их культура. Беспрерывный поток новых иммигрантов из Восточной Европы питал еврейское самосознание и не давал умереть тому языку, который они привезли с собой, - идиш.

Первая мировая война (1914 г.) положила конец массовой иммиграции. Правда, некоторое время после войны она еще продолжалась. После октябрьского большевистского переворота в России и революции в других странах Европы настроение средних американцев изменилось. Страну охватила антикоммунистическая истерия. Это привело к серии законов, которые воздвигали всевозможные препятствия на пути к массовой иммиграции, особенно евреев из Восточной Европы, к тому же к этому времени случилось так, что американский рынок труда был уже плотно насыщен. Появились признаки антисемитских тенденций...

В конце первой мировой войны в Европе, особенно в Германии, поднялась новая волна антисемитизма. Большим подспорьем у юдофобов для разжигания ненависти к евреям послужил «шедевр» русской антисемитской пропаганды «Протоколы сионских мудрецов». Эти «Протоколы» были сочинены агентами царской охранки в Париже в последние годы XIX века, очевидно под впечатлением от Первого сионистского конгресса. Согласно «Протоколам», якобы, существует организация, развивающая систематическую конспиративную деятельность против народов мира, стремящаяся к установлению еврейского господства. Эта организация-де упорно стравливает христианские народы, надеясь таким путем достичь осуществления своих целей. Было установлено, что «Протоколы» попали в начале текущего столетия в руки одного русского мистика по фамилии Нилус, пользовавшегося расположением царского двора, и были им опубликованы на русском языке. В России этот «труд» вначале не произвел большого впечатления, хотя и был переиздан в годы первой русской революции (1905-1907 гг.), но перевод «Протоколов» на ряд европейских языков после Первой мировой войны вызвал многочисленные отклики. Широкое распространение получили «Протоколы» в Германии, где в то время подвизались всевозможные «специалисты по русскому вопросу» из прибалтийских немцев. Они доказывали, что русская революция - это дело рук евреев, что во главе советского правительства и Третьего интернационала стоят евреи: Ленин, Троцкий, Каменев, Свердлов, Иоффе, Радек, Сокольников и др., выполняющие приказы «Сионских мудрецов».

Вышедший из этого круга Альфред Розенберг опубликовал тогда свою расистскую книгу «Миф 20-го века» и ряд других злобных антиеврейских писаний в том же духе.

«Протоколы» и им подобная литература стали орудием антисемитской пропанганды во Франции, Англии и других странах.

В Соединенных Штатах изданием «Протоколов» занялся известный магнат автомобильной промышленности Генри Форд. Он печатал их в своем еженедельнике и в отдельных книгах под названием «Интернациональный еврей и еврейская опасность». Лишь после того, как «Американский еврейский комитет» привлек его к суду, он в 1927 году публично отказался от этих вымыслов и просил прощения у еврейского народа. На юге США антиеврейской и антинегритянской агитацией занялся пресловутый «Ку-клукс-клан».

В двадцатые и тридцатые годы антисемитские настроения в США приобрели значительное влияние, выразившееся в принятии новых законов об эмиграции, что нашло свое отражение в «квоте».

В эти же годы во многих высших учебных заведениях были введены ограничения для еврейских абитуриентов. Обострилась дискриминация по отношению к евреям, желающим поступить на работу в различные учреждения и предприятия. Многие фирмы давали объявления о вакантных должностях с ясным указанием, что «только христиане» сумеют их занять. Антисемитизм 1929 года (период великой депрессии) был совершенно иным. Он был немецкого образца. Его импортировала в Соединенные Штаты немецкая пятая колонна. Он был рассчитан на то, чтобы подорвать волю американского народа к противостоянию фашизму. Многие американцы, не способные понять, каким образом в богатейшей стране мира разразился жесточайший кризис, стали жертвой платных гитлеровских пропагандистов. Как и в Германии, этот антисемитизм привлек в основном деклассированные элементы. Ни состоятельные слои, ни рабочий класс не поддались ему.

В конце концов антисемитизм в Америке пошел на убыль. Это произошло не потому, что его носители в нем разуверились. Просто кончился кризис.

Еврейскую иммиграцию в США обычно делят на три периода: испано-португальский (сефардская), немецкий и русский (ашкиназийская).

Остановимся подробнее на последней. Русско-еврейская иммиграция началась гораздо позже других, она оказалась наиболее значительной по размерам и по своему характеру. Оценка ее значения не вызывает расхождения среди большинства исследователей истории американского еврейства; она не оспаривается и теми, кто склонен был подчеркнуть исключительное влияние немецких евреев.

Многие признают, что на все, что можно назвать еврейской жизнью в Америке, повлияли русские евреи. Благодаря им усилилась роль еврейства в жизни США.

Интересно отметить, что русские евреи в период начала великого переселения в Америку (80-е годы прошлого столетия) отвергли предложение испанского правительства о его готовности впустить их в пределы Испании, мотивируя, что настала пора искупить исторический грех изгнания евреев из страны в 1492 году. Русские евреи категорически заявили, что не хотят иметь ничего общего со страной, где их предков жгли на кострах инквизиции, а уцелевших изгнали.

Великая страна свободы стала для евреев маяком. Они привезли сюда из России свои идеалы, свое национальное самосознание, свой революционный пыл, свободный от рабской терпимости.

Нет сомнения в том, что без участия русских евреев не была бы создана ни получившая большое распространение еврейская печать, ни богатая еврейская литература, не удалось бы с таким умением и глубокой верой в справедливость организовать еврейских рабочих в тред-юнионы (профсоюзы), ставшие образцом для всей Америки.

Русские евреи оказали влияние на всю еврейскую жизнь и стали тем фундаментом, на котором выросло здание еврейской культуры.

Среди газет на идиш необходимо в первую очередь назвать еврейский социалистический орган «Форвертс», начавший выходить в 1897 году (издающийся и поныне), затем «Вархайт», «Тог», «Морген журнал». Ежемесячно выходили журналы «Цукунфт», «Фраие Арбейтер штиме» и др. «Форвертс» первым ввел обычай платить писателям и журналистам гонорар каждую неделю, что было немаловажным начинанием. Самые лучшие произведения еврейских писателей, выходцев из России - Шолом-Алейхема, Шолома Аша, Абрама Рейзина, З. Шнеур, Давида Пинского и др. появились впервые в еврейской печати, а позже к этому списку прибавился и Ицхак Башевис-Зингер, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе.

Время, когда в Америке сложилась и расцвела еврейская художественная проза и поэзия, было Золотым веком еврейской литературы. И в эту литературу на идиш в Америке внесли свой большой вклад иммигранты из России. На американской почве выросли такие талантливые поэты и писатели, как Т.Ляйвик, Мани Лейб, Соломон Бломбер (Иегоаш), Абрам Лесин, Морис Розенфельд; журналисты и публицисты Хаим Гринберг, Давид Эйгорн, Л.Фогельсон, А. Каган, драматург Яков Гордин. Список этот далеко не полный. В 1910 году Виктором Шимкиным была основана (в Нью-Йорке) газета

«Новое русское слово», редактором которой затем стали Марк Вейнбаум и писатель Андрей Седых (литературный псевдоним Якова Моисеевича Цвибака). 21 апреля 1995 года выпуском 100-страничного номера газета широко отметила свой 85-летний юбилей.

Такую же роль, как в еврейской печати и литературе, сыграли выходцы из России и в истории еврейского театра.

Инициатором первого спектакля на еврейском языке (идиш) был Борис Томашевский, который поставил в Нью-Йорке пьесу Гольдфадена «Колдунья» (80-е годы прошлого века).

Эстетический и общественный престиж еврейской сцены в Америке возрос, когда Морис Шварц основал художественный театр. Он привлек к участию выдающихся артистов того времени: Самюэля Гольдберга, Лудвига Зака, Цили Адлер, Юделя Дубинского, Муни Вайзельфельда (Поля Муни) и др. Герои многих произведений Шолома Алейхема, приобретшие популярность в народных массах, а в особенности «маленькие людишки» приобрели на сцене театра Шварца новое художественное воплощение. То был период расцвета культурной жизни американского еврейства.

Современная американская сцена была обогащена искусством Фромана и братьев Шуберт, Абрахама Эрландера и Давида Беласко. Евреи были основателями таких экспериментальных театров, как «Групптеатр» и «Театральная гильдия». Пьесы Джорджа Кауфмана, Лилиан Хелман, Артура Миллера, Элмера Райса, Сиднея Кингсли и Ирвина Шоу получили международное признание. Американская киноиндустрия была создана евреями. Многие из ее лучших режиссеров, артистов и сценаристов были евреями.

Современная музыкальная комедия получила всеамериканское признание благодаря таланту Ричарда Роджера и Оскара Хаммерштейна. Мелодии Джерома Керна, Ирвинга Берлина и Джорджа Гершвина сейчас стали классическими, Бени Гудман придал джазу такую популярность, что слава о нем пошла по всему миру.

Америка завоевала первенство на концертных эстрадах благодаря выступлению таких натурализованных американцев, как пианисты Владимир Горовиц, Александр Браиловский и Артур Рубинштейн, скрипачи Миша Эльман, Ефрем Цимбалист, Яша Хейфец, Натан Мильштейн и Айзек Стерн, виолончелист Григорий Пятигорский. Имена дирижеров Сергея Кусевицкого, Бруно Вальтера и Фрица Райнера знакомы всем любителям классической музыки, равно как и имена родившихся в Америке Леонарда Бернштейна и скрипача Иегуди Менухина.

В XX веке американские евреи стали блестяще проявлять себя в науке, издательском деле, администрации. Альберт Абрахам Мейкельсон стал первым американским лауреатом Нобелевской премии в области науки. Он прославился своими работами в области измерения скорости света. Изидор Айзек Раби получил Нобелевскую премию за работу по квантовой механике и исследованию магнитных свойств атомов и молекул.

Джейкоб Липман, биолог и химик, содействовал развитию американского сельского хозяйства исследованиями химии почвы. Джозеф Мюллер получил Нобелевскую премию за основополагающую работу по искусственной мутации под воздействием рентгеновского излучения. Казимир Функ открыл витамины, Залман Вакс получил чистый стрептомицин. Джонас Солк разработал первую вакцину против полиомиелита.

Бенджамин Кардозе, Феликс Франкфуртер и Луи Брандаиз были первыми евреями, ставшими членами американского Верховного суда. Бернард Барух был советником многих президентов от Вудро Вильсона до Дуайта Эйзенхауэра. Оскар Штраус был первым евреем, вошедшим в состав кабинета министров. Герберт Леман четыре раза был губернатором штата Нью-Йорк. Альвонс Окс основал газету «Нью-Йорк таймс», которая стала одной из ведущих газет мира. Джозеф Пулицер основал школу журналистики в Колумбийском университете и завещал фонд Пулицера для присуждения премий за выдающиеся достижения в области журналистики, литературы и музыки.

Третья и четвертая (после Первой мировой войны) волны эмиграции вписали блестящие страницы в историю американской культурной жизни. Вторая же волна произвела радикальные преобразования в религиозной жизни евреев Америки. Она принесла с собой идеи реформированного иудаизма.

Раввин Айзек Майер Вайз (1817-1900), эмигрировавший в возрасте 27 лет из Германии, развил бурную деятельность и по праву считается отцом американского реформистского иудаизма.

С этим-то реформистским иудаизмом и столкнулись новые иммигранты, ортодоксальные русские евреи.

Говорящие по-английски, американизированные, гладко выбритые, забывшие про ермолку еврей-реформисты казались ортодоксам вероотступниками. Американские же евреи немецкого происхождения, в свою очередь, смотрели на степенных, бородатых, в лапсердаках, говорящих на идиш русских евреев как на иностранных гостей. Для молодых евреев из России столкновение с американскими евреями было подобно столкновению с аристократической элитой из другого мира. Вскоре они уже начали подражать им в манере поведения и одежде. Их родители не соглашались отказываться от своих ортодоксальных традиций. В результате они теряли своих сыновей. Дети уходили в реформистские синагоги, вступали в брак с неевреями или изменяли иудаизму. Тогда ортодоксальные евреи решили сохранить детей ценой модернизации своей конфессии. Так, в конце XIX века в американском иудаизме возникли два течения: ортодоксальное и реформистское.

Ортодоксальный иудаизм рассматривает религию как Божественное откровение. Ритуальное различие между этими течениями касается законов кашрута, субботы и правил богослужения. Чтобы противостоять реформизму, ортодоксы ввели ряд нововведений на западный манер. Они серьезно повысили уровень образования в ешивах (религиозных учебных заведениях) и ввели в их программу ряд светских дисциплин. Они разрешили хоровое пение в синагогах, согласились, чтобы синагогальные проповеди произносились на разговорном языке. Многие русские иммигранты обратились к этому ортодоксальному иудаизму с целью сохранить своих детей и в то же время сберечь то, что они считали основой своей веры.

Реформистский иудаизм продолжал эволюционировать. Его основоположники отбросили так много традиционных еврейских элементов, что остаток с трудом можно отличить от какой-либо протестантской секты.

Результат был неожиданным, все больше евреев стали переходить в протестантство и католичество. Реформисты спохватились и стали возвращаться к некоторым элементам еврейской традиции. Этот поворот оказался благодатным для американского реформизма.

Америка стала также родиной самого последнего по времени течения в иудаизме - консервативного. Консервативный иудаизм был основан выходцем из Румынии рабби Шломо Шехтером (1850-1915). Шехтер объединил консервативные элементы реформизма и либеральные элементы ортодоксии. Он упростил некоторые из законов кашрута, отменил некоторые из правил субботы, ввел в синагогальную службу орган и санкционировал использование разговорного языка в определенных молитвах.

И наконец особое место в религиозной жизни евреев Америки занимает Хабад (по первым буквам ивритских слов хохма, биина, даат - мудрость, разум, познание), или Любавичское движение. Это движение перенес из России Рабби Иосиф-Ицхак Шнеерсон (1880-1950), шестой по счету в раввинской династии Шнеерсонов. Хабад представляет ярко выраженную ветвь хасидизма - движения, начавшегося в западных областях России во второй половине XVIII века и пустившего глубокие корни в широкой еврейской ортодоксально настроенной массе. Около полутора столетий Любавичское движение оставалось внутри славянской диаспоры. Его всемирному распространению парадоксальным образом способствовала советская власть. В 1927 г. в Ленинграде Рабби Иосиф-Ицхак Шнеерсон был осужден и приговорен к смертной казни за его бескомпромиссную борьбу с могучей державой за религию. Благодаря протестам мировой общественности (в СССР движение за освобождение рабби возглавляла первая жена А.М. Горького Е.П. Пешкова, стоявшая во главе политического Красного креста) в том же 1927 году рабби Шнеерсон был освобожден. Он выехал вместе с семьей в Ригу. Затем переехал в Варшаву. В 1940 г. он эмигрировал в Америку и поселился в Нью-Йорке. Вначале в Европе, а затем в Америке он организует новые общины хасидов и укрепляет старые,

создает в Америке, Европе и Израиле сеть любавичских религиозных школ. В 1939 г. Рабби основал «Всемирное движение любавичских хасидов», а после второй мировой войны - «Объединение иешив США и Канады».

Иосиф-Ицхак Шнеерсон скончался в 1950 г. Новую главу в движении Хабад после его смерти вписал его зять, воспитанник и ученик - седьмой любавичский ребе - Рабби Менахем Мендел Шнеерсон.

Еврейская эмиграция из России и Восточной Европы в Америку длится более 100 лет с перерывами. Эмигранты последней четверти двадцатого века оказались в духовно-национальном отношении обделенными. Они не взяли с собой того, что привезли эмигранты конца прошлого века и начала нынешнего, - Торы, святых молитв, родного языка, еврейских традиций и песен. Все это отняла у них Советская власть, зарыл в землю и испепелил германский фашизм.

Целью очерка было очень сжато ознакомить современных эмигрантов из бывшего СССР с жизнедеятельностью американских евреев, в числе которых русские евреи сыграли колоссальную роль.

Не будь их, вся еврейская жизнь Америки выглядела бы иначе и пошла бы иными путями, постепенно отрываясь от своих корней.

На основании довольно скудных данных некоторые историки считают, что первые еврейские эмигранты из России прибыли в Америку еще в 1820 году.

К этому времени все еврейское население Америки составляло более трех тысяч человек. Преобладали среди них «сфардим» - испано-португальские евреи, В настоящее время в США 5,8 миллионов евреев, в большинстве ашкиназийского происхождения.

* * *

Массовая эмиграция русских евреев, начавшаяся в восьмидесятых годах прошлого столетия, вдохновили известную поэтессу Эмму Лазарус (1849-1887) написать выдающееся литературное произведение - сонет под названием «Новый Колосс».

Эмма Лазарус родилась в 1849 году в семье богатого сахарозаводчика Моисея Лазаруса. Еще в детстве она слышала от своего отца рассказы о том, как евреев изгоняли из Испании. Но это было так давно...

И вот летом 1881 года у Эммы произошла встреча с русскими евреями. 250 мужчин и женщин странной наружности ожидали разрешения иммиграционных властей на одном из островов близ Нью-Йорка.

Теперь она впервые увидела евреев, которых преследовали и громили за то, что они евреи. История повторялась. Эти евреи бежали из царской России, как когда-то их предки из Испании. Ютятся в жалких бараках, принадлежащих американскому правительству, эти люди еще не успели опомниться от страха смерти.

Эмма Лазарус, благородная богатая леди, воспитанная на классической и античной литературе, посмотрела им в глаза и вдруг ощутила себя сопричастной к трагедии этих людей, таких же евреев, как она сама. Как раз в это время Франция подарила Америке самую большую в мире скульптуру - статую Свободы. Ее должны были установить на одном из островов нью-йоркской гавани. На призыв американского комитета статуи Свободы написать что-либо специально для статуи Свободы Эмма не сразу откликнулась. Но идея нашла глубокий отклик в ее душе. Эмма не видела статую Свободы, но вспомнила огромный факел статуи, установленный в Нью-Йорке на углу 5-й Авеню и 26-й стрит в качестве рекламы кампании по сбору средств на ее пьедестал. В тусклом свете газовых фонарей Нью-Йорка факел сверкал, как молния, как маяк для всех, блуждающих во тьме. На острове он будет виден издали всем кораблям, плывущими в Новый Свет. Эмма написала сонет «Новый Колосс», ставший для автора билетом в бессмертие, а для статуи Свободы - новым именем.

НОВЫЙ КОЛОСС

*Не исполин, что греком был отлит,
Победно ставший средь земель и стран:
Здесь, где уходит солнце в океан,
Восстанет женщина, чей факел озарит
К свободе путь. Могуч и кроток вид,
То - Мать Изгнанников. Мир целый осиян
Тем маяком; отправлена в туман,
Пред нею гавань шумная лежит.
«Вам, земли древние, - кричит она, безмолвных
Не раздвинув губ, - жить в роскоши пустой,
А мне отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, скарб ничтожный свой,
Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я им свечу у двери золотой!»*

(Перевод Владимира Лазарис)

28 октября 1886 года статуя Свободы была торжественно открыта президентом США Гровером Кливлендом, но Эмма не присутствовала на торжествах: она путешествовала по Европе. Тяжело больная, она вернулась в Нью-Йорк 31 июня 1887 года. 19 января Эмма Лазарус умерла. 5 мая 1903 года, спустя 16 лет, как Эмма была похоронена, на одной из сторон статуи Свободы была укреплена бронзовая табличка. На ней был выгравирован сонет «Новый Колосс», а под ним - даты рождения и смерти Эммы Лазарус. Другая мраморная табличка украшает международное отделение аэропорта имени Кеннеди. Изображенный на ней поднятый факел и четыре строчки об отверженных и бездомных встречают всех, кто прибывает воздушным путем в Соединенные Штаты Америки.

На этом завершается первая часть сжатого очерка истории евреев США.



БОРИС КОЛКЕР

МЫ ЖИВЕМ В КЛИВЛЕНДЕ

Очерк

Кливленд вчера

Итак, с чего начинался Кливленд? Первым, кто еще в 1784 г. высоко оценил район впадения реки Кайахоги в озеро Эри для развития торговли, был Джордж Вашингтон. На памятнике ему перед Домом Федерального Правительства в центре Кливленда высечены пророческие слова, определившие будущее нашего города.

Через 11 лет после этого высказывания правительство Коннектикута, которому принадлежала обширная территория под названием Western Reserve, послало в район нашего нынешнего города юриста и бывшего генерала, выпускника Йельского университета Мозеса Кливленда (1754-1806) с группой землемеров, чтобы подготовить территорию к продаже. Группа прибыла на место 22 июня 1796 года. После трех месяцев топографических работ Мозес Кливленд вернулся в Коннектикут разочарованный, оставив трех мужчин и одну женщину среди индейцев и скромно разрешив присвоить новому поселку свое имя.

На следующее лето сюда прибыла новая группа землемеров, в которую входил Лоренцо Картер, первый постоянный житель Кливленда. Группа разбила территорию на участки с центральной площадью (Public Square) в 10 акров (4,5 га) и наметила две осевые магистрали - улицы Superior и Ontario (кстати, сегодня улица Ontario делит город на Восточную и Западную части). Поселок рос, строились дома, гостиницы и церкви. Важные события способствовали его росту.

В 1813 году произошел бой на озере Эри вблизи Кливленда, в результате которого английский флот был разбит, что спасло США от возвращения под власть Англии. Канал Эри соединил в 1825 году Атлантический океан с озером Эри, а канал Огайо дал доступ к рекам Огайо и Миссисипи. Кливленд приобрел статус города в 1836 году и стал быстро превращаться в крупный промышленный и торговый центр. Он получил доступ к железной руде в районе озера Верхнее (Superior) и к углю из штатов Огайо и Пенсильвания. Сталелитейная промышленность города бурно росла, отвечая потребностям страны в машинах, железнодорожном оборудовании, судах, сельскохозяйственном оборудовании, инструментах.

Жители соседнего города Огайо Сити, располагавшегося на западном берегу Кайахоги (в районе нынешнего западного рынка) очень ревниво относились к росту Кливленда и готовы были сжечь мосты через реку. Чтобы урегулировать конфликт, оба города слились в 1854 году, причем мэр Огайо Сити стал мэром объединенного Кливленда. Это соперничество Восточной и Западной сторон в какой-то степени сохраняется до сих пор. Построенная в середине XIX века железная дорога еще теснее объединила два бывших города, но сделала ненужными оба канала.

Богатые люди того времени селились на Euclid Avenue от Public Square до East 30th в роскошных дворцах, из которых сохранились лишь несколько. Сегодня, глядя на этот участок, трудно себе представить, что здесь жил самый богатый человек (и самый большой филантроп) в мире - Джон Рокфеллер (1839-1937), сделавший Кливленд центром

нефтеперерабатывающей промышленности мира. В 1870 году он создал здесь компанию *Standard Oil*, которая изменила ход мировой истории. Могила Джона Рокфеллера находится в Кливленде. К 1920 году Кливленд был моделью того, каким должен быть американский город. Управление городом было эффективным, экономика - процветающей.

Богатейшая семья братьев Мэнтис и Орис Ван Сверинген стала застраивать район Shaker Heights как один из лучших пригородов. Чтобы содействовать продаже домов в этом районе, они построили линию наземного метро (rapid) между Shaker Heights и центром города. Стремясь объединить пассажиров железных дорог, которыми они владели, и трамвая, они построили на Public Square в 1930 году грандиозное здание Terminal Tower ("Привокзальная башня") высотой 708 футов (216 м), которое до 1967 года было самым высоким зданием в мире за пределами Нью-Йорка. Говорят, что высотные дома, построенные в Москве по указанию Сталина (помните, "великие стройки коммунизма"?) строились по образцу и подобию Terminal Tower. Когда в 1956 году первая советская делегация проезжала Кливленд на пути в штат Айова, как отметил свидетель, "комиссары были ошеломлены" видом Terminal Tower. Кстати, во времена правления Н.С.Хрущева Кливленд постоянно посещали советские делегации, ибо здесь жил председатель Американско-советского комитета, лауреат Международной Ленинской премии мира, организатор Пагуошского движения, один из самых успешных американских бизнесменов Сайрус Итон (1883-1979).

Но началась Великая Депрессия, и братья Ван Сверинген полностью разорились и вскоре умерли в безвестности. Можно сказать, что Кливленд оправился от Великой Депрессии лишь не так давно. Многие богатые семьи потеряли свое имущество. Их фирмы вынуждены были производить массовые увольнения и даже закрываться. После процветания 20-х годов пришло запустение. Оздоровление экономики началось лишь через десяток лет.

После 2-й Мировой войны начался быстрый приток черного населения в Кливленд с юга. Черные заняли рабочие места белых, которые ушли на фронт. Участники войны, вернувшись с фронта, стали строить дома в пригородах, где это оказалось гораздо дешевле. Город Кливленд (City of Cleveland) приходил в упадок. Во второй половине 60-х годов последовали волнения среди его черного населения, столкновения с полицией в районе Glenville, были человеческие жертвы.

Евреи Кливленда, которые селились на пересечении улиц Woodland Avenue и East 55th, а также в районе Glenville - по East 105th к озеру Эри, полностью перебрались в пригороды. Они оставили после себя великолепный медицинский центр Mount Sinai и теперь уже мало посещаемый величественный храм - синагогу Temple. В 60-х годах как символ единения еврейского населения с Большим Кливлендом в центре города было построено оригинальное здание Федерации Еврейских организаций (Jewish Community Federation).

В 80-х годах начался быстрый рост экономики и улучшение экологии Кливленда. Резко изменился к лучшему его внешний облик. Этим поворотом руководила группа управляющих 50 крупнейших фирм города под названием Cleveland Tomorrow. Улучшение происходит на наших глазах быстрыми темпами, и сейчас Кливленд является одним из самых привлекательных городов страны. Что же привлекает людей переселяться в Большой Кливленд? Недорогие дома и коммунальные услуги, хорошие школы, высококачественные дороги, неплохой городской транспорт, низкие налоги, относительно невысокий уровень преступности, достаточно гармоничные отношения между расовыми и этническими группами, доступность культурных, развлекательных, спортивных и религиозных заведений и, конечно же, возможность найти работу на любой вкус или открыть собственный бизнес.

Кливленд сегодня



Значение региона Mid-West (забавное название - Средний Запад!), в который входит штат Огайо, для США сравнимо со значением региона Среднего и Южного Урала для России с такими крупнейшими промышленными, научными и культурными центрами, как Свердловск (Екатеринбург), Челябинск, Уфа, Пермь. Да и природа здесь очень напоминает уральскую, правда, с более мягким климатом, приблизительно таким, как в Киеве, хотя мы живем на севере Соединенных Штатов.

Сегодняшний Большой Кливленд состоит из собственно города Кливленда (около полумиллиона жителей), из полусотни так называемых пригородов (фактически - районов), в которых проживает около миллиона человек. Эти районы имеют статусы городов со своим самоуправлением, так что мэр Кливленда не имеет никакой юридической власти, скажем, в Mayfield Heights. Кливленд и его пригороды объединены в округ Кайахога (Cuyahoga County), который можно условно считать Большим Кливлендом. Кроме того, еще полмиллиона человек живет за пределами округа Кайахоги в городах и поселках, которые тоже можно условно

отнести к Большому Кливленду. Говоря в дальнейшем о Кливленде, мы обычно будем иметь в виду Большой Кливленд. На его территории, составляющей около 10% площади штата Огайо, проживает почти 20% населения этого одного из крупнейших в стране штатов.

Кливленд расположен на высоте 200 м над уровнем моря по обеим сторонам реки Кайахоги, что на языке местных индейцев значит "извилистая" (длина реки 160 км), у ее впадения в озеро Эри (площадь 26000 кв.км), которое входит в систему Великих Американских Озер (общая площадь 246000 кв.км) - самого большого на земле резервуара пресной воды. Для сравнения: площадь Азовского моря - 38000 кв.км, площадь Черного моря 413000 кв.км.

Кливленд имеет стратегическое положение для транспорта и торговли, не зря его называют The Best Location in the Nation (самым лучшим расположением в стране). Это один из крупнейших портов в системе морского пути: *Река святого Лаврентия - Великие Американские Озера*. В Кливлендский порт заходят океанские корабли (в том числе, из России). Разветвленная сеть шоссе, железная дорога, огромный международный аэропорт имени Хопкинса и другие аэропорты соединяют город со всеми точками США и Канады. В радиусе 1000 км от Кливленда проживает почти половина населения Северной Америки.

Кливленд - один из крупнейших в стране центров оборонной, космической, приборостроительной, нефтеперерабатывающей, химической, легкой и пищевой промышленности. Как и по всей Америке, здесь преобладают средние и мелкие предприятия: лишь на трех процентах из 60000 предприятий работают 100 и более

человек. В Кливленде и вблизи него расположены заводы трех автомобильных гигантов. Некоторые крупнейшие национальные компании избрали Кливленд местом своих штаб-квартир, среди них Eaton (самое рентабельное предприятие штата Огайо 1994 года), BP America (наследник Ohio Standard Oil), TRW, American Greeting, Nestle.

Основное средство передвижения в американских городах - автомобиль, поэтому значение общественного транспорта все уменьшается. Но благодаря компании Regional Transit Authority (RTA) общественный транспорт развит совсем неплохо. Вот как RTA рекламирует свою деятельность: "Добро пожаловать на транспорт RTA! Имея почти 800 автобусов и более 100 скоростных трамваев, RTA числится среди 12 крупнейших компаний общественного транспорта в стране. Наши 2800 работников упорно работают каждый день, чтобы помочь вам и 64 миллионам других пассажиров ежегодно ездить по площади в 515 кв. миль (1334 кв. км) и 67 городам, которые составляют зону обслуживания Большого Кливленда." Впечатляет, не правда ли?

Но все-таки основная масса горожан передвигается на автомобилях. Хорошие дороги и наличие скоростных шоссе (фривеев) позволяют за непродолжительное время преодолевать большие расстояния. Для автомобилистов будет приятно узнать, что в нашем городе были изобретены амортизаторы и автоматические стеклоочистители (изобретатель Клод Фостер). В 1966 году муниципалитет Кливлендского пригорода Бруклин впервые в стране ввел обязательное пользование привязными ремнями. Первая в стране платная стоянка автомобилей тоже появилась в Кливленде (в 1951 г. в аэропорту им. Хопкинса).

В Кливленде немало университетов и колледжей. Самый знаменитый из них - Case Western Reserve University. Другие, заслуживающие уважения высшие учебные заведения: Cleveland State University, Cleveland Institute of Art (Институт искусств), Cleveland Institute of Music (Институт музыки), John Carrol University, Baldwin-Wallace College. Вблизи Кливленда расположены Kent State University и Oberlin College - первое в США высшее учебное заведение с совместным обучением мужчин и женщин. Кроме того, в русскоязычной среде популярны Cuyahoga Community College (Tri-C), Bryant & Stratton College (бывший ETI), Sawyer College of Business.

Наука в США обычно базируется в университетах и крупных частных компаниях. Но в Кливленде флагманом науки, несомненно, является NASA Glenn Research Center - своего рода НИИКосмос. Другие космические связи Кливленда: один из американских космонавтов Greg Harbaugh - уроженец нашего города; первый космический аппарат, улетевший за пределы Солнечной системы, Pioneer 10, был создан Кливлендской фирмой TRW.

Очень богата и разнообразна культурная жизнь Кливленда. Скажем об этом лишь несколько слов. Комплекс четырех театров на Playhouse Square - крупнейший театральный комплекс в стране за пределами Нью-Йорка и Сан-Франциско. Здесь находится самое длинное в мире театральное фойе, тянущееся почти на 100 метров.

Кливлендский оркестр, созданный еще в 1918г., - самый записываемый симфонический оркестр США. Его первым дирижером был Николай Соколов, уроженец Киева. Зрительный зал резиденции оркестра Severence Hall (1931г.) на 2000 мест всегда полон. Оркестр пользуется поистине всеобщей народной любовью ("ВАШ Кливлендский оркестр!" - обычно объявляет ведущий, открывая концерт). Надо видеть фантастическую картину на концертах в его летней резиденции в Blossom, когда много тысяч людей сидят на холме и слушают симфоническую музыку, уплатив, кстати, немалые деньги за билеты. Оркестр имеет свою популярную радиостанцию, которая передает классическую музыку (очень часто русских композиторов) круглые сутки, в том числе концерты из Музея изобразительных искусств и Института музыки. Между прочим, по воскресеньям здесь же можно слушать передачи на еврейские темы. По интернету эту радиостанцию можно слушать во всем мире.

Кливленд знаменит своими музеями, и первый из них - Cleveland Museum of Art (1916), напоминающий своей коллекцией Музей изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. Здесь проводится культурно-просветительная работа: лекции, концерты (в том

числе бесплатные), демонстрируются лучшие кинофильмы. Кстати, это один из немногочисленных в стране музеев такого класса с бесплатным входом. Упомянем также Музей природоведения (Cleveland Museum of Natural History) и музей религиозного искусства в храме-синагоге Temple на улице East 105th. Уникальный музей рок-н-ролла стал одним из главных символов города, какими уже давно являются Кливлендский оркестр и всемирно известная клиника Cleveland Clinic. Кстати, слово рок-н-ролл родилось в Кливленде.

Кливлендская публичная библиотека - одна из крупнейших в стране публичных библиотек и первая в мире библиотека с открытым доступом к фонду. Она первой ввела круглосуточный доступ по телефону к своим компьютерным каталогам и одной из первых - доступ по Интернету. Здесь находится самая большая в мире коллекция шахматной литературы.

С 1842 года в Кливленде выходит крупнейшая в Огайо газета The Plain Dealer. Упомянем также Cleveland Jewish News и *Русский Магазин*. Есть свои журналы, радио- и телевизионные станции. Собственное телевидение пришло в наш город в конце 1947 года. А теперь у нас есть даже два местных русских телевидения и русское радио.

Кливленд - поразительно зеленый город. Его многочисленные парки занимают 800 га. Нельзя не упомянуть хотя бы несколько парков: Wade Park с озером (лагуной) перед Музеем изобразительных искусств; Rockefeller Park с культурными садами 22 народов и оранжереей; Brookside Park, включающий в себя прекрасный зоопарк; Sea World - крупнейший в регионе парк жизни моря; Ботанический сад. И два замечательных развлекательных парка вблизи Кливленда - Cedar Point и Geauga Lake Park.

Из бесконечного числа торговых центров упомянем лишь три самых выдающихся по архитектуре. Tower City Center - это гигантский торговый и офисный центр, пристроенный к Terminal Tower на Public Square. Поражает свой легкостью стеклянная Галерея. И наконец, изумительной красоты Старая Аркада (The Old Arcade).

О Кливленде можно рассказывать бесконечно. Но давайте вооружимся биноклем и фотоаппаратом и поднимемся на обзорную площадку Terminal Tower. Отсюда с высоты птичьего полета мы посмотрим внимательно на сердце города - его центр, который носит название Downtown.

Кливленд - взгляд с обзорной площадки

Даунтаун - это административный, деловой, культурный, развлекательный центр города. Только здесь днем по улицам ходит много людей, как по-деловому, так и нарядно одетых.

Даунтаун - это транспортный узел города, округа, региона и штата: здесь находятся железнодорожный вокзал, один из аэропортов, междугородный автобусный вокзал, морской порт, пересечение линий наземного метро; наконец, отсюда можно уехать автобусом в любой район Большого Кливленда.

Наши соотечественники обычно плохо знают Даунтаун, хотя и бывают в нем, иногда ежедневно, например, учась на курсах английского языка. Многие даже путают Даунтаун (сердце города от реки Кайахога до улицы East 22th или, в крайнем случае, East 30th.) с городом City of Cleveland с населением 500-600 тысяч человек и полагают, что знаменитый University Circle - сосредоточение научных, образовательных, культурных и медицинских учреждений - находится в Даунтауне (на самом деле это не Downtown, а Uptown - окраина города). Многие даже боятся здесь появляться, питаясь давними и непроверенными слухами. Я живу и работаю в Даунтауне (я в шутку говорю, что Даунтаун - мой двор) и могу подтвердить официальную полицейскую статистику о том, что Даунтаун - одно из самых безопасных мест большого Кливленда.

Итак в дорогу! Чтобы не заблудиться и не пропустить ничего интересного, поделим центр города на участки и внимательно обойдем их.

Район центральной площади



Главной достопримечательностью Кливленда является 52-этажное офисное здание Terminal Tower (1930 г.), к которому в 1990 году было искусно пристроено торговый центр Avenue, располагающийся на четырех уровнях. На нижнем уровне пересекаются все три линии метро. На остальных уровнях сверкают нарядные магазины и киоски; здесь же расположены многозальный кинотеатр, выставочные залы, рестораны, закусочные. В кинотеатре ежегодно в марте проходит традиционный Кливлендский международный кинофестиваль, на котором можно увидеть новейшие фильмы многих стран, в том числе России и Израиля. В картинной галерее Art Avenue Gallery экспонируются работы американских и зарубежных художников; здесь можно было увидеть коллекцию работ Сальвадора Дали. Avenue - любимое место прогулок кливлендцев, защищенное от непогоды. Много украшений, море света, всегда звучит негромкая, неторопливая, приятная музыка. В огромном зале у фонтана с прыгающими струями, которые, кажется, не подчиняются

законам физики, устраиваются концерты, выставки, ярмарки, демонстрации мод и другие развлечения, которые задумывают и осуществляют изобретательные американцы. Каждый час можно увидеть фонтанное шоу: нечто вроде балета, в котором танцуют струи воды.

Avenue соединяется с офисными зданиями Landmark Office Towers, огромным универсамом Dillard's и отелями Renaissance и Ritz Carlton (единственный в Большом Кливленде 4-звездочный отель). Общая площадь этого уникального комплекса, который носит название Tower City Center, составляет 15 гектаров. Шпиль Terminal Tower используется в качестве радиотелевизионной башни. А обзорная площадка находится на 42-м этаже, откуда мы сейчас рассматриваем Даунтаун.

Центральная площадь города Public Square, заложенная 200 лет назад, разделена на четыре квадранта. В 1839 г. каждый из них был обнесен забором, чтобы отгородиться от скота, который разгуливал по центру города; позднее заборы были снесены, чтобы сделать проезжими улицы Superior и Ontario. По планировке этой площади видно, что город основан выходцами из Новой Англи. В юго-западном квадранте находится памятник основателю города генералу Мозесу Кливленду; в северо-западном - скульптура прогрессивного мэра Тома Джонсона (летом по пятницам здесь часто выступают рок-группы и раздаются бесплатно прохладительные напитки и пакетики с закусками); в северо-восточном - фонтан; а в юго-восточном - скульптурная композиция - памятник солдатам и матросам (1894 г.), показывающая сцены гражданской войны. Среди символов религий, изображенных на этом памятнике, есть и шестиконечная звезда.

В отличие от советских городов, на этой центральной площади не увидишь военных парадов и демонстраций трудящихся в поддержку... Правда, парады здесь бывают, но не военные, а нечто вроде карнавалов или веселых шоу; описывать эти захватывающие зрелища трудно, их надо видеть. Public Square - место народных гуляний, концертов, митингов и других массовых мероприятий, на которые обычно приходят 50-60 тысяч человек. А когда в День Независимости один из самых знаменитых в мире **симфонических** оркестров играет на центральной площади города разудалый **рок-н-ролл**, тысячи людей хлопают в ладоши и даже отплясывают, в воздухе носятся объемные изображения, создаваемые лазерными лучами, раздается грохот, и все окутывается дымовой завесой от художественного фейерверка в ночном небе... Согласитесь: в этой фантазмагории есть что-то от "Мастера и Маргариты" Булгакова.

Вообще пиротехника и иллюминация стоят в Америке на фантастическом уровне. Попробуйте съездить в День Независимости в Edgewater Park (с прекрасным пляжем), это недалеко от Даунтауна. Вы окажетесь в эпицентре главного фейерверка, от которого захватывает дух.

Помните, в Союзе на Новый год дети кричали хором под руководством ведущей: "Елочка, зажгись!" При этом кто-то из взрослых вставлял штепсель в розетку, и на елке загорались огоньки цветной гирлянды. На Public Square, где собираются на праздник света десятки тысяч людей (многие с детьми и даже с младенцами), местный Дед Мороз по имени Санта Клаус взмахивает рукой, через всю площадь пролетает огненная стрела, врежется в главную городскую елку, и вся площадь озаряется морем огней. И сразу же в небе над Terminal Tower вспыхивают букеты цветов традиционного фейерверка. А на небольшом катке начинается фигурное катание. В толпе бродит огромный робот (настоящий!), который раскачивается, играет музыку и танцует. И много других чудес.

Ну, а грандиозную встречу на Public Square Нового 1996 года, знаменующего 200-летний юбилей Кливленда, жители города запомнят надолго. Сцены из истории Кливленда проецировались с помощью лазерной техники на Terminal Tower и прилегающие здания. Трудно себе представить, но факт: даже в 12 часов ночи, в Новый год, здесь не было ни пьяных, ни выпивающих, ни хулиганящих. Люди пришли семьями, пели и веселились от души.

Величественное 46-этажное здание BP America Building, облицованное красным гранитом, имеет очень красивый атриум (пристроенный вестибюль) с зимним садом, деревьями и фонтанами. Оно было построено в 1986 г. для компании Standard Oil of Ohio, одного из осколков гигантской нефтяной империи Standard Oil. Большинство крупнейших нефтяных компаний США уходят корнями в это детище Дж. Рокфеллера. В последние годы английская компания British Petroleum (BP) стала приобретать все больше и больше акций Standard Oil of Ohio и стала ее владельцем. А недавно произошло объединение нефтяных компаний BP America и Amoco.

Самое высокое здание в городе Key Center Tower высотой в 57 этажей отлично вписалось в пейзаж Даунтауна, хотя оно сдано совсем недавно - в конце 1991 года. Здесь располагается штаб-квартира крупнейшего банка Key Bank. С севера примыкает отель Marriott Society Center. Оба они пристроены к 10-этажному зданию из красного песчаника (1890 г.) с расписными стенами и витражным потолком (первое высокое здание в городе).

Церковь Old Stone Church с часовой башней на Public Square - самая старая в Даунтауне: она возведена в 1855 г. на месте первоначальной церкви, построенной 175 лет назад. Она привлекает своими витражами, деревянным сводчатым потолком и дубовыми панелями. Здесь регулярно проводятся бесплатные концерты.

У соседнего здания Illuminating Building, перед рестораном John Q's Restaurant висит скромного вида предмет - копия дуговой лампы, которую изобрел кливлендец Чарльз Браш. 29 апреля 1879 г. Public Square стал первым в мире местом с уличным электрическим освещением, за полгода до того, как великий изобретатель Томас Эдисон (кстати, уроженец Огайо и почетный гражданин Кливленда) внедрил свою лампу накаливания.

Район городского бульвара

В начале века был принят Групповой план, в соответствии с которым здания с государственными учреждениями должны концентрироваться в районе городского бульвара Mall. Первым было построено в 1905-11 гг. здание Old Federal Building, в котором сейчас располагается федеральный суд. Очень интересны по архитектуре вестибюль и залы для судебных заседаний. Здание украшено скульптурами Даниэля Френча "Юриспруденция" и "Коммерция". Для эмигрантов это здание имеет особое значение ибо здесь проходит официальная процедура получения американского гражданства для всего штата Огайо.



Здание Кливлендской публичной библиотеки построено в 1925 г., а в 1997 г. сдан ее дополнительный корпус в виде суперсовременной башни. Многие здесь привлекают наших соотечественников, но многое для них пока остается малоизвестным. В огромном отделе иностранной литературы (более 200 000 книг!) можно взять книги и журналы на русском языке (и на десятках других языков), учебные пособия и аудиокассеты для изучения английского языка. В отделе периодики - множество газет, в том числе "Известия" и "Новое Русское Слово". В библиотеке можно найти государственные документы, научно-технические журналы, художественную и любую другую литературу. Здесь есть музей редкой книги и уникальная коллекция шахмат. В вашем распоряжении музыкальные записи и видеофильмы (в том числе на русском языке), альбомы и даже коллекции редких фотографий.

В огромном справочном зале стоят на открытых полках всякого рода справочники, словари, энциклопедии (даже Большая советская энциклопедия на английском языке; БСЭ на русском есть в отделе иностранной литературы). А о системе компьютерных каталогов, которыми пользуются читатели этой библиотеки, можно писать статьи и даже поэмы. Кстати, здесь я обнаружил, что мои учебники международного языка эсперанто, выпущенные в Москве издательствами "Наука" и "Прогресс", имеются в библиотеке конгресса, в университетских библиотеках десяти штатов и даже могут выдаваться в другие города по межбиблиотечному абонементу. И еще: в библиотеке вы можете бесплатно совершить увлекательное путешествие по волнам компьютерных сетей Интернет.

Выйдя из библиотеки и перейдя на другую сторону Superior Avenue, попадаем в Старую Аркаду (Old Arcade). Это крупнейшая в стране аркада с офисными башнями по бокам - архитектурное чудо, как бы переносящее нас в Италию (и несколько напоминающее ГУМ). Она построена по проекту Айзенмана и Смита в 1890 г. и была одним из первых торговых центров США. Она и сейчас служит торговым и офисным центром. Когда вы придете в Старую Аркаду (впервые или в очередной раз), не забудьте подняться на галерею, чтобы полюбоваться видом сверху. Если вы пройдете Старую Аркаду насквозь и окажетесь на Euclid Avenue, вы сможете пройти дальше через одну из двух других красивых аркад на Prospect Avenue.

Здание Федерального резервного банка в классическом стиле построено в 1923 г. и имеет одну из самых больших в мире сводчатых дверей. По двум его сторонам стоят скульптуры с символическими названиями "Безопасность", "Честность" и "Энергия на отдыхе". В 1996 г. был пристроен дополнительный корпус банка, облицованный розовым гранитом. Здесь располагается один из 12 федеральных резервных банков, которые регулируют денежный поток в стране.

Отдел народного образования располагается в здании классической архитектуры, построенном в 1930 г. в соответствии с Групповым планом. На обширной лужайке перед ним стоит скульптура Авраама Линкольна. А чуть дальше находится оригинальный мемориал, посвященный жертвам мировых войн, под названием "Фонтан вечной жизни". Скульптор Маршалл Фредерикс работал над ним 19 лет. В центре мемориала - бронзовая фигура, встающая из пламени, которое символизирует огонь войны. В отличие от мемориалов такого рода, в кливлендском нет оружия и сцен насилия.

Нередко приземистые, неприметные здания в Кливленде оказываются чрезвычайно вместительными. За примерами далеко ходить не надо: вспомним универсамы сети Finast (Tops). Дворец съездов и выставок Cleveland Convention Center, который строился по частям (1922, 1929, 1964 гг.), относится именно к такого типа зданиям. Здесь могут проводиться одновременно 14 мероприятий. Самый большой зал вмещает 10300 человек. В этом дворце проходили два всеамериканских съезда Республиканской партии. Кроме съездов и конференций здесь устраиваются выставки, праздники цветов, ярмарки рабочих мест, концерты. В 1936 г. дворец был центром Great Lakes Exposition - нечто вроде ВДНХ, которая протянулась по побережью озера Эри от улицы West 3rd до улицы East 20th. Вскоре рядом появится еще более грандиозный Дворец съездов и выставок.

Четыре года строилось, в соответствии с Групповым планом, здание Кливлендской мэрии Cleveland City Hall. Созданное из серого гранита в классическом стиле, оно было открыто в 1916 г. На стене зала заседаний горсовета огромная картина под названием "Там, где встречаются люди и минералы" (это о Кливленде). Главное фойе мэрии, имеющее форму ротонды, украшено одной из самых знаменитых картин на патриотическую тему под названием Spirit of '76, которую написал в 1912 г. Арчибальд Виллард. В мэрии находится Зал славы, экспонаты которого рассказывают о самых выдающихся гражданах Кливленда. Возле здания в сквере установлена знаменитая скульптура - Штамп "Свободен" (автор Клэс Ольденберг).

Городской бульвар Mall создан по Групповому плану в 1902 г. Отсюда открывается захватывающий вид на озеро Эри, футбольный стадион, новые музеи и набережную. К достопримечательностям городского бульвара относятся фонтаны, мемориальные предметы и скромная табличка, извещающая, что в этом месте была установлена первая в США городская общественная рождественская елка.

Здание суда округа Кайахога построено в 1912 г. в соответствии с Групповым планом. Оно имеет мраморную лестницу и окружено четырнадцатью статуями, в том числе Томаса Джефферсона (автора Декларации независимости и третьего президента США) и Александра Гамильтона (лидера федералистов).

В 128-метровом Центре юстиции располагаются штаб-квартира кливлендской полиции, музей полиции и 23-этажная башня суда. Здание завершено в 1977 г. и окружено модернистскими скульптурами.

Сквер под названием Fort Huntington Park находится на месте форта, существовавшего во время войны 1812 г. Здесь главнокомандующий Генри Гаррисон встречался с коммодором Оливером Перри до и после боя на озере Эри (10 сентября 1813 г.) В сквере установлены мемориал погибшим в войне во Вьетнаме и скульптура кливлендца Джесси Овенса, легкоатлета и олимпийского золотого medalиста (1936 г.).

Исторический складской округ

Если вы хотите побывать в Европе второй половины XIX века, приходите в старый Даунтаун, который сейчас носит название Historic Warehouse District. Он располагается сразу же за Public Square по направлению к реке Кайахога. Вы увидите красивые европейские дома той эпохи, многочисленные ресторанчики и ночные клубы с музыкальными группами, столики у тротуаров, картинные галереи, антикварные магазины.

Перед самым мостом, который был реконструирован к 200-летию Кливленда, по Superior Avenue стоит здание Perry-Payne, которое выглядело архитектурным чудом в далеком 1889 году. Оно недавно реставрировано и стало одним из самых привлекательных домов в Даунтауне.

Чуть ближе к Public Square находится первое в Кливленде высотное здание в 16 этажей под названием Rockefeller Building, которое было построено в 1905 г. для знаменитого кливлендского нефтяного магната и самого богатого человека в мире Джона Рокфеллера. В 1920 г. Рокфеллер продал это здание, которому новый хозяин дал новое имя. Рассвирепевший миллионер вновь купил это здание, вернул ему свое имя и опять продал. На здании находится мемориальная доска (очень напоминающая подобные доски на нашей родине), извещающая, что на этом месте стоял самый знаменитый в городе отель Weddell House, где останавливался перед своей инаугурацией Авраам Линкольн и даже выступал с балкона перед народом.

Район порта

Кливлендский порт - самый большой грузовой порт на Великих Американских Озерах. По рекам и каналам сюда заходят даже океанские корабли.

К 200-летию города рядом с портом была построена набережная, и горожане наконец обрели прекрасное место для гуляний. Здесь пришвартован 200-метровый пароход, служащий теперь морским музеем. С набережной можно совершить прогулки на теплоходе по озеру Эри и реке Кайахога.

К набережной примыкают два уникальных музея. Зал славы и Музей рок-н-ролла (который спроектировал всемирно известный архитектор Пей) был открыт с помпой в 1995 году и в первый же год своего существования привлек около 800 000 посетителей. Используемый здесь синтез компьютерной, видео- и аудиотехники производит неизгладимое впечатление. На площади перед музеем проходят представления клоунов и кукольников.

Рядом располагается Музей науки и техники, созданный с поистине американским размахом. Здесь находится удивительный кинотеатр, который позволяет вам почувствовать себя участником космического полета и других захватывающих действий. В перспективе - строительство по соседству Музея-аквариума.

Восточнее по побережью озера находится аэропорт Burke, где, начиная с 1964 г., в День Труда проходят воздушные парады (шоу).

С запада к порту примыкал один из самых больших муниципальных стадионов в США на 80 000 мест, построенный в 1931 г. Недавно он был разрушен, и на его месте в 1999 г. появился на радость бесчисленным болельщикам новый суперсовременный футбольный стадион.

Недалеко от Музея рок-н-ролла привлекает внимание комплекс зданий модернистского вида из прозрачного темного материала North Point Building (1985 и 1990 гг.). В нем располагается штаб-квартира одной из крупнейших в мире адвокатских фирм Jones, Day, Reavis & Rogue. Перед зданием сидит скульптурная группа музыкантов.

Дом федерального правительства занимает 31-этажное здание из стали и стекла, построенное в 1967 г. В числе прочих важных учреждений находятся кливлендские отделения Службы иммиграции и натурализации (которая дает статусы иммигранта и беженца, постоянного жителя и гражданина США). Администрации социального страхования (которая в числе прочего оформляет карточки Social Security, назначает пособия по нетрудоспособности и возрасту), Налоговой службы (самого грозного учреждения в стране) а так же ФБР – федеральное бюро расследования. У западного входа находится памятник Джорджу Вашингтону скульптора Уильяма Маквея (1973 г.).

Через дорогу на улице East 9th возвышается здание телефонной компании Ameritech с полосами зеркал, установленных под углом и отражающих близлежащие улицы. Рядом - радующий глаз двухэтажный торговый центр Галерея (1987 г.) из стали и зеленого стекла с элегантными и дорогими магазинами, ресторанами и буфетами, на втором этаже - художественный салон с романтическими картинами Кинкейда. На первом этаже под пальмой стоит рояль: в обеденное время здесь иногда проводятся концерты. С улицы East 9th можно пройти насквозь Галерею и офисную башню Erieview (четвертое по высоте здание в городе) и выйти на улицу East 12th.

Финансовый район

Пересечение улиц East 9th и Euclid Avenue в середине XIX века называли лягушачьим прудом из-за непросыхающей лужи от проезда многочисленных повозок. Сейчас здесь находятся три крупных банка: National City Bank, Star Bank и Huntington Bank. Старейший в городе National City Bank занимает комплекс, который включает целый квартал и состоит из новой белой башни (1980 г.) и двух величественных зданий конца XIX века, соединенных друг с другом коридорами. Здание Huntington Bank Building (1924 г.) имеет самый большой в мире банковский зал, разделенный на две части - клиентурную и служебную. Зайдите и полюбуйтесь его величием, особенно если вы подниметесь на второй этаж и посмотрите с галереи.

На втором этаже здания Citizen Building располагается элитный клуб City Club, где по пятницам в обеденное время выступают с лекциями выдающиеся государственные и общественные деятели страны. Прямую передачу этих выступлений можно слушать по радио, а видеозапись - на следующее утро по телевидению.

Рядом по улице East 9th (местный Уолл-стрит) находится штаб-квартира банка Ohio Savings Bank, принадлежащего семье Гольдбергов, которые занимают руководящие места в правлении Федерации еврейских организаций.

Грандиозное здание (вернее, два здания, соединенных друг с другом) из серого бетона и стекла Reserve Square построено в 1973 г. и является самым современным жилым домом в Даунтауне. Кроме того, здесь расположены отель Embassy Suites, колледж Bryant & Stratton College (бывший ETI), единственный в Даунтауне универсам, рестораны, различные торговые предприятия и офисы, а также студии 19 и 43 каналов телевидения. Рядом находится первое в Даунтауне современное жилое здание Chesterfield (1967 г.), а через дорогу - маленький, но оригинально построенный (именно построенный) сквер Chester Commons.

Почти весь квартал по Superior Avenue от East 9th до East 12th занимает Собор святого Иоанна со знаменитым органом и управление Кливлендской католической епархии. Первоначальная церковь была здесь построена в 1848-52 гг. Собор был перестроен и значительно расширен в 1948 г., облицован гранитом толщиной в 79 (!) см, привезенным из штата Теннесси. Сводчатый потолок и витражи остались от первоначальной церкви.

Район театральной площади

Огромное здание Statler Office Tower на углу улиц Euclid и East 12th было построено как отель в 1912 г. Сейчас это офисный дом. На первом этаже расположен большой букинистический магазин, где можно приобрести за небольшую сумму книги по любой тематике, в том числе и по еврейской, и даже кое-какие книги на русском языке, например, якутско-русский словарь (на случай если вы случайно встретите в Кливленде якута и захотите объясниться с ним на его родном языке).

Здание на другой стороне Euclid Avenue под названием Halle Building было построено в 1908 г. и много лет использовалось как универмаг. В 1985 г. оно было перестроено как офисное здание. На первом этаже - фонтаны, красивые магазины, рестораны и буфеты. В июне 1995 г. были открыты пристроенный к этому зданию новый красивый отель Wyndham в форме многопалубного корабля и прилегающая красивая площадь Star Plaza.

Небольшой дворец в стиле Ренессанса Union Club, построенный в 1905 г. - это бизнес-клуб для деловой элиты города, который основал известный кливлендский бизнесмен Маркус Ханна. Находящийся через дорогу Cleveland Athletic Club, построенный в 1912 г., имеет спортивные залы и большой плавательный бассейн на 12-м этаже.

На углу улиц East 14th по Euclid Avenue стоит офисное здание Hanna Building, где находятся, в частности, бюст Маркуса Ханна (которого называли the President-marker, т.е. человек, делавший президентов США) и общественная организация Совет по международным делам. Маркус Ханна был настолько знаменитым человеком, что на свадьбу его дочери Рут приезжал сам Президент США Теодор Рузвельт. В 1997 году здесь вновь открылся театр-кабаре.

Через дорогу находится Renaissance Building (1990 г.) - черное блестящее здание оригинальной формы, с часовой башней. Здесь, в частности, проходят слушания по делам Social Security об определении нетрудоспособности; когда здесь рассматриваются заявления наших соотечественников, меня приглашают в качестве переводчика.

Немного дальше к югу находится кладбище Erie Street Cemetery, где похоронены пионеры Кливленда; в частности, здесь находится могила Лоренцо Картера, первого постоянного жителя Кливленда.

Стоя на Театральной площади (Playhouse Square), трудно себе представить, что здесь находится один из крупнейших в мире театральных комплексов (под названием Playhouse Square Center). Он был построен в 20-х гг. После войны был в полном упадке. Реконструкция комплекса произведена в 80-х и закончилась в 1998 г. Он состоит из четырех театров: State, Palace, Ohio и Allen. После перестройки театра Allen, где идут спектакли театров с Бродвея, комплекс имеет 9500 мест, уступая только Центру Линкольна в Нью-Йорке. В театрах комплекса ставятся оперные, балетные, драматические спектакли, а также проходят разного рода концерты. Первым поставленным здесь балетом был "Щелкунчик" Чайковского. В обеденное время в комплексе регулярно проводятся бесплатные концерты, представляющие искусство народов мира. Огромные холлы, настенные росписи и картины, богато украшенные залы, очень удобное расположение кресел в этих театрах производят огромное впечатление.

Красивое здание из зеленого стекла на улице East 17th знают многие новые иммигранты, ибо здесь они получают первую помощь от государства по программе велфер. Некоторым удается оставаться на этой программе довольно долго. Но большинство устраиваются, зарабатывают и платят налоги, которые идут, в частности, и на программу велфер.

Университетский район

Студенческий городок университета Cleveland State University простирается от East 18th до East 30th. Среди его достопримечательностей 5-этажный атриум (University Center), 25-этажная башня Rhodes Tower, огромный закрытый плавательный бассейн олимпийского типа, картинная галерея. Между улицами Prospect и Carnegie находится круглое здание Convocation Center на 13 000 мест, в котором выступал не только Билл Клинтон, призывая кливлендцев голосовать за него, но и московский цирк. В университете регулярно даются бесплатные концерты, в том числе классической музыки.

На Euclid Avenue вблизи East 18th находится широко известный среди иммигрантов International Services Center (Международный центр услуг). Здесь проводятся бесплатные занятия по английскому языку для новых иммигрантов и письменные экзамены на получение гражданства США, оформляются документы на получение гринкарты и гражданства, имеется бюро переводов. Ежегодно центр организует с большим размахом красочный фестиваль дружбы народов, проживающих в Кливленде, который проходит в одном из театров комплекса Playhouse Square Center.

По другую сторону East 18th находится оригинальное здание Федерации еврейских организаций Большого Кливленда (Jewish Community Federation). Она является "крышей", в частности, для популярных среди иммигрантов организаций Jewish Community Center (JCC) и Jewish Family Association, которую в народе зовут "джуйкой". В большие еврейские праздники перед зданием устанавливается менора. В числе прочего, Федерация собирает деньги и в помощь неимущим в Кливленде, в Израиле, в России и других странах мира. Еврейское население Большого Кливленда жертвует на благотворительные нужды гораздо больше, чем это делает в среднем еврейское население США.

На пересечении улиц Euclid и East 18th обычно начинаются парады и шествия, массовые забеги, а также ряды и аттракционы ярмарок, которые тянутся до самого Public Square.

Готический собор Троицы Trinity Cathedral на углу улиц Euclid и East 22th был заложен в 1901 г. и открыт в 1907 г. Он построен из известняка из штата Индиана. Интерьер имеет средневековый вид с витражами и органом. Церковь обставлена мебелью XIX века, резные кресла привезены из Германии. Здесь по средам проходят знаменитые brown bag concerts - бесплатные "обеденные" концерты, на которых слушатели едят свои бутерброды, приносимые в традиционных коричневых пакетах. Здесь, в частности, выступал хор мальчиков Рижского Домского собора.

Участок по Euclid Avenue от East 9th до East 40th когда-то называли Millionaire's Row Mansions - проспектом дворцов миллионеров. Из них сохранились лишь четыре, в том числе Howe Mansion (2260 Euclid), построенный в 1894 г., Mather Mansion (2605 Euclid), построенный в 1911 г., Beckwith Home (сейчас University Club по 2813 Euclid), построенный в 1863 г.

Низина реки

22 июля 1796 г. Мозес Кливленд с группой землемеров высадились на восточном берегу реки Кайахога вблизи озера Эри, взобрались на холм и объявили это место главным городом территории Western Reserve. На этом месте сейчас сооружен фонтан. По побережью пущена новая линия наземного метро.

По обоим берегам реки, в низине, которая носит название Flats, находятся многочисленные развлекательные заведения - рестораны, ночные клубы, бары, магазины, художественные салоны. По реке можно покататься на катерах и лодках. Уникальный развлекательный центр Nautica, начало которому положило строительство ресторана Shooter's Restaurant в 1987 г., ежегодно посещают миллионы людей. Имеются планы дальнейшего расширения этого района развлечений.

Спортивный комплекс Gateway Stadium



Из комплекса Tower City Center можно пройти по длинному крытому переходу в спортивный комплекс Gateway Stadium.

Бейсбольный стадион Jacobs Field имеет 42 000 мест. Специально на его открытие летом 1994 г. прилетал президент США Билл Клинтон. Кливлендцы - большие любители бейсбола и очень гордятся своей командой Cleveland's Indians. В честь ее больших побед в центре

города проводятся митинги и парады. На этом стадионе летом 1994 г. Кливлендский оркестр давал бесплатный концерт. Могло ли нам такое когда-то присниться - огромный стадион, полный зрителей, слушающих симфоническую музыку! Америка полна чудес.

К стадиону примыкает крытый дворец спорта Gund Arena на 22 000 мест, где выступает баскетбольная команда Cavaliers. Зал используется и для фигурного катания, концертов, шоу. Когда в Кливленд приехал гость из Италии Лючиано Паваротти, для концерта сняли этот гигантский зал, и любители оперного пения заполнили его до отказа. Как и многое в США, организаторы сделали этот концерт доступным для людей любого достатка (цена билетов была от двухсот до десяти долларов), а потому смогли прийти и немало наших соотечественников - новых иммигрантов.

Мы живем в одном из замечательных городов Америки - Кливленде. Живем не без проблем, но у кого нет проблем?! Здесь явно свободнее дышится - не только в прямом, но и в переносном смысле. Остальное во многом зависит от нас самих.



Анна ГЕРТ

СТОЛЫПИНСКАЯ УТОПИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

Г-н Столыпин потому и не создал никакого настоящего успокоения и не дал стране устойчивого равновесия, основанного на правопорядке, что его управление страной

есть сплошной компромисс с г. Дубровиным¹⁾

П.Б.Струве «Patriotica»²⁾

С развалом СССР, когда хаос и беспредел стали обычным явлением российской жизни, а так называемые «демократические преобразования» вызвали множество неразрешимых экономических, социальных и юридических проблем, мечту о прекрасном будущем все более уверенно вытесняет миф о прекрасном прошлом. События, уже давно сделавшиеся достоянием истории, перекраиваются, героизируются и приобретают зачастую не свойственные им величественные черты. Как и всякая утопия, такого рода мифы отвлекают от настоящего, придают ему характер чего-то временного, незначительного, почти эфемерного. С авторами мифов невозможно спорить, поскольку, как известно, они не признают «правду факта», им подавай «правду века», которая для них - все та же утопия, населенная исполинскими образами героев. Их могучие фигуры, мастерски нарисованные авторами, зачастую заслоняют ту самую «правду факта» или точнее «правду фактов», без которых не могут существовать ни вышеупомянутые герои, ни «правда века». Роль истории при таком подходе выражается известной поговоркой в несколько измененном виде: «История - что дышло: куда повернешь, туда и вышло». Историк вырабатывает свою концепцию не на основе непредвзятого исследования фактов и документов, а трактуя реальные события в соответствии с идеологическими установками сегодняшнего дня, руководствуясь определенными эталонами и штампами.

Исходя из теперешней потребности в «идолах и идеалах» и учитывая их крайний дефицит в связи с тем, что перестроечная и постперестроечная пресса низвергла почти всех героев прежних времен, воплощавших социалистические принципы, начались лихорадочные поиски кандидатов в новые кумиры. При этом освободившиеся места на высоком пьедестале истории отнюдь не всегда предоставляются самым достойным. Это относится к крупно-масштабной и крайне протворечивой личности П.А.Столыпина, который, руководствуясь благими побуждениями создать могучую Россию, практически подтолкнул страну к катастрофе.

Впервые за последние годы образ Столыпина появился в романе Александра Солженицына «Август 14-го». Очевидно, это не случайно. Россия, давшая миру целую плеяду великих писателей, композиторов, художников, не может похвастать обилием выдающихся государственных деятелей, даже Петр Первый и Екатерина Вторая,

1) А.И.Дубровин, председатель черносотенного Союза русского народа, организатора еврейских погромов. Известно, что Дубровин сфабриковал более 20 дел по обвинению евреев в «ритуальных убийствах».

2) Ю.Кублановский, «Социальное веховство П.Б.Струве», «Новый мир» № 4, 1998 г. стр. 222.

признанные Великими, воспринимаются профессиональными историками неоднозначно. Солженицын привлек внимание читателей к одной из ключевых фигур российской истории XX века, к личности государственного деятеля предреволюционного периода, верой и правдой служившего царю и отечеству и пытавшегося своей твердой рукой предотвратить близящуюся революцию. К сожалению, литературная версия, созданная Солженицыным, далека от реального портрета Председателя Совета Министров и скорее напоминает легендарных богатырей русских былин. Однако такая трактовка была подхвачена прессой, появилось множество статей, восхваляющих деятельность Столыпина и приписывающих ему особую, исключительно позитивную роль в событиях прошлого. Авторы подобных статей, во-первых, всецело оправдывают предпринятые Столыпиным «решительные меры», направленные не только против революционеров, но и против самых широких слоев населения, и, во-вторых, поднимают на щит его аграрную реформу. Мало того, некоторые из этих авторов убеждены, что России и на современном этапе непременно нужен новый Столыпин, так как лишь такому правителю под силу справиться с мафией, коррупцией и повести страну к «светлому будущему», которым на сей раз является рыночная экономика... Но не следует ли попытаться деятельность Столыпина рассмотреть в конкретно-историческом контексте?

Как отмечает известный американский историк Ричард Пайпс, между 1878 и 1881 гг. в России «был заложен юридический и организационный фундамент полицейского режима с тоталитарными обертонами». ¹⁾ Поворотным пунктом становления полицейской власти было изданное 14 августа 1881 года Александром III «Распоряжение о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведению определенных местностей империи в состояние усиленной охраны». Этот законодательный акт был создан для борьбы с широко развернувшимся революционным движением и предоставлял право политической полиции в 10 губерниях Российской империи не только устанавливать критерии и степень фактической виновности граждан, но и производить обыски и отправлять в тюрьмы без санкции прокурора. Таким образом, в борьбе за сохранение существующего порядка полицейские органы перестали быть орудием закона. Они функционировали вопреки закону и даже возвышаясь над ним, так как их деятельность не подлежала судебному надзору и опиралась всецело на административно-бюрократическую систему. При этом концентрация власти в руках бюрократической полиции отнюдь не способствовала воцарению общественного спокойствия. Наоборот, в условиях жесточайшего аграрного кризиса она увеличивала раскол между государством и обществом, вовлекая народные массы в бурный революционный поток.

События «Кровавого воскресения», когда мирная демонстрация рабочих, ожидавших от царя защиты и милости, была расстреляна царскими войсками, считаются началом революции 1905 года и важной вехой российской истории. Дело не только в том, что в этот день на Дворцовой площади было убито около 200 и много больше ранено из числа демонстрантов. В этот день был нанесен непоправимый удар по идеократическим основам империи. Как известно, начиная с Николая I русские цари в своем правлении опирались на формулу Уварова «Православие, самодержавие, народность».

После 9-го января эта триада утратила смысл. Народ, который долгое время ни народники, ни эсеры не могли подтолкнуть к противоправительственным действиям, включился в революционную борьбу.

1) Ричард Пайпс, «Россия при старом режиме», Москва, «Независимая газета», 1993 г., стр. 399.

Повсеместные стачки и забастовки заставили Николая II издать Манифест от 17 февраля 1905 года, который даровал населению империи некоторые гражданские свободы, но не принес желаемого «умиротворения». Как указывал гр. Витте в докладе, написанном для царя и ставшим основанием для издания Манифеста, «волнение, охватившее разнообразные слои российского общества, не может быть рассматриваемо как следствие частичных несовершенств или только как результат организованных действий крайних партий. Корни этого волнения несомненно лежат глубже. Они в нарушении равновесия между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами жизни. Россия переросла форму существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы».¹⁾

Это стремление к социальной справедливости, к правовому государству и явилось причиной революции 1905 года.

Советская историография, рассматривая прошлое сквозь призму коммунистической идеологии, искажала многие факты, относящиеся к тому времени, поскольку наиболее активную роль в этой революции играли не большевики, а эсеры. При участии различных социальных слоев восстанием были охвачены Польша, Кавказ, Прибалтика и значительная часть центральной и южной России. Именно в это время рабочие впервые учредили профсоюзные организации. Тогда же были созданы и советы рабочих депутатов, они выросли из забастовочных комитетов и в отдельных городах, охваченных забастовками, даже осуществляли функции временного управления.

Однако многие историки и журналисты перестроечного и постперестроечного периода предпочитают видеть в событиях тех лет всего лишь серию заговоров и убийств. Уж не потому ли, что при ином подходе пришлось бы говорить не о «террористических актах», а о революции, которая была предтечей событий октября 1917-го? Правда, сейчас модно и октябрьскую революцию 1917-го считать заговором или путчем. Хорош заговор, если после захвата власти большевиками по всей стране не один год полыхала гражданская война, в которой победили все те же «заговорщики», а возникший в результате режим просуществовал ни много ни мало - 70 с лишним лет!

П.А.Столыпин был назначен министром внутренних дел в канун созыва Первой Государственной Думы, а спустя еще три месяца, 9 июля 1906 года, Председателем Совета министров. Он проявил на этих постах исключительную волю и энергию для подавления революции и продлил существование монархии более чем на 10 лет. При нем страна продолжала двигаться семимильными шагами по пути создания полицейского государства. Первая и Вторая Думы были разогнаны. Обещанные Манифестом «незыблемые основы гражданской свободы» оказались существенно урезанными избирательным законом от 3 июня 1907 года, практически он лишил представительства в Думе как многочисленные слои трудового населения, так и национальные меньшинства на окраинах империи. «Распоряжение» от 14 августа 1881 г., действовавшее ранее в десяти губерниях, было распространено на всю Россию, а идея «православие - самодержавие - народность» была окончательно разрушена введенными Столыпиным военно-полевыми судами, которые санкционировали без всякого разбирательства массовые казни, превратив насилие в будничным факт общественной жизни.

Необходимо сказать, что общественное сознание в России никогда не оправдывало использование репрессивных методов для достижения внутривнутриполитических целей, какими бы прекрасными они ни казались. Достоевский, как известно, утверждал, что даже «высшая гармония» не стоит слезинки одного замученного ребенка. Лев Толстой в статье «Не могу молчать!» яростно выступил против столыпинских казней. «Все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар при сухой соломе, развращение всех сословий русского народа.

1) Цитируется по книге: М.Хейфец «Цареубийство в 1918 г.», Москва, «Фестиваль», 1992 г., стр. 69.

Распространяется же это разращение особенно быстро среди простого рабочего народа, потому что все эти преступления, превышающие в сотни раз все то, что делалось и делается простыми ворами, разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа со справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, дума, церковь, царь».¹⁾

Льва Толстого горячо поддержали Александр Блок, Леонид Андреев и многие другие известные литераторы. Художник Илья Репин в своем письме в газеты заявил: «Прав Лев Толстой - лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу Родину, и этим молчанием как бы сочувствовать им. Миллионы, десятки миллионов людей, несомненно, подпишутся теперь под письмом нашего великого гения, и каждая подпись выразит собою как бы вопль измученной души».²⁾

«Решительные меры» Столыпина, отличавшиеся для своего времени ни с чем не сравнимой жестокостью, не только не разрешили коренных проблем, но и вызвали вскоре - вкуче с другими обстоятельствами - ответную волну грандиозных убийств. У сталинских «троек» в прошлом имелся прецедент: столыпинские казни «по усмотрению администрации».³⁾

Репрессии довели сознание общества до той грани, за которой всякий компромисс между противоборствующими сторонами оказался невозможным. Убийства, возведенные в ранг государственной политики, способствовали отравлению народного сознания, подготовив его к последующим событиям, таким, как коллективизация и 1937 год.

Особого рассмотрения, хотя бы в самой краткой форме, требует вопрос «Столыпин и евреи». Зачастую Столыпин изображается чуть ли не другом еврейского народа, добивавшегося перед самим царем если не полного равноправия, то во всяком случае расширения защиты прав еврейского меньшинства. Однако факты убедительно доказывают, что с 1906 по 1911 гг., то есть за время пребывания Столыпина в ранге Председателя Совета министров, ровно никаких перемен в положении евреев не произошло. Будучи основным инициатором «Особого журнала Совета министров»⁴⁾ 1906г., или, говоря более современным языком, докладной записки, адресованной царю, глава правительства полагал, что «дарование ныне частичных льгот (евреям. - А.Г.) дало бы возможность государственной думе отложить разрешение этого вопроса в полном объеме на долгий срок». «Отложить» - это была первая важнейшая задача.

Второй задачей было «успокоить нереволлюционную часть еврейства». Руководствуясь этими намерениями, Столыпин не был особенно щедр на перечисляемые в «Особом журнале» льготы. Так, например, «отменялось узаконение», воспрещавшее евреям жить в сельских местностях (разумеется, в пределах все той же черты оседлости); отменялось ограничение «в производстве евреями крепких напитков»; отменялась «денежная ответственность семейства еврея, уклонившегося от воинской повинности», а также отменялись «некоторые ограничения в праве следования членов еврейских семейств за ссылаемыми в Сибирь главами их» и т.д.⁵⁾

1) Л.Толстой, «Не могу молчать!», Москва, «Советская Россия», 1985 г., стр. 445.

2) Там же, стр. 519.

3) Трудно удержаться, чтобы в этом месте не процитировать Роберта Пайпса: «Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля и Маркса. Ибо, хотя идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организационным переменам лишь если падают на почву, готовую их принять». См. Ричард Пайпс, «Россия при старом режиме», Москва, «Независимая газета», 1993 г., стр. 390.

4) «Убийство Столыпина», Рига, «Курсив», 1990, стр. 57.

5) Там же, стр. 58, 59, 60.

И только! Тут же в предлагаемом проекте говорилось, что «в нем не имеется в виду разрешение еврейского вопроса в полном объеме, ибо такая коренная мера не могла бы быть принятой иначе, как в общем законодательном порядке, по выслушании голоса народной совести».¹⁾ (Разрядка моя - здесь и выше. - А.Г.)

Примечательно, что Столыпин, опиравшийся в своем правлении отнюдь не на волеизъявление народа, а на штыки и виселицы, для решения еврейского вопроса считает нужным обратиться к «голосу народной совести»... Любопытно, что «народная совесть» во Франции провозгласила равноправие евреев еще в 1791 г. В Германии, Австрии, Италии гражданское равноправие было дано в результате революций 1848 года. В Англии евреи получили в 1858 году столь широкие политические права, что стали посылать своих представителей в парламент. В Сербии и Болгарии равноправие евреев было признано в 1878 г., в Швеции и Дании несколько раньше.²⁾ В России этот вопрос - кровотокающий в самом прямом смысле - даже не ставился на государственном уровне вплоть до 1917 года, когда его разрешила Февральская революция.

Разговоры о «народной совести», которая якобы должна урегулировать «существо отношений еврейской народности к коренному населению»³⁾, не помешали Столыпину предоставить правительственную субсидию в размере 150000 рублей Союзу русского народа.⁴⁾ Хотя справедливости ради следует сказать, что будучи «спонсором» этой черносотенной организации, Столыпин умел пресекать ее действия, если они вызывали излишнее для властей беспокойство.

Примечательно, что гр. В.Н.Коковцев, бывший во времена Столыпина министром финансов, говорит о дополнительных причинах, побудивших главу правительства поставить вопрос об отмене некоторых ограничений в отношении евреев. По его словам, эти ограничения не только «питают революционное настроение еврейской массы, но и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра - в Америке».⁵⁾ При этом, говорит Коковцев, Столыпин ссылаясь на пример Плеве, который также принимал некоторые меры к сближению с американским еврейским центром, но встретил весьма холодное отношение со стороны руководителя этого центра - Шифа. Однако, считал Столыпин, «в настоящую минуту такая попытка может встретить несколько иное, более благоприятное отношение...» Благоприятное отношение не возникло, поскольку даже убогие предложения, фигурировавшие в «Особом журнале», были отвергнуты царем, что же до Думы («совести народной»), то ни II, ни III, ни IV не нашли времени их обсудить. Зато в период с 1905 по 1910 гг. из России только в Америку эмигрировало более 500 000 евреев, а многие из оставшихся приняли активное участие в революционном движении.

Но главным в деятельности Столыпина была земельная реформа. Вопрос о ней, кстати, обсуждался еще осенью 1905 года. Тогда правительство, испуганное ростом народных волнений, собиралось провести ее так, чтобы крестьяне получили примерно 25 млн. десятин земли, причем значительную часть должны были составить помещичьи земли. Но после подавления революции дворянство отказалось отдать какую-либо часть своих владений крестьянам, в связи с этим аграрное законодательство, выработанное под началом Столыпина, в отличие от проекта Витте, оставляло дворянские земли в неприкосновенности, но требовало разрушения крестьянской общины.

1) «Убийство Столыпина», Рига, «Курсив», 1990, стр. 57.

2) С.М.Дубнов, «Краткая история евреев», стр. 431, 438-439.

3) «Убийство Столыпина», стр. 44.

4) Уолтер Лакер, «Черная сотня», Москва, «Текст», 1994, стр. 64.

5) «Убийство Столыпина», стр. 55.

На первый взгляд, такое решение являлось обоснованным. Помещичьи хозяйства были более производительными, именно они обеспечивали хлебом страну и поставляли сельскохозяйственную продукцию на экспорт. Что же касается общинной формы землепользования, которую всячески превозносили как славянофилы, так и народники, то она базировалась на архаических принципах ведения хозяйства, препятствуя внедрению прогрессивной технологии и повышению урожайности. Крестьяне зачастую не могли обеспечить даже собственных нужд и вели полуголодное существование. Встав на путь промышленного развития, страна нуждалась в увеличении производства зерна не только для экспорта, но и для снабжения городских жителей, численность которых неуклонно возрастала. Необходимость преобразования общинного землевладения была очевидной.

Тем не менее большая часть крестьян выступала против столыпинской реформы, которая безжалостно вторгалась в их жизнь, лишая возможности пользоваться общинными пастбищами, лугами, мельницами и т.д. и вызывая ожесточенные конфликты внутри общины в связи с выделением в собственность земельных участков. Сама идея «поддержки сильных» в качестве основы замысла Столыпина противоречила крестьянским, да и человеческим понятиям о справедливости. Земля бедняков должна была перейти к богатым мужикам, составляющим 10-15% сельского населения, часть крестьян планировалось переселить на окраины, на отруб. Реформа предполагала создание среднего класса, который станет опорой государства, гарантирует стабильность и капиталистическое развитие России в будущем.

Результаты реформы, казалось бы, подтверждали правильность намеченного пути. В 1912 году по валовому сбору зерна Россия вышла на первое место в Европе. Однако по урожайности она оставалась на одном из последних мест среди европейских держав, к тому же главными поставщиками зерна были не новые крестьянские хозяйства, а все те же крупные помещичьи землевладения. Хотя экспорт хлеба существенно вырос, положение российских подданных к лучшему не изменилось. В неурожайные годы бедственное положение наблюдалось во многих частях Российской империи. Так, например, в 1911 году многие газеты сообщали о страшном голоде, разразившемся в целом ряде губерний. Скажем, в газете «Новое время», известной своей реакционной, проправительственной ориентацией, можно было прочесть: «Троицк, Оренбургская губерния. Тяжелый момент переживает наш козак. Не успел он оправиться от недорода прошлого года, как надвинулось на него новое неурожайное бедствие, еще более ужасное. На территории Троицкого и Челябинского уездов я знаю несколько поселков, где по десятку семей едят только через день и притом хлеб, испеченный из муки, наполовину разбавленной мякиной и ухоботьем от прошлого года. Скотоводческое хозяйство спешно ликвидируется». Автор заметки - агроном К.Крылов. («Н.В.» от 5 окт. 1911 г.)

Или: «Общество охранения народного здоровья собрало представителей 22 общественных петербургских организаций с целью обсудить, как организовать врачебно-продовольственную помощь тем губерниям, население которых гибнет от голода...» («Н.В.» от 23 окт. 1911 г.)

Или: «Голод в Западной Сибири выгнал оттуда иностранных предпринимателей - маслоделов. Впрочем, население голодных районов покуда не унывает. Корреспондент, объехавший некоторые местности Екатеринбургского уезда, записал следующую песенку:

А мы хлеб пропьем - побирать пойдём,

А куски поберем - и куски пропьем!

Не подаст никто - голодать будем,

А и смерть придет - помирать будем!»

(«Н.В.» от 23 окт. 1911 г.)

Помимо перечисленных, голод распространился на уезды Казанской и Саратовской губерний...

Однако с 1909 года в России начался промышленный подъем, которому также способствовали аграрные преобразования, поскольку разоренное крестьянство устремлялось в город и удовлетворяло растущую потребность промышленности в рабочей силе. Производство угля и стали с 1909 по 1913 годы возросло примерно на 40%,

увеличилась продукция станкостроения, сооружались железные дороги. При всем том основной своей цели - создания слоя зажиточных хозяев, опоры царя и отечества, реформа не добилась, так как не учитывала психологии и экономических интересов крестьянства. Перед Первой мировой войной лишь четвертая часть крестьян вышла из общин и вела хозяйство самостоятельно, остальные пополнили ряды деревенских бедняков или образовали в городах широкий слой люмпенов. В итоге наряду со сравнительно небольшим количеством фермерских хозяйств, многие из которых разорились в годы войны, в деревне стремительно увеличилось число бедняков и батраков, явившихся впоследствии, как отмечал Ленин, «социальной опорой большевиков». Крестьянские же, да и рабочие массы, лишь недавно переместившиеся из деревни в город, были благодатной средой для восприятия марксистско-ленинской идеологии в ее предельно вульгаризированном варианте. Как отмечает известный исследователь этого вопроса Р.Е.Джонсон, «наложение сельских и городских раздражителей и пристрастий способствует возникновению особенно взрывоопасной смеси».¹⁾

Столыпинская реформа, вызвавшая быструю дифференциацию общества и дальнейшее обнищание крестьянства, стала важнейшей предпосылкой образования в России такого рода «взрывоопасной смеси». В условиях военного времени, когда все общественные противоречия были обострены до предела, эти два слоя - беднейшее крестьянство и городской, в значительной части люмпенизированный пролетариат - дали возможность столь малой по численности партии большевиков не только захватить власть в октябре 17-го, но и выиграть гражданскую войну. Кстати, ни Колчак, ни Деникин не смогли сгладить остроту аграрного вопроса на завоеванной территории. Очевидно поэтому они испытывали острую нехватку в рядовом составе, а Добровольческая армия одно время и вовсе называлась «офицерской».

Столыпин, безусловно, фигура трагическая. Он мечтал о «Великой России», но его реформа сделалась одним из главных источников случившихся вскоре «Великих потрясений». Руководствуясь отдаленными идеалами, он не учитывал значительности и серьезности происходящих вокруг событий. Провозгласив лозунг «Вначале умиротворение страны, а затем реформы», он рассчитывал на спокойные 20 лет, тогда как новая революция была уже на пороге.

Пытаясь искусственно, в короткие сроки создать на российской почве среднее сословие, которое не было для нее органическим в отличие от западных, иными путями развивавшихся государств, Столыпин возбудил недовольство крестьянских масс, что впоследствии, в годы Первой мировой войны, усугубило и без того сложную ситуацию, а затем решило исход гражданской войны. Наконец, стремление Столыпина во что бы то ни стало оставить неприкосновенным помещичье землевладение, но при этом сохранить империю и даже добиться ее процветания, носило достаточно иллюзорный характер.

В связи со всем этим вряд ли можно считать Столыпина дальновидным государственным деятелем, скорее его следует отнести к разряду разнообразных утопистов, переполняющих российскую историю с давних времен и по наши дни. Но так уж вышло, что русские утописты - не чета зарубежным. Пока те, наморщив лоб, излагают свои взгляды в толстых фолиантах, будь то Фурье или даже Маркс, отечественные усердно внедряют в жизнь как их теории, так и свои собственные. Разумеется, в длинной веренице славянофилов, народников, анархистов, эсеров, меньшевиков, большевиков и пр. и пр. фигура Столыпина занимает особое место. Однако при всем своеобразии его утопия не составляла исключения. Как и всякая другая, она не могла стать реальностью, но при этом требовала от народа для своего воплощения в жизнь много терпения и непомерных усилий и жертв. В итоге она, как и всякая другая, захлебнулась кровью, чтобы вскоре смениться новой. На сей раз - утопией светлого будущего - коммунизма. А последняя - следующей, и тоже «светлого будущего», но теперь уже - капитализма...

¹⁾См. Джон Хоскинг, «История Советского Союза», Москва, «Вагриус». 1994 г., стр. 29.

К сожалению, утопии связаны не только с прошлым или будущим, они давно уже захватили прочное место в настоящем. Предпринятая на наших глазах еще одна типично утопическая попытка стремительного преобразования тоталитарного государства в демократическое, а централизованной экономики в рыночную путем школярского перенесения западного опыта на российскую почву потерпела поражение. Она привела к экономическому хаосу, обнищанию населения, разграблению страны и передаче власти от политбюро КПСС в руки всемогущей, поразительно быстро выросшей, тесно связанной с мафией олигархии.

Однако, может быть, хватит?

Не слишком ли много утопий для «одной, отдельно взятой страны»? Не пора ли прекратить эксперименты, являющиеся плодом умозрительных теорий, и научиться у того же Запада, и в первую очередь у молодой, динамичной Америки искусству конкретно мыслить, учитывать многофакторность жизни, исходить из реалий прошлого и настоящего? Это и было бы, вероятно, важнейшим уроком, который сегодня можно извлечь из преимущественно негативного опыта Столыпина.

ДЖОРДЖ СОРОС

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА¹⁾

Эссе

Перевела с английского Анна Герт

Джордж Сорос, один из самых богатых людей планеты, затративший немало энергии и средств для развала коммунистических тоталитарных режимов, считает, что господствующий в западном обществе культ успеха, измеряемый количеством денег, представляет собой серьезную опасность. По его мнению, главной угрозой для современного открытого общества является не коммунизм, как это было раньше, а капитализм. Идеи Джорджа Сороса, изложенные в эссе «Капиталистическая угроза» (журнал «Атлантик», февраль 1997 г.), вызвали целый шквал критических откликов в американской прессе. Хотя в русскоязычной печати также появились статьи, рассказывающие о деятельности и взглядах известного финансиста и филантропа, представляется важным ознакомиться с этим концептуальным эссе не по пересказам, а в переводе с оригинала.

В «Психологии истории» Гегель предрекает упадок и крах цивилизации, провозгласившей основным принципом интенсификацию производства. Думается, его взгляды не только не утратили остроты, но приобрели особую актуальность в настоящее время. И хотя источником моего собственного благосостояния является финансовый рынок, я полагаю, что неограниченная интенсификация производства и распространение рыночных ценностей на все стороны жизни представляют прямую угрозу нашему открытому демократическому обществу. Более того, именно эти обстоятельства, а не коммунизм, сделали для него ныне главной опасностью.

Термин «открытое общество» впервые был употреблен Генри Бергсоном в книге «Два источника морали и религии (1932 г.)», а затем получил развитие в работе «Открытое общество и его враги», написанной австрийским философом Карлом Поппером (1945 г.). Автор показал, что характерной особенностью идеологии тоталитарных режимов, таких, как коммунизм и нацизм, является невозможность допущения каких-либо альтернатив, поскольку каждая из них претендует на знание абсолютной истины. Однако так как абсолютная истина недостижима, эти идеологии ради реализации своих принципов должны постоянно прибегать к насилию. Поппер сравнивал тоталитарные идеологии с воззрениями, которые исходят из того, что никто из нас не обладает монополией на истину. Напротив, совершенно естественно, что разные люди имеют различные взгляды и интересы, поэтому демократическое общество создает институты, гарантирующие права его граждан, защищающие свободу мнений и выбора. Организованное на таких началах общество Карл Поппер называет «открытым обществом».

Написанная во время Второй мировой войны, книга Поппера определяла фундамент западной демократии, те идеалы, за которые она сражалась. Правда, объяснение термина «открытое общество», данное Поппером, было слишком абстрактным и не получило широкого распространения. Тем не менее в конце сороковых годов, когда передо мной был опыт, с одной стороны, нацистского режима в Германии, а с другой - коммунистического в Венгрии, на меня, студента, книга Поппера произвела неотразимое впечатление силой своей аргументации.

1) The Atlantic Monthly, February, 1997, The capitalist Threat by George Soros.

Углубляясь в философию Карла Поппера, я задавался вопросом, почему для нас недоступна абсолютная истина? Ответ был ясен: потому прежде всего, что мы сами непосредственно включены в жизнь того мира, который стремимся познать и объяснить. Результаты познания зависят от условий нашего существования. И тут дело не только в самих фактах, но в критериях, которыми располагает наше сознание, они придают любым событиям соответствующую трактовку.

В сфере естественных наук на результаты исследования влияют точность и чистота эксперимента, но в других областях знания взаимосвязь между объективными фактами и сделанными выводами может быть весьма слабой. При анализе политических и социальных процессов общественное положение исследователя во многом предопределяет его отношение к действительности. Что же служит средством проверки полученных результатов? Таким средством является механизм обратной связи между изучаемыми событиями и той интерпретацией, которую дает им наше сознание.

Правильность экономической теории проверяется практикой. Я убедился в этом на основе реальных результатов моей деятельности на финансовом рынке. Что же до общественно-политических взглядов, то, испытав и нацистские преследования, и притеснения коммунистического режима, я пришел к тому, что наивысшую ценность для меня представляет открытое общество.

В 1979 году я учредил фонд, целью которого было преобразование закрытых обществ в открытые, а также дальнейшее развитие открытых обществ и поощрение критического метода мышления.

Первая попытка, предпринятая мной в Южной Африке, не была успешной. Система апартеида оказалась внедренной столь глубоко, что действия, направленные против укоренившихся там порядков, способствовали скорее ее укреплению, чем изменению. Гораздо эффективней моя работа протекала в Центральной Европе. Я поддерживал движение Хартии-77 в Чехословакии в 1980 году и «Солидарности» в Польше в 1981 году. Я учредил особые фонды в моей родной Венгрии в 1984 году, в Китае - в 1986 году, в Советском Союзе - в 1987 году и в Польше - в 1988 году. Моя деятельность способствовала распаду советской системы. Сеть организаций, основанная мной в 25 странах, функционирует и в настоящее время (исключая Китай, где наши учреждения были закрыты в 1989 году).

Работая в условиях коммунистического режима, я не чувствовал потребности объяснять значение термина «открытое общество», те же, кто помогал мне в закладке его фундамента, понимали сущность этого общества не хуже, чем я, даже не будучи знакомы с такого рода выражением. Целью основанных мной организаций, к примеру, в Венгрии была поддержка альтернативных сил. Я знал, что господствующая коммунистическая догма ошибочна уже в силу своего догматизма, и если создать возможность для выявления иных точек зрения, она лишится сторонников. Созданные мной организации в значительной мере помогли становлению гражданского общества в Венгрии, укрепление которого привело к ослаблению и ликвидации коммунистической системы. После крушения тоталитарных режимов миссия этих учреждений изменилась. Открытое общество - более высокоразвитая, способная к совершенствованию форма социальной организации, поскольку развитие здесь осуществляется не по навязанной сверху схеме, а требует от каждого из своих членов инициативы, заботы о собственной судьбе. Переход от закрытого общества к открытому не является легким, так как закладывать основы новой социальной системы приходится тем, кто хоть и верит в преимущества свободного общества, но не привык к самостоятельной деятельности. Многие из созданных мной учреждений проделали большую работу, но не сумели добиться значительных успехов - по названной причине. К тому же западные демократы придерживались мнения, что люди должны сами решать свои проблемы. Реакция на окончание холодной войны оказалась иной, чем на окончание Второй мировой войны. Идея нового «плана Маршалла» относительно Восточной Европы даже не обсуждалась. Весной 1989 года я выдвинул подобную концепцию на конференции в Потсдаме (Восточная Германия), но был буквально осмеян.

После распада коммунистических режимов, когда обстоятельства благоприятствовали созданию открытого общества, Запад оказался не в состоянии использовать возникшую ситуацию. Новые государства, образованные на территории бывшего Советского Союза и Югославии, мало напоминают демократии западного типа. Желание достичь намеченной цели, владевшее Западом прежде, вскоре исчезло. Тем, кто защищал идею открытого общества, будь то Босния или какая-нибудь другая точка на карте Европы, западные страны соглашались предоставить лишь весьма ограниченную помощь. Что же до населения бывшего СССР, страдавшего ранее от репрессивного режима, то теперь оно в основном озабочено собственным выживанием. Гибель тоталитарного строя доказала несостоятельность его идеологии. Концепция открытого общества стала универсальной.

Эти соображения заставили меня несколько изменить свою позицию. И хотя после падения Берлинской стены моя деятельность была посвящена трансформированию бывшей коммунистической системы, мои взгляды на общество, в котором мы живем, также подверглись переоценке. Это было связано напрямую с моей практической деятельностью. Хотя сеть созданных мной организаций продолжала активно работать, я испытывал необходимость пересмотреть основы, на которых они базировались. Я пришел к заключению, что концепция открытого общества, возникшая во времена Карла Поппера, не утратила своей актуальности по сей день, однако при всем том она нуждается в определенном переосмыслении и реформировании. Открытое общество не должно рассматриваться лишь как антипод коммунизма. Термин «Открытое общество» следует наполнить более позитивным содержанием.

Новый враг

Хотя на первый взгляд коммунизм и фашизм представляются диаметрально противоположностями, поскольку коммунизм провозглашает гражданские права, фашизм же их полностью отрицает, Карл Поппер показал, что оба режима имеют большое сходство, так как используют государственную власть для подавления личности. Развивая аргументацию Поппера, я заключил, что крайний индивидуализм также угрожает существованию открытого общества. Жесткая конкуренция и слабое сотрудничество способны порождать острые противоречия и подрывать стабильность.

Повсеместная ныне вера в наше общество - это вера в магические свойства рынка. Доктрина свободно-рыночного (*Laissez-faire*) капитализма исходит из того, что интересы общества наилучшим образом обеспечиваются путем удовлетворения эгоистических потребностей его членов. Поскольку бесполезно пытаться смягчить это положение, доказывая, что общественные интересы должны превалировать над частными, наша нынешняя социальная система подвержена серьезной опасности и даже, быть может, обречена на гибель.

Хочу подчеркнуть, что я отнюдь не отношу свободно-рыночный (*Laissez-faire*) капитализм к таким категориям, как нацизм или коммунизм. Но если тоталитарные идеологи стремятся разрушить открытое общество намеренно, то свободно-рыночный (*Laissez-faire*) капитализм ненамеренно увеличивает эту опасность. Фридрих Хайек, один из апостолов свободного рынка, был страстным поборником открытого общества. Но так как коммунизм и социализм сейчас полностью дискредитированы, в отличие от него, я полагаю, что угроза со стороны свободно-рыночного (*Laissez-faire*) капитализма гораздо значительней, чем со стороны тоталитарных идеологий. Используя преимущества глобальной рыночной экономики, при которой товары, капитал и люди могут свободно перемещаться, мы пока еще плохо сознаем необходимость поддержки и защиты ценностей и институтов демократии.

Нынешнюю ситуацию любопытно сравнить с той, которая сложилась в конце прошлого века. Это был золотой век капитализма, основанного на принципах *Laissez-faire*. Впрочем, его ранний период был более стабильным. Это объясняется ролью Англии, готовой для обеспечения имперских интересов послать свои канонерки в любую точку

земного шара, причем защита собственных интересов облекалась ею в форму защиты всей системы свободного предпринимательства. Сегодня Соединенные Штаты, самая могущественная держава планеты, не желают брать на себя обязанности всемирного полицейского. Хотя, как известно, если в прошлом главным показателем мощи государства был его золотой стандарт, то теперь это - устойчивое денежное обращение и наличие арсенала средств массового уничтожения типа ракетного оружия, тем и другим Соединенные Штаты располагают. К тому же следует добавить, что свободный рынок, имевший преобладающее значение сто лет назад, был разрушен Первой мировой войной. И после окончания Второй мировой войны, когда тоталитарные идеологии окрепли и усилились, капитал практически не мог пересечь границы многих государств. В сказанном нет ничего нового, но как плохо мы учитываем исторический опыт, говорящий о реальной возможности разрушения казалось бы стабильного порядка!..

Доктрина свободного (*Laissez-faire*) капитализма не противоречит принципам открытого общества, в отличие от марксизма-ленинизма или нацистских идей, связанных с чистотой расы. Отличительной особенностью этих тоталитарных теорий является желание обосновать справедливость своих принципов, претендующих на абсолютную истину, апелляцией к науке. Однако Карл Поппер один из первых показал, что учения наподобие марксистских не могут квалифицироваться как научные. Что же до свободного (*Laissez-faire*) капитализма, то его доводы оспорить труднее, так как он базируется на экономической теории, а экономика - наиболее авторитетная из социальных наук. Принципы, лежащие в основе рыночной и марксистской экономики, не сопоставимы. Марксизм-ленинизм в основном исходит из псевдонаучных версий. В то же время, говоря о свободном (*Laissez-faire*) капитализме, я считаю совершенно необходимым остановиться на вопросах, требующих самого пристального внимания.

Наиболее важным звеном в идеологии свободного (*Laissez-faire*) капитализма является концепция, согласно которой посредством конкуренции на основе спроса и предложения обеспечивается наилучшее распределение ресурсов. Это положение считается непогрешимо-истинным. Однако свободная конкуренция, базирующаяся на спросе и предложении, предполагает наличие однородных, легко распределяемых продуктов и достаточно большое количество независимых конкурентов, каждый из которых в отдельности не в состоянии повлиять на рыночную цену. Главным в данном определении является независимость спроса и предложения. Но последнее ни в коей мере не соответствует современной ситуации хотя бы потому, что в теперешних условиях финансовый рынок активно участвует и даже играет решающую роль в распределении ресурсов. Продавцы и покупатели на финансовом рынке имеют возможность воздействовать на цены и добиваться их изменения. Эти группы (продавцов и покупателей) нельзя считать независимыми. Поэтому в данном случае принятую прежде обычную форму кривой, отражающей спрос и предложение, использовать нельзя. Участники финансового рынка руководствуются как собственным воображением, так и реальной ситуацией. То и другое базируется на неопределенности процесса, в котором они принимают участие.

Но если спрос и предложение взаимосвязаны, возникает вопрос: как определяется рыночная цена? При внимательном исследовании поведения финансового рынка мы замечаем, что вместо тенденции к равновесию цены здесь не оправдывают ожиданий продавцов и покупателей и продолжают колебаться в течение продолжительного периода, значительно отличаясь при этом от предполагаемых. Даже если при известных условиях проявляется тенденция к равновесию, она не остается такой же, какой была бы без всякого внешнего вмешательства. И однако несмотря на явные недостатки и просчеты, теория равновесия продолжает существовать без особых изменений, так как только благодаря ей экономика способна объяснить методику формирования цен. Хотя если эта концепция оказывается лишь псевдонаучным предположением, то и вывод, говорящий, что наличие свободного рынка уже само по себе приводит к оптимальному распределению ресурсов, следует считать необоснованным. Все это похоже на марксизм, который, излагая свои аргументы, тоже уповает на научную методологию.

Стремясь утвердить собственную правоту, иные ученые рассматривают социальные проблемы, руководствуясь предвзятыми взглядами. Я же считаю, что экономическая теория не нуждается в искажении реальности в угоду политическим целям. Знаменитый принцип ненадежности Гейзенберга предусматривает, что самый акт исследования препятствует естественному поведению квантовых частиц и становится причиной ненадежности результатов. Нечто подобное происходит и в социальной сфере, где мировоззренческие установки способны воздействовать на трактовку изучаемого вопроса. Именно это имеет место и в описанном выше случае, когда общепринятая экономическая теория игнорирует некоторые факты или же искажает их в интересах идеологии свободного (Laissez-faire) капитализма.

Что же до мировоззрения, откровенно враждебного концепции открытого общества, то оно умело использует неточности методологического характера для произвольного толкования фактов. Надо заметить при этом, что человечество, располагая мощным рыночным механизмом, еще не полностью осознало его значение. В мире доминирует примитивное представление о рынке, который на деле является важнейшим достижением свободного общества, обеспечивая эффективную обратную связь с производством путем оценки его результатов и корректировки ошибок.

Любая теория, декларирующая знание истины в последней инстанции, стремится опровергнуть концепцию открытого общества, хотя эта концепция сама признает присущее ей несовершенство. Чтобы сказанное носило более конкретный характер, нужно рассмотреть некоторые направления экономической мысли, содержащие угрозу нашему обществу. При этом следует остановиться по меньшей мере на трех вопросах: экономической стабильности, социальной справедливости и международных отношениях.

Экономическая стабильность

Бытующие сегодня хитроумные экономические теории исходят из сконструированного ими искусственного мира, в котором потребители и те, кто удовлетворяет их потребности, не противостоят, а существуют независимо друг от друга, соответствие же между спросом и предложением достигается благодаря колебаниям цен. Однако на финансовом рынке цены отнюдь не пассивно отражают зависимость между спросом и предложением, а играют активную роль в формировании самого спроса и влияют на возможность удовлетворения потребностей в том или ином товаре. Тем не менее идеология свободного (Laissez-faire) капитализма отрицает наличие фактора нестабильности и выступает против любых форм вмешательства в экономику, предпринимаемого правительством для сохранения экономической устойчивости. История показывает, однако, что крах финансового рынка влечет за собой депрессию, следствием чего являются социальные беспорядки. Разрушение финансового рынка приводит к негативным изменениям в деятельности центрального банка и других органов государственного регулирования. Но идеология свободного (Laissez-faire) капитализма утверждает, что крах финансового рынка вызывается не свойственной ему нестабильностью, а регулированием со стороны государства. В этом рассуждении есть рациональное зерно: раз наше сознание несовершенно, значит и регулирование экономикой не может быть эффективным. Но такая аргументация неосновательна, поскольку не в состоянии объяснить, почему главной причиной краха нужно считать именно регулирование. Следуя подобной логике, можно заключить, что так как регулирование допускает ошибки, рынок должен быть от него полностью освобожден, ибо сам по себе представляет совершенный механизм (хотя, как известно, на деле таковым не является).

Этот вывод носит чисто формальный характер, базируясь на том, что если данное решение неправильно, то противоположное обязательно справедливо. Практически оба приведенных положения не являются верными. Сохранения стабильности можно

добиться только тогда, когда будут сознательно предприняты усилия для ее обеспечения. Крах же финансового рынка в особенно тяжелых случаях может привести к возникновению тоталитарного режима.

Финансовый рынок не может существовать при отсутствии стабильности, так как при этом разрушаются все ценности, обычно побуждающие людей к активным позитивным действиям. В эпоху зарождения экономической науки, когда жили Адам Смит, Давид Рикардо и Альфред Маршалл, это соображение было самоочевидным, поскольку в то время общество имело устойчивое понятие о ценностях. Адам Смит соединил моральную философию с экономической теорией. Личные качества отдельных индивидуумов находили непосредственное отражение в рыночной деятельности, тогда как вне сферы функционирования рыночного механизма люди руководствовались устоявшимися принципами, которые были основаны на традициях, культуре и религии, но в условиях рынка не всегда диктовали рациональные решения. Зачастую им попросту невозможно было следовать при выборе различных вариантов, в связи с этим приоритеты, насаждаемые рынком, подрывали традиционную систему ценностей.

Конфликт между этими двумя системами был антагонистическим, непримиримым. По мере того, как влияние ценностей, определяемых рынком, расширялось, все труднее становилось поддерживать иллюзию того, что основой человеческой деятельности являются категории, находящиеся вне сферы рыночных отношений. Реклама, маркетинг и даже упаковка товаров сначала формируют спрос и лишь затем, в соответствии с теорией свободного (Laissez-faire) капитализма, его удовлетворяют. Не обладая четкими жизненными позициями, люди относятся в деньгам как к критерию любых ценностей. Что лучше, то дороже. Изменения в общественном сознании привели к тому, что считавшееся раньше сомнительным, заняло место фундаментальных ценностей. Многие профессии превратились в бизнес. Культ успеха подменил нравственные принципы. Общество утратило устойчивость.

Социальный дарвинизм

При наличии действующего механизма спроса и предложения идеология свободного (Laissez-faire) капитализма считает категорически недопустимым всякое вмешательство государства в перераспределение доходов. Я готов согласиться с тем, что попытки такого рода снижают эффективность рынка, однако это не значит, что их не следует предпринимать. Аргументы названной идеологии претендуют, подобно коммунистической, на знание абсолютной истины. Они базируются на том, что поскольку перераспределение отрицательно сказывается на функционировании рынка, то проблемы, возникающие в области рыночных отношений, могут быть решены простым отказом от государственного вмешательства. Точно так же коммунисты утверждают, что поскольку конкуренция порождает соревнование в выпуске одних и тех же товаров и, следовательно, трудовые затраты общества используются непроизводительно, необходимо жесткое централизованное планирование. Но универсальность любых положений всегда сомнительна. Богатство, сосредоточенное в руках немногих, рождает нетерпимость. «Деньги подобны навозу, - говорил Френсис Бэкон, - и потому их не нужно концентрировать в одном месте». А Френсис Бэкон был хороший экономист...

Аргументы идеологии свободного (Laissez-faire) капитализма, направленные против перераспределения доходов, опираются на известную теорию о выживании наиболее приспособленных. Они подкрепляются доводами, в значительной мере сводящимися к тому, что богатство передается по наследству следующему поколению, которое оказывается менее приспособленным, чем предыдущее.

Однако вряд ли можно согласиться с тем, что ведущий принцип цивилизованного общества - выживание наиболее приспособленных. Социальный дарвинизм в той же мере исходит из устаревшей теории эволюции, в какой теория равновесия в экономике исходит из положений ньютоновской физики. Теория эволюции полагает, что развитие биологических видов приводит к мутациям, исключительно мудро предопределяющим

направление их дальнейшего совершенствования. При этом каждый биологический вид взаимодействует с окружающей средой, будучи ее элементом, и таким образом обеспечивает существование других видов. Сторонники этой теории утверждают, что аналогичные процессы характерны и для человеческого общества. Разница, однако, на мой взгляд состоит в том, что движущим механизмом в истории оказываются не мутации, а ложные концепции, которые зачастую овладевают обществом. Обнаружив их несостоятельность, люди в конце концов находят правильный путь. Очевидно, социальный дарвинизм тоже относится к подобного рода ложным концепциям. Главная же мысль данной статьи заключается в том, что сотрудничество и взаимодействие должны стать неотъемлемой частью системы конкуренции, они несовместимы с лозунгом «выживания наиболее приспособленных».

Межнациональные отношения

Дефекты, присущие идеологии свободного (*Laissez-faire*) капитализма, свойственны и геополитике. Это еще одно псевдонаучное течение, утверждающее, что государственная политика должна руководствоваться не какими-либо принципами, а исключительно интересами, которые диктуются географическим положением и тому подобными факторами. Такой вывод базируется на методологии, свойственной девятнадцатому веку и страдает по крайней мере двумя пороками. Один из них коренится в том, что государство рассматривается как единое целое, примерно так же, как трактуется в экономике личность. Столь же старомодным выглядит и требование невмешательства государства в экономическую сферу - ведь в наше время все вопросы, возникающие в этой области, сплошь и рядом решаются на международном уровне. Помимо того, геополитики не в состоянии объяснить, что же случается с экономикой при распаде страны? Что, например, произошло с экономикой Советского Союза или Югославии? Существенный недостаток геополитической теории - неспособность понять, что общие интересы могут быть выше узконациональных.

Несмотря на то, что страны с посткоммунистическими режимами весьма далеки от совершенства, их можно причислить к открытому обществу. Они не пропагандируют тоталитарной идеологии и не стремятся к мировому господству. Опасность исходит изнутри, от местных тиранов, пытающихся добиться внутренней стабильности с помощью внешних конфликтов. Она может быть также следствием того, что вновь образованные государства, руководствуясь эгоистическими целями, нередко пренебрегают интересами, общими для себя и своих соседей. Так интернациональное открытое общество создает в собственных недрах своего врага.

Холодная война была причиной устойчивой стабилизации. Два блока, выражающие противоположные принципы социальной организации, боролись за мировое господство. В ходе этой борьбы они были вынуждены считаться с жизненными интересами друг друга, ибо каждая из сторон была способна уничтожить противника. Это лимитировало развитие локальных конфликтов, любой из которых мог перерасти в глобальный. В результате распада одной из сверхдержав прежняя стабильность закончилась. Мы вступили в период хаоса, который пришел на смену ранее существовавшему порядку.

Идеология свободного (*Laissez-faire*) капитализма несовместима с концепцией открытого общества, для доказательства этого нет нужды делать устрашающие предсказания относительно крушения всей мировой системы. Достаточно отметить, что демократические страны совершили непоправимую ошибку, не протянув руку помощи государствам с поверженным коммунистическим режимом. Система разбойного капитализма, возникшая в России, настолько антигуманна и незаконна, что отчаявшиеся люди готовы приветствовать харизматического лидера, обещающего национальное возрождение в обмен на гражданские права.

Опыт показывает, что разрушение репрессивного режима не приводит автоматически к становлению открытого общества. Условия существования такого

общества определяются не только тем, что здесь невозможны политические репрессии и вообще любое насилие со стороны государства, но и тем, что эта сложно организованная структура обладает механизмом, предохраняющим от подобных методов. Широко распространенная в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве идеология свободного (Laissez-faire) капитализма, очевидно, исходит из того, что создание открытого общества в России невозможно, и лидеры этих стран вполне солидарны с такой позицией. Иначе они хотя бы попытались заложить основы открытого общества во всемирном масштабе.

Во время распада Советского Союза ООН тоже имела возможность принять необходимые меры, как это планировалось ранее. В 1988 году Михаил Горбачев посетил ООН и в общих чертах обрисовал свою концепцию будущих взаимоотношений между двумя сверхдержавами и принципы сохранения мира на земном шаре. Однако ООН не использовала возникшей ситуации и тем самым полностью себя дискредитировала. Она сыграла в отношении Боснии ту же роль, что и Лига Наций в отношении Абиссинии в 1936 году.

Открытое общество испытывает потребность в средствах самозащиты посредством соответствующих институтов, но политики не признают необходимости их создания. Между тем я считаю достойным осуждения преобладающее ныне мнение, что безудержное стремление к удовлетворению личных интересов может стать основой мировой стабильности. Подобная самонадеянность не имеет права на существование. Я верю, что концепция открытого общества, обладающего механизмом самозащиты, будет внедрена в жизнь и использована на практике с помощью эффективных методов.

Возможность катастрофы

Легче определить врагов открытого общества, чем дать его развернутую концепцию. Но и без того ясно, что оно может погибнуть, сделавшись жертвой своих противников. Для защиты собственных интересов любой социальной системе необходима сплоченность ее членов, однако «открытое общество» не является обществом в традиционном смысле. Это всего лишь абстрактная идея, универсальная концепция. Как известно, существует понятие «мирового сообщества», перед которым стоит ряд проблем, важных для всего человечества, таких, как охрана окружающей среды или предотвращение войны. Но в мире, состоящем из отдельных государств, деятельность организаций глобального масштаба весьма ограничена. С одной стороны, концепция открытого общества является всемирной и не признает никаких границ. С другой - каждая страна располагает собственной системой ценностей, зависящей от культуры, религии, истории и традиций. Сохранятся ли эти ценности при отсутствии границ? Я думаю, ответить на такой вопрос может только сама концепция открытого общества. Но для этого она в значительной мере должна изменить свое содержание. Вместо того, чтобы олицетворять противоположность закрытому обществу, открытое общество должно занять промежуточную позицию, представляя собой основу для защиты прав человека и охраны общечеловеческих ценностей. Такая промежуточная позиция представляется довольно уязвимой в связи с тем, что коммунисты и националисты будут стремиться к обеспечению приоритета государственных интересов, а дальнейшее развитие свободного (Laissez-faire) капитализма может привести к повсеместной нестабильности, возникновению взрывоопасных ситуаций. Имеются и другие варианты. Например, Ли Кван Ев из Сингапура предполагает «азиатскую модель», представляющую собой комбинацию рыночной экономики с репрессивным государством. Однако во многих странах экономический контроль, осуществляемый государством, способствует непомерному росту богатства отдельных лиц, что дает повод говорить о «разбойничьем капитализме» или мафиозном государстве, являющемся новой угрозой открытому обществу.

Я считаю, что открытое общество - это общество, постоянно совершенствующееся. Мы начали с осознания собственных ошибок, относящихся не только к теоретическим построениям, но и к некоторым практическим основополагающим установкам. В

открытом обществе заложены как возможности борьбы с недостатками, так и условия для выражения противоположных мнений, что является важнейшим фактором дальнейшего прогресса. В этом открытое общество методологически сходно с наукой. Но науке присущи объективные критерии, отсутствующие в сфере человеческих отношений. Чтобы сделать выводы о реально происходящих процессах в этой области, необходимы критерии особого, высшего порядка, связанные с культурой или религией. Открытое общество не может без них обойтись. Но если большинство культур и религий относят к абсолютным только свои собственные ценности, то открытое общество, глубоко уважая различные религии, культуры и традиции, рассматривает их как общее достояние и считает каждую предметом свободного обсуждения. Поскольку открытое общество должно быть более совершенной, сравнительно с другими, формой социальной организации, оно стремится к созданию условий для свободы дискуссий. В своих убеждениях и действиях люди должны чувствовать себя свободными, причем свободу каждой личности могут ограничивать только интересы всего общества в целом. Характер и мера такого рода ограничений должны определяться на основе предшествующего опыта.

Декларацию Независимости можно считать прекрасным примером приближения к принципам открытого общества, но вместо того, чтобы утверждать, что эти принципы самоочевидны, мы обязаны учитывать, что зачастую они могут быть неверно истолкованы. Если мы признаем несовершенство нашего восприятия, следует ли полагать его надежным фундаментом для становления открытого общества как самой совершенной формы социального устройства? Я думаю - следует. Да, недостатки нашего восприятия делают недостижимым познание абсолютной истины, но если она недоступна для нашего мышления, почему мы должны считать абсолютной истиной несовершенство нашего познания?..

Этот несомненный парадокс может быть разрешен, если учесть, что тезис о несовершенстве нашего познания мы приняли на веру. При этом очевидно, что принятие положений "на веру", без доказательств, само по себе свидетельствует об относительности возможностей нашего познания. Обладая мы способностью постижения абсолютной истины, нам незачем было бы принимать что-либо на веру, как нечто данное. Но избранная нами форма рассуждений показывает, что при определении истинности отдельных положений мы исходим из некоторых тезисов, правильность которых не вызывает у нас сомнений и которые мы потому принимаем без доказательств.

Исторически верования и представления, сложившиеся у разных народов, обуславливали и методы правления. Ошибки же, коренящиеся в принятых на веру положениях, нередко бывали причиной формирования новых мнений. Верования определяют наши жизненные установки, но не делают нас навсегда приверженными заданным правилам. Если мы поймем, что наши представления не являются абсолютной истиной, а базируются на выбранных нами постулатах, мы будем терпимей относиться к чужим мнениям и станем легче изменять наши собственные в согласии с приобретенным опытом. К сожалению, большинство людей, как правило, иначе относятся к своим убеждениям. Они считают их абсолютной истиной и чувствуют себя проигравшими, если опыт жизни в открытом обществе делает абсурдными их претензии на знание истины в конечной инстанции.

В нашем сознании глубоко укоренилась мысль, что мы способны постичь абсолютную истину. Мы наделены критическими способностями, но слишком сосредоточены на себе. Исповедуя приверженность правде и моральным устоям, на деле мы поглощены прежде всего собственными заботами и интересами. Однако так как существуют такие вещи, как правда и справедливость - а мы верим, что они существуют, - мы хотим жить в соответствии с ними. Мы требуем правды от религии и теперь - от науки. Понимание того, что мы способны совершать ошибки, не может вытеснить этого неодолимого желания. Усвоение столь непростой концепции требует куда более серьезных усилий в отличие от примитивной веры в свою страну (или в свою компанию, или в свою семью).

Но если столь непросто усвоить идею о праве на ошибку в процессе познания, то ради чего к этому стремиться? Наиболее верным ответом будет: ради правильной оценки полученных результатов. У открытого общества имеется гораздо больше оснований для процветания, чем у закрытого, но успешное развитие такого общества не должно служить причиной беспредельной веры в его преимущества. Согласно моей теории, понятие успеха не равноценно понятию справедливости. В естественных науках теория считается правильной, если ее положения основаны на фактах и она обладает эффективной способностью определять дальнейшее развитие анализируемого явления. В отличие от этого в социальной сфере, где существует рефлекторная связь между мышлением и реальностью, понятие “эффективность” отнюдь не всегда совпадает с понятием “справедливость”. Как уже отмечалось, в открытом обществе культ успеха искажает представление о категориях справедливости и несправедливости, что в свою очередь порождает условия для возникновения социальной нестабильности. Именно это происходит с нашим обществом теперь. Поглощенные успехом, измеряемым количеством денег, мы не в силах почувствовать разницу между справедливостью и несправедливостью, а также отчетливо понять, какую угрозу нашему будущему представляет наше настоящее.

Разумеется, проще говорить о приоритетности собственных интересов, чем заниматься абстрактными рассуждениями о праве на ошибки в концепции открытого общества. Но следует учесть, что если важнейшими критериями нашего общества останутся рыночные ценности, то на смену его идеологии, как это уже случилось, придет идеология тоталитарных режимов.

Я верю в открытое общество, потому что оно позволяет развивать наши способности лучше, чем социальная система, претендующая на обладание истиной в последней инстанции. Откровенное признание невозможности постижения абсолютной истины создает более благоприятные перспективы для свободы и процветания, чем отрицание этого факта. Я стремился доказать справедливость положений, составляющих фундамент открытого общества, но я понимаю, что многие могут не разделять мою точку зрения. Вряд ли теория рефлекторной связи между мышлением и реальностью найдет большое число сторонников. Правда отнюдь не всегда пользуется признанием. Она приобретает первостепенное значение лишь на самом высоком уровне, когда рассматриваются вопросы, связанные со смыслом жизни, но даже в этом случае ложь может быть предпочтительней - ведь жизнь кончается смертью, которая неизбежна, но с которой трудно примириться. Можно, конечно, возразить, что если открытое общество как форма социальной организации служит для жизни человека, то закрытое скорее приспособлено для его смерти... Но в конечном счете приведенный выше анализ показывает, что предпочтение той или иной модели общественного устройства является не логической необходимостью, а результатом выбора.

Но это не все. Даже принятие концепции открытого общества как универсальной системы недостаточно для повсеместного утверждения демократии. Открытое общество - лишь фундамент, обеспечивающий как отсутствие жесткой социальной ориентации, так и сосуществование различных политических течений. Отстаивая свои убеждения, каждый обязан считаться с мнениями других людей. В противоположность закрытому обществу, где свободомыслие представляет повод для репрессивных акций со стороны государства, открытое общество гарантирует защиту разных направлений: либерально-демократического, социал-демократического, христианско-демократического или какого-либо иного демократического толка. Ничем не стесненное выражение собственных взглядов - необходимое условие свободы, процветания и других преимуществ, заложенных в социальной организации такого типа.

Может возникнуть мысль, что идеал открытого общества вообще недостижим, поскольку, как отмечалось, его концепция учитывает возможность изъянов и ошибок. Однако ведь и в науке абсолютная истина недостижима, но в этой области человечество добилось значительных успехов. С течением времени, вероятно, и открытое общество приблизится к своим основополагающим принципам.

Стремиться к тому, чтобы аргументы философского плана непосредственно воздействовали на решение злободневных социальных и политических проблем - занятие безнадежное. Но история знает подобные прецеденты. Идеалы эпохи Просвещения, будучи торжеством Разума, подготовили создание Декларации Независимости и Билля о правах, тогда как во времена Французской Революции те же идеалы стали причиной крайностей и эксцессов, которыми она сопровождалась. Таким было начало современного периода истории. Ныне же мы располагаем двухсотлетним опытом - сроком вполне достаточным, чтобы избавиться от иллюзий и осознать, что любые идеалы имеют ограниченный характер. Настало время для разработки концепций, допускающих возможность ошибочных положений. Ибо там, где разум пасует, лишь такой риск способен принести успех.

Примечание. «Laissez-faire» (собственно, «Laissez faire, Laissez passer» - «позволяйте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет)!») - доктрина французских экономистов середины XVIII в., отстаивающая принцип невмешательства государства в экономические отношения. (Выражение принадлежит французскому экономисту Гурнэ и было впервые употреблено им в 1758 г.)

Анна ГЕРТ

РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ И РАЗБОЙНЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Кавалерийская атака российских реформаторов. Некоторые комментарии к статье Дж. Сороса

Сложившаяся в настоящее время ситуация в России заставляет вновь и вновь обращаться к статье Джорджа Сороса «Капиталистическая угроза». Резкое падение производства, тяжелый финансовый кризис, опасность массовой безработицы, прогрессирующее превышение смертности над рождаемостью, рост преступности - вот далеко не полный перечень последствий недальновидной политики, направленной на стремительный переход от тоталитарного режима к демократии. Как отмечает Дж.Сорос, «разрушение репрессивного режима не приводит автоматически к становлению открытого общества. Условия существования такого общества определяются не только тем, что здесь невозможны политические репрессии и вообще любое насилие со стороны государства, но и тем, что эта сложно организованная структура обладает механизмом, предохраняющим от подобных методов».

Такого рода механизм, как известно, Россия не располагает, его создание возможно лишь на основе глубоких социально-экономических преобразований, связанных с решением таких проблем, как приватизация, внедрение принципов рыночной экономики, сокращение спада производства, сохранение демографического и культурного потенциалов. Именно поэтому, считает Дж.Сорос, переход к свободному обществу потребует значительного времени и серьезных усилий. Первоначально он даже надеялся, что Запад, так долго мечтавший о крушении коммунистических режимов, окажет финансовую поддержку бывшим тоталитарным государствам, избравшим новый путь развития. Но когда весной 1989 года на конференции в Потсдаме Дж.Сорос выдвинул концепцию нового «плана Маршалла» для стран Восточной Европы, она не нашла поддержки. В связи с этим он указывает в своей статье, что «демократические страны совершили непоправимую ошибку, не протянув руку помощи государствам с поверженным коммунистическим режимом».

Как известно, впоследствии некоторым из этих государств были предоставлены кредиты МВФ, тем не менее проводимые там реформы никак нельзя считать успешными. Усилия, направленные на форсированное развитие рыночных структур и активизацию денежных отношений, не привели к намеченной цели. Важнейшей причиной этих неудач была начавшаяся в России в 1992 году приватизация, во время которой номенклатурные чиновники, сохранившие свои позиции в государственных структурах, поспешно меняли партийные кресла на «демократические». Однако в процессе приватизации они использовали прежние, свойственные тоталитарной экономике методы кавалерийского наскока («Нет крепостей, которых бы большевики не брали!»), с той лишь разницей, что теперь главным для них было собственное обогащение. Путем разнообразных махинаций, например, продажи предприятий подставным лицам, акционирования заводов и фабрик без участия трудовых коллективов, искусственного обесценения акций и продажи их по бросовым ценам без выплаты дивидендов, они сконцентрировали в своих руках контрольные пакеты многих ведущих предприятий. Кроме того, министерства и главки зачастую объявляли себя «акционерными обществами», включая низовые предприятия в свою структуру. Так возникли такие гиганты, как «Газпром», «Лукойл» и др.

Как отмечает Дж.Сорос, «верования и представления, сложившиеся у разных народов, обуславливали и методы правления». В России за последние 75 лет привыкли к быстрому «решению» даже практически неразрешимых проблем. Поэтому рекордные сроки приватизации мало кого удивляли. Между тем процесс разгосударствления, конечно, в несравненно меньших масштабах, чем в России, наблюдается ныне во всем цивилизованном мире. Сроки его проведения диктуются интересами экономического и

социального порядка и потому, как правило, рассчитаны на длительный период. Так, например, в Канаде процесс приватизации одной из самых крупных в мире нефтяных фирм «Петроканада» рассчитан на 10-12 лет. За это время здесь создается модернизированный промышленный цикл, доводится до высшей степени производительность и качество продукции, при этом в процессе денационализации производство не останавливается и люди не теряют работу. Такой же характер имеет приватизация во Франции, Англии и других странах. В России же созданные в результате приватизации негосударственные структуры не стали работать лучше, в большинстве случаев они лишь повысили цены на выпускаемую продукцию, что, разумеется, способствовало дальнейшему росту инфляции.

Крайне негативные последствия вызвала также проведенная в самом начале рыночных реформ «либерализация цен». В условиях монополизированной системы хозяйства, оставшейся от прошлого, безудержный рост цен привел к резкому снижению доходов населения, отбросив многие социальные слои за черту бедности.

Важное значение имело и то, что при проведении реформ не был принят во внимание психологический фактор. Дж.Сорос утверждает, что трудность перехода от закрытого общества к открытому во многом сопряжена с тем, что закладывать основы новой социальной системы приходится людям, которые «хоть и верят в преимущества свободного общества, но не привыкли к самостоятельной деятельности». История России, ментальность ее народа, продолжающего сохранять докапиталистическую общинную ориентацию при отсутствии духа личной инициативы и предприимчивости, отнюдь не способствовали скачку от социализма к капитализму. Учитывая эти особенности при переходе к открытому обществу, очевидно, следовало использовать модель социально ориентированного рынка.

Стремление любыми методами расширить сферу рыночных отношений - номенклатурная приватизация, либерализация цен и ряд других мер - не только не дали положительных результатов, но вызвали ухудшение материального положения более 80% населения и привели к отрицательным последствиям практически во всех сферах деятельности: производстве, науке, культуре и т.д. Все перечисленное явилось фундаментом той системы, при которой пятьдесят олигархов присваивают более 50% производимого в стране продукта. Дж.Сорос называет эту систему «системой разбойного капитализма» и пишет, что она «настолько антигуманна и незаконна, что отчаявшиеся люди готовы приветствовать харизматического лидера, обещающего национальное возрождение в обмен на гражданские права».

Пока что надежды на становление в России открытого общества не оправдались. Экономическая деградация никак не соотносится с демократическими установками, поскольку уничтожает любые гарантии свободы и независимости личности. Более того, люди разочаровываются в самих принципах демократии и начинают мечтать о «сильной руке», новом диктаторе, который ликвидирует самые основы рыночных преобразований и вернет страну к жестким тоталитарным методам правления.

В свете событий, развивающихся в России, особый интерес приобретает взгляд Дж.Сороса на государственное регулирование. В противоположность сторонникам свободного (*laissez-faire*) капитализма, вообще отрицающим возможность нестабильности в современном капиталистическом обществе, Дж.Сорос утверждает, что поскольку «крах финансового рынка влечет за собой депрессию, следствием чего являются социальные беспорядки», которые в особо тяжелых случаях «могут привести к возникновению тоталитарного режима», государство обязано принять меры для сохранения экономической устойчивости. В отличие от идеологов *laissez-faire* (Хайек, Фридман), не допускающих вмешательства правительства в экономику, Сорос является убежденным сторонником государственного регулирования, поскольку, по его мнению, только оно способно предотвратить негативные явления в развитии рыночных процессов. Российский опыт - лишнее подтверждение правильности позиции Дж.Сороса. Здесь с самого начала проведения реформ возникла необходимость сочетания принципов экономической эффективности и социальной справедливости. Роль главного регулятора соотношения

различных форм собственности должно было осуществить государство. Однако оно устранилось от выполнения этой важнейшей функции. Ориентируясь на формирование саморегулирующихся рыночных структур, правительство отказалось от воздействия на экономику и в результате лишилось возможности остановить спад производства, контролировать уровень доходов населения и степень его занятости. Политика “невмешательства” привела к тому, что государство оказалось беспомощным даже в осуществлении своей прямой обязанности - сборе налогов. А это значит, что оно не в силах исправить положение, возникшее на финансовом рынке. За первый квартал 1998 года программа по сбору налогов была выполнена лишь на 16,5%. Российские олигархи не информируют о размерах своих доходов, их денежные счета находятся на Западе, налоги они практически не платят. Взимание налогов происходит с тех категорий населения, которые имеют низкий доход, таким образом казна оказывается лишенной необходимых денежных поступлений.

Крах рубля в августе 1998 г. явился следствием пассивной государственной политики и вызвал не только крушение многих коммерческих банков, но и резкое ухудшение материального положения большинства населения. Согласно сценарию Дж.Сороса, в этот период возросла опасность перерастания финансового кризиса в политический.

Наблюдавшиеся в 1999 г. в России позитивные сдвиги в экономике объясняются отнюдь не продуманной государственной политикой, а ростом цен на экспортируемые сырьевые ресурсы.

Хотя в странах с развитыми рыночными отношениями официально декларируется теория свободного (*laissez-faire*) капитализма, во всех государствах современного цивилизованного мира на практике осуществляется концепция Сороса, считающего, что “жесткая конкуренция и слабое сотрудничество способны порождать острые противоречия и нестабильность”, а потому необходимо использовать различные формы государственного воздействия на экономические процессы.

В свое время Франклин Рузвельт для вывода страны из депрессии отбросил принцип “саморегулирующейся экономики” и решительно встал на путь “сочетания интересов”. Его “новый курс”, как писал он в 1932 году, предусматривал не “всеобъемлющее регламентирование и планирование экономической жизни, а необходимость властного вмешательства государства в экономическую жизнь во имя истинной общности интересов не только различных регионов и групп населения нашей великой страны, но и различных отраслей ее народного хозяйства” (Артур Шлезингер, “Циклы американской истории”, Москва. “Прогресс-Академия”, 1992, стр. 342).

Ныне в тенденции мирового развития четко проявляется стратегия вмешательства на государственном уровне. При этом для современного периода характерно сочетание различных форм собственности, каждая из которых функционирует в той сфере, где результат для нее является наилучшим, государство же контролирует основные пропорции отдельных форм собственности и определяет важнейшие параметры и направления развития экономики в целом.

Вряд ли можно предположить, что российские реформаторы не были знакомы с лучшими достижениями мировой экономической теории и практики, и потому они не могли не видеть, что все предпринятые меры шаг за шагом приближают страну к ситуации, чреватой экономической и политической катастрофой. В этих условиях, как пишет Дж.Сорос, “очень важно было понять, что их “представление” не является абсолютной истиной, а базируется на выбранных постулатах”, разумеется - ложных. Однако реформаторы не могли или не желали “поступиться принципами”, не обладая широтой и смелостью взглядов, к примеру, того же Франклина Рузвельта, исходившего не из абстрактных категорий идеологии свободного (*laissez-faire*) капитализма, а из реальных интересов своей страны. Еще в 1931 году, будучи губернатором штата Нью-Йорк, он заявил: “Я считаю, что в настоящий момент наше общество должно вменить в обязанность правительству спасение от голода и нищеты тех сограждан, которые сейчас не в состоянии содержать себя”. У тех, кто, наблюдая безмерные страдания людей, уповает на принцип

laissez-faire, говорил он год спустя, “как видно, нервы куда крепче, чем, например, у меня. Такие люди в отличие от меня предпочитают верить скорее в незыблемость экономических законов, чем в способность человека контролировать творения рук своих” (Артур Шлезингер, там же, стр.342).

Мне представляется, Джордж Сорос - человек школы Рузвельта. И его статья “Капиталистическая угроза”, ставшая сенсацией в Америке и за ее пределами, продиктована не схоластическими догмами, а стремлением обобщить огромный опыт, которым располагает автор - мыслитель, филантроп, финансист.



Яков СТУЛЬ

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

КАК УПРАВЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕМ

Примерно 80% евреев, приехавших из бывшего СССР в Америку, - в той или иной степени больные люди. Помимо общих неблагоприятных условий существования - коммунальных квартир, недоброкачественных продуктов питания, катастрофической экологической обстановки в ряде районов, плохой технической оснащённости медицины, - они дополнительно испытывали гнет государственного и бытового антисемитизма. Лицемерные лозунги дружбы народов не уменьшали, а усиливали его разрушительное воздействие на психику. Американские врачи, конечно же, принимают меры, чтобы восстановить по мере возможности здоровье приехавших. Но многое зависит от самих страждущих, от их умения и желания самостоятельно управлять состоянием своего здоровья.

Прежде всего что такое болезнь? Это еще и естественная реакция организма на неразумное поведение. В медицинских энциклопедиях и справочниках о каждой болезни сообщается, какой порок поведения ее вызвал. Некоторые недуги порождаются недостаточной физической активностью. Другие - игнорированием норм санитарии. Третьи - отсутствием воли. Четвертые - неумением организовать свою работу и отдых. Пятые - скупостью и жадностью. Шестые - чрезмерной щедростью. Седьмые - неразборчивостью половых связей. Восьмые - моральной нечистоплотностью. Девятые - недалекостью. Десятые - ленью... Наши многочисленные болезни - обычно отражение, портрет нашей жизни. Ее визитная карточка. Вывод очевиден. За любой наш нынешний изъян в стиле жизни завтра последует расплата болезнями. Вы пытаетесь утверждать, что недуг возник внезапно, случайно. Не надо обманывать себя. В действительности вы его старательно подготавливали. **ЧЕГО НАМ СЛЕДУЕТ ДОБИВАТЬСЯ?** Оказывается, у разных людей - цели разные. Больной думает о том, чтобы побыстрее выздороветь. Здоровый - чтобы не заболеть. Старый - чтобы продлить свою жизнь, чувствовать себя моложе своих лет. Сейчас медицина пытается решать несколько задач одновременно: лечить заболевших, увеличивать продолжительность жизни, упреждать болезни с помощью профилактических действий, исключать недуги на длительный срок.

Цели эти складывались последовательно, по мере развития медицины. Исторически первой была - лечить заболевших. Первобытные люди залечивали раны целебными растениями. Пригодные же для врачевания инструменты появились в 3 тысячелетии до н.э. Их применение требует профессиональных знаний и опыта. Переход от любительского врачевания к профессиональному относят к этому же времени - 3-2 тысячелетию до н.э. Очень рано была высказана идея о том, что организм можно укрепить, закалить, сделать невосприимчивым к болезням. «Земля, пространство, воды, ветер, - отмечали индийские врачи-философы, - должны постоянно поддерживать тело».

В эпоху средневековья был сделан вывод о важности гигиены тела: «От того, хорошо ли следит человек за здоровьем своей плоти, зависит приход в его тело болезни».

Дальнейшее накопление медицинских знаний привело в XVIII-XIX вв. к возникновению новой науки - геронтологии, изучающей закономерности старения. От чего зависит продолжительность жизни? В состоянии ли человек увеличить ее? Со времен римского философа Сенеки (1 век н.э.), а может быть, и раньше, существовала такая точка зрения: «Прожить столько, сколько хочется, всегда в нашей власти». Один из первых геронтологов Х.В.Гуфеланд в книге «Искусство продлить человеческую жизнь» писал о роли образа жизни: «Жители какой-либо земли живут до глубокой старости, пока ведут жизнь умеренную, как пастухи или звероловы и, напротив, скорее умирают, когда предаются роскоши, праздности, распутству».

В 70-80 годах XX века в рамках геронтологии возникло направление, которое называют ювенологией. Ювенологи утверждают, что, влияя на генетическую систему человека, можно будет в будущем замедлить процесс старения. При этом, скажем, в 80 лет параметры-показатели организма будут соответствовать тем, которые присущи сейчас 40-50-летним. Некоторые ученые (обычно не медики) заявляют, что открытие механизма старения, развитие генной инженерии позволит в будущем радикально увеличить продолжительность жизни до 200, 300, 500 лет. И может быть, добиться практического бессмертия. Не будем заглядывать столь далеко.

НАШИМ ЗДОРОВЬЕМ НАМ И УПРАВЛЯТЬ. Сейчас заботу о своем здоровье мы передоверили врачам. К ним мы обращаемся всякий раз, когда чувствуем себя плохо, у нас что-то болит. Пациент, как правило, пассивен, ждет, чтобы над ним сотворили чудо. Поведение многих укладывается в стандартную схему. Сначала мы позволяем себе всякого рода излишества: переедаем, принимаем возбуждающие напитки, нервничаем по любому поводу и без него. Потом вынуждены ходить по врачам, как на работу.

Положение меняется, когда к врачу обращается здоровый пациент. Он просит провести необходимые исследования организма и совместно составить программу жизни и деятельности, т.е. порекомендовать, как работать и отдыхать, чем преимущественно питаться, какой физкультурой заниматься, как избежать стрессов и перегрузок. Врач при таком варианте отношений становится коллегой пациента, его консультантом. Отдельно следует сказать о медицинской технике. Она - посредник между врачом и пациентом. Техника во все большей мере проникает в организм человека, протезируя, стимулируя органы или же заменяя их полностью (стимуляторы сердца, аппарат «Искусственная почка», техническое сердце и т.д.). Со временем, возможно, большинство естественных органов и систем удастся заменить при необходимости искусственными, техническими. Остается только гадать, каким существом следует тогда признать человека: биологическим или техническим?

Врачам постоянно приходится решать не только конкретные медицинские проблемы, но и общие, философские: жизнь-смерть, мировоззрение, наслаждение-страдание, воля-безволие, выбор, стиль жизни и т.д. Не случайно многие врачи были одновременно и писателями, философами - Гиппократ, Авиценна, Рабле, Чехов, Вересаев, Булгаков...

ИДЕИ РАЗУМНОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ. Социологи утверждают, что уровень здоровья людей примерно на 70% зависит от них самих, от того образа жизни, который они ведут. И лишь на оставшиеся 30% от влияния наследственности, экологии, уровня врачебной помощи, государственного устройства... Как же человек может усовершенствовать свое здоровье?

ПРЕОДОЛЕЙТЕ ОДИНОЧЕСТВО. Преступников, как известно, иногда приговаривают к заключению в одиночной камере. Такой приговор считается даже более тяжелым, чем смертный. Убивающее одиночество, однако, удел не только закоренелых преступников, но и многих законопослушных людей. Ведь супруги уходят из жизни не в одно время, а поодиночке, каждый в свой срок. Тому, кто остается, приходится решать свои проблемы самому.

Еврейская Федерация Кливленда поступила мудро, организовав для пожилых ежедневный ланч. Главное здесь - возможность встретиться с друзьями, поговорить «за жизнь». Но остается еще много часов, которые люди проводят в своих «кельях», наедине с грустными мыслями. Наверное, социальные организации могли бы заполнить досуг многих интересными, полезными делами. Но и каждому из нас надо приложить некоторые усилия, преодолеть застенчивость, чтобы найти собеседника, партнера по прогулкам, играм, танцам. Те, кто лишает себя роскоши человеческого общения, существенно усложняют свою жизнь, обрекают себя на болезни одиночества (есть и такие).

КОНФЛИКТЫ ОПАСНЫ. Еврейская Федерация Кливленда создала специальную психологическую службу, которая изучает причины семейных конфликтов, защищает женщин от насилия. Известно, что служебные и семейные конфликты оборачиваются для многих инсультами, инфарктами. Целесообразно поэтому разобраться в «технологии» этого вида отношений между людьми. Противоречия между людьми естественны и полезны. Сопоставление разных взглядов позволяет найти лучшее решение. Совсем другое дело - конфликты. Принцип конфликта - досадить другому: «Чем хуже тебе, тем приятнее мне». Особенно распространены бытовые конфликты, порожденные эгоизмом супругов, если кто-то тянет одеяло на себя, другой поступает так же. При этом наносятся словесные травмы, которые подчас опаснее ножевых. Срабатывает и «маятниковый эффект»: вас оскорбили - ваш ответный удар должен быть побольнее. Как видно, надо воспитывать у людей терпимость к иному мнению, отличному от вашего. А еще лучше вовремя прекращать обсуждение проблем, которые не встречают понимания. Известный американский психолог Дейл Карнеги утверждал, что всех людей - молодых и старых - надо обучить принципам бесконфликтного общения. Он же предложил несколько интересных рекомендаций: не ворчите, не подменяйте грубостью недостаток аргументов, не навязывайте силой своих взглядов другим. Что ж, хорошие идеи. К сожалению, конфликтующие им не следуют.

ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ. Каждый человек уникален, неповторим. Он единственный в своем роде. Такого не было до его рождения. С его уходом из жизни его способности, опыт безвозвратно исчезнут. Проблема, следовательно, состоит в том, чтобы по возможности раньше обнаружить свой талант. Если не удастся сделать это в раннем возрасте, то можно и в позднем. Замечательное дело делает музыкант Семен Магарам. Он организовал хор из тех, кому за 60, причем принимает в него не только всех умеющих, но и всех желающих петь. Ваша деятельность или бездеятельность во многом определяет круг друзей, интересы, наклонности, то, как вы проводите свободное время. Согласитесь, все это имеет непосредственное отношение к здоровью, к удовлетворенности жизнью. Человек по природе своей существо разумное, увлекающееся, творческое, талантливое. Прозябание, скука для него губительны. Отыщите свой талант, дайте ему возможность реализоваться - этим вы продлите свою жизнь.

МИР - ТЕАТР, ЛЮДИ В НЕМ АКТЕРЫ. Вы, конечно, вспомнили это изречение Шекспира. Действительно, каждый играет свою роль: бизнесмена, полицейского, получателя социального пособия и ведет себя так, как требует его социальный статус - говорит нужные слова, принимает соответствующие позы... Кто-то перевоплощается талантливо. Другому это удастся хуже. Но есть одна роль, которую желательно сыграть хорошо, - роль здорового человека. Она, как и всякая другая, потребует от вас соответствующего стиля жизни: бодрости, хорошего настроения, отзывчивости, оптимизма... И все это лечит. Если вы сумеете войти в эту роль, то скоро заметите, что самочувствие ваше существенно улучшилось.

МЫ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ. Эта мысль почему-то толкуется только как возможность говорить все, что думаешь, голосовать за того кандидата в президенты, который кажется тебе лучшим. В действительности же свобода - понятие очень широкое. Она предполагает умение делать выбор поступка, дела, который укрепит ваше здоровье. Всегда ли мы находим лучший вариант поведения? К сожалению, нет. Несколько примеров, поясняющих эту мысль. Из пункта А в пункт Б ведут две пешеходные дороги. Одна в гору, другая под гору. Какую выберете вы? Если последуете совету песенки

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», то это будет неверное, неумное решение, поскольку вы отказались от возможности укрепить свою мышечную систему, сердце. По той же причине на 2-4 этаж лучше подниматься по лестнице, а не лифтом. Позвольте задать вопрос: всегда ли выбираете в магазине продукты, которые не вредят здоровью, не увеличивают содержание холестерина в крови? Вряд ли вы ответите утвердительно. Рассмотрим другую, тоже самую обыденную ситуацию - как мы утоляем жажду, что и сколько едим. Многие всем другим напиткам предпочитают кофе. Чем крепче, тем приятнее на вкус. 2 ложки - хорошо, но 4 - лучше. Но ведь биохимики и многие врачи пришли к выводу, что этот популярный продукт вреден для организма. Известно, что примерно треть пожилых людей имеет избыточный вес. Он провоцирует диабет, гипертонию, ряд других недугов. Но как мы себя ведем на различного рода праздниках, вечеринках? Никаких ограничений. Накладываем в тарелку и жирное, и сладкое. Еще проще: на вашем столе несколько блюд с разным содержанием жира, сахара, холестерина... Думаете ли вы об этих компонентах, когда утоляете голод?

КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ? Автомобиль, как и любую другую дорогую вещь, мы бережем. Сердце часто называют мотором и эксплуатируют неразумно. Перегружают неритмичной тяжелой работой, которая сменяется подчас бездельем. Накапливают калории, но не «сжигают» их, разрушают стрессами, конфликтами, травят различного рода медицинскими химическими препаратами без достаточного на то основания. Все это означает, что к самим себе мы относимся варварски. Разрушаем то, что является самым ценным и трудно восстанавливаемым. Вы сами испортили свое сердце и готовы платить любую цену за то, чтобы вам пересадили чужое. Не абсурд ли это?

МЫ ЗАСТАВИЛИ ТЕХНИКУ РАБОТАТЬ НА НАС И ЗА НАС И ПЛАТИМ ЗА ЭТО ЗДОРОВЬЕМ. В начале XX века 99% всех работ человек выполнял сам с помощью мышечных усилий и только к 1% дел привлекалась техника. В конце века это соотношение - прямо противоположное. Даже консервные банки открываем не своей, а электрической силой. За свое неразумное поведение, за стремление к безбрежному комфорту человек расплачивается сердечно-сосудистыми и иными болезнями. Как-то случайно подслушал разговор двух пожилых людей. Один: «Живу как в раю. Утром - часов в 11 - прыгаю из кровати в кресло у телевизора. Вечером, прослушав «пульс планеты», проделываю прыжок в противоположном направлении». Второй: «И как себя чувствуешь?» - «Почему-то плохо: сердце побаливает, бессонница. Обращался к врачам. Но их лекарства не помогают». Человеку невдомек, что такого рода «рай» расшатывает его организм, губителен для него. Нет, я не зову назад к сохе. Но человек должен себя обезопасить от отрицательных последствий научно-технического прогресса, найти ему противоядие.

СМЕНИТЕ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Жизнь противоречива. Плохое и хорошее, радостное и печальное перемежаются в ней. В каждом из нас уживается и прокурор, и адвокат. Мы постоянно ведем диалог с самим собой - оцениваем и переоцениваем события. Кто-то концентрирует свое внимание на мрачном, монотонном. Так складывается пессимистическое мировоззрение. Два человека смотрели через окно. Один увидел солнце, детей, играющих на площадке, яркие цветы на клумбе. Другой - грязную лужу и мусорный бак. Настроение первого было радостным, и, следовательно, все процессы в организме протекали в оптимальном режиме. Второй приучил себя все воспринимать в темных, серых тонах, и этот ущербный взгляд на мир постоянно травмирует его нервную, сердечно-сосудистую системы, деформирует психику. Пессимизм всегда губителен и для его носителя, и для окружающих. Известно, что изменение психической ориентации - сложный, но мощный процесс. Еще Марк Аврелий поучал: «Перемени свое мнение о тех вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них».

САМОКОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМ. Организм нуждается в постоянном контроле, поскольку болезнь долгое время не осознается. Ее начинают замечать лишь на поздней стадии, когда помочь уже трудно. Исследование, проведенное в США и России, показало, что многие (примерно 60%) даже не знали, что их артериальное давление значительно превышает норму. Они свыклись с ним. Специальный аппарат, если им пользуются постоянно, мог бы предупредить об опасности и побудить к соответствующим действиям.

Столь же необходимы и весы. С их помощью можно предотвратить ожирение. К сожалению, пока еще не созданы приборы, которые помогли бы каждому в домашних условиях следить за работой мозга, печени, почек... Их появление удлинило бы жизнь миллионов...

БЕЗВРЕДНЫХ ЛЕКАРСТВ НЕ БЫВАЕТ. Известно, что наркотики, алкоголь опасны тем, что организм к ним привыкает и в дальнейшем как бы требует, чтобы вы их принимали. Также и лекарства. Они подменяют естественный химизм искусственным. Вы стремитесь воздействовать на один орган и при этом травмируете другие. Значит ли это, что следует вовсе исключить лекарственные методы лечения? Конечно, нет. Их надо применять в тех случаях, когда другие методы оказались несостоятельными. Лекарство при этом остается тем злом, которое помогает избежать больших неприятностей. Еще одна проблема - дозировка лекарств. Определить точно, какое количество препарата необходимо, чтобы восстановить функции системы, преодолеть недуг, трудно, а может быть, и невозможно. Один бог знает, какое количество химии каждый из нас проглатывает зря в течение жизни. Злоупотребление лекарствами - одна из распространенных причин смерти и в прошлом, и в настоящем. В США ошибочно выписанные или неправильно принимаемые лекарства в 1992 году стоили жизни примерно 100 тысячам пациентов.

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ. Идеи разумного образа жизни проверены практикой, положительным и отрицательным опытом миллионов. Огромные его массивы, к сожалению, пропали, ушли вместе с поколениями. Сохранился же тот опыт, который связан с жизнью знаменитых людей: композиторов, артистов, писателей, философов... Они сами писали о себе. Их жизнь изучали биографы.

Кант (1724-1804) говорил и писал, что «сделал себе здоровье сам». В юности учился в латинской школе. Там была установлена строжайшая дисциплина, которую сам Кант считал чрезмерной. Но, став взрослым, он каждый свой день расписал по часам и минутам. Ровно в 5 утра вставал, в 10 ложился спать. Работал и отдыхал строго по расписанию. В продолжении почти 30 лет подобный порядок почти не нарушался. Жители Кенигсберга сверяли по его передвижениям по городу свои часы. Конечно же, подобная пунктуальность может показаться излишней. Но логичная последовательность в организации труда и отдыха необходима. Как известно, философ всю жизнь прожил в Кенигсберге. Такое внешне однообразное существование может показаться скучным. Сам же философ был доволен своей жизнью. Не ощущал ее монотонности. Каждый день за письменным столом он творил что-то новое в области этики, эстетики, теории познания.

Гете (1749-1832) в детстве часто болел. В юности разработал для себя систему, которая помогла ему стать здоровым. Свое отвращение к шуму он преодолел, «погружая» себя в него. Для этого он специально приходил в казармы, когда там били в барабаны. Головокружения, боязнь высоты были излечены периодическими подъемами на соборную колокольню. Противоположное, как утверждал еще Гиппократ, лечится противоположным. Сейчас этот метод приспособления к неблагоприятным условиям широко известен. Он во многом напоминает закаливание организма.

Лев Толстой (1828-1910). В молодости был неврастеником, болел туберкулезом. Постепенно ему удалось преодолеть все эти болезни. Писатель не гнушался крестьянского труда - бывало, и землю пахал, и воду из колодца носил, и дрова колот. Любил подолгу ходить пешком, ездить на велосипеде. Говорят даже, что однажды приехал из Москвы в свою усадьбу в Ясной Поляне на велосипеде. Тогда ему уже было 65. Еще в одном отношении интересен опыт писателя. Он применил метод переключения с одного вида деятельности на другой. Биографы утверждают, что азбука для крестьян, статьи по вопросам нравственности были написаны тогда, когда чувствовалась усталость от литературной работы. Письма Льва Николаевича родным показывают, что он постоянно критически оценивал свой образ жизни, стремился его усовершенствовать. Во многих письмах, написанных в молодом возрасте, встречается в разных вариантах такая фраза: «С завтрашнего дня начинаю новую жизнь». Лев Толстой является создателем философии физического и нравственного совершенствования. «Работа над собой, - писал он, - самая главная и радостная».

Эдисон Томас Альва (1847-1931). Известно, что когда американского изобретателя начали подводить слух, память, он разработал системы, которые помогли ему частично преодолеть этот порок. Изобретатель крайне отрицательно относился к лекарственной медицине. Считал, что медицина будущего откажется от лекарственных препаратов в пользу диеты, соответствующего режима. Всю жизнь очень много работал. Начал с 12 лет разносчиком продуктов, газет, журналов в вагонах железной дороги. С 21 года профессионально занимался изобретательством. Получил патенты на 1093 изобретения. Успех в делах, оптимизм, ощущение полноты жизни помогли ему преодолеть перегрузки, вредные привычки (жевал табак, курил) и прожить 84 года.

До сих пор разговор шел об историческом опыте. Еще интереснее идеи живых.

Лучано Паваротти родился 12 октября 1935 года. «Я люблю жить. Что бы ни случилось, я не становлюсь пессимистом и не отчаиваюсь». Мужественно переносит невзгоды - тяжелую болезнь дочери Джулии, смерть близкого друга, творческие неудачи. Многие годы артист с переменным успехом борется с избыточным весом. Когда позволяет здоровье, играет в теннис. Старается управлять своим здоровьем со знанием дела: собрал в своей библиотеке книги по медицине, философии здоровья. Сейчас артисту 64 года. Он в расцвете сил. Много работает. Каждый его день расписан по часам, жизнь приносит ему удовлетворение и может служить образцом для многих.

Счастливые люди, как правило, более здоровы, чем те, кто считает себя неудачником, обиженным судьбой и людьми. В одной из книг Дейл Карнеги утверждал, что великий ученый Альберт Эйнштейн был счастлив. У него была любимая работа, скрипка, игра на которой приносила ему радость. И лодка под парусом. Исследователи, изучая образ жизни других долгожителей (Демокрит - 109, Тициан - 99, Микеланджело - 90, Смайлс - 90, Гоббс - 92, Верди - 88, Ньютон - 84, Спенсер - 83, Айвазовский - 82, Коперник, Гарвей - 80, Галилей - 78, Леонардо да Винчи - 75), всегда обнаруживают позитивные моменты в их образе жизни, нравственных установках, характере, мироощущении.

Наряду с положительным опытом великих есть и другой - отрицательный, который тоже по-своему поучителен.

Джек Лондон (1876-1916). Девизом его жизни могли быть изречения: «Пожить недолго, но весело», «Не засиживаться в обществе собственного трупа». Родился в бедной семье. Нужда заставила его менять профессии, занятия. Был бродягой, матросом, золотоискателем, рабочим, журналистом, несколько раз сидел в тюрьме... Все эти впечатления стали материалом множества повестей, рассказов, романов... Писал, как и жил, взахлеб. Поставил перед собой цель писать по 1000 слов в день. Иногда доводил эту норму до 4000. Такой темп предполагал 19-часовой рабочий день. В разные периоды жизни случались запои, наступали периоды жесточайшей депрессии. Возможно, что такую цену приходится платить тем, кто работает на пределе возможного. Несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, но в последний момент что-то спасало. В последние годы тяжело болел уремией и многими другими болезнями. В американской энциклопедии утверждается, что 22 ноября 1916 года он принял сознательно смертельную дозу морфина. В других источниках факт самоубийства отрицается.

Элвис Пресли (1935-1977). Один из создателей нового направления в музыке, получившего название рок-н-ролл. Завоевал популярность особенно у молодежи, которая считает его своим кумиром. Жил страстями. Игнорировал какой бы то ни было режим. Лечился от явных болезней - лишнего веса, бессонницы и еще от многих мнимых. Постоянно принимал сильнодействующие лекарства в больших дозах, неумеренно питался. В последние годы жизни весил 250 фунтов. При таком весе сердце и остальные органы работают со значительной перегрузкой. Неизбежна и закупорка кровеносных сосудов. Поздним вечером 15 августа 1977 Пресли скончался в своем доме в Мемфисе. Подобная смерть была закономерным итогом такого рода стиля жизни, поведения. Вскрытие показало, что организм был полностью разрушен лекарствами, едой и страстями. И это в 42 года.

Иосиф Бродский (1940-1996). Его образ жизни и болезни типичны для многих. К 50 годам начало подводить сердце. Потом инфаркт. Бросить курить, перейти на диету воли не хватило. Исследование показало, что три из четырех артерий забиты холестерином. Далее следует серия более или менее удачных операций на сердце. Жизнь продолжается. Но все время преследует страх смерти: «Такое ощущение, что ты уже побывал в загробном мире и встретился с миллионами ушедших до тебя». В одном из интервью поэт рассказал о том, какая мысль его успокаивала перед операцией: «Я сказал себе: «Ну да, конечно, это сердце... Но все-таки ведь не мозг? Это же не мозг?» Для творческого человека потерять способность мыслить страшнее смерти. В 56 лет сердце исчерпало свои возможности и остановилось.

Еврейская энциклопедия приводит результаты исследования болезней сердца у представителей различных национальностей и религий. «Склонность к склерозу коронарных артерий сердца у евреев на 50% выше, чем у католиков, и на 30% выше, чем у протестантов». Здесь же дается объяснение. Считается, что это связано с повышением уровня жизни, уменьшением физической нагрузки и увеличением напряженности ритма жизни. У евреев эти тенденции, как видно, проявляются более рельефно, чем у других наций и религиозных групп.

Люди научились более или менее удачно решать общественные проблемы, создавать мощные компьютеры, космические летательные аппараты, однако управлять собой, своим организмом они как следует еще не умеют. Альтернативы самоуправлению здоровьем нет. Только усовершенствовав стиль, структуру, образ своей деятельности, можно избежать болезней, создать условия для полноценной продолжительной творческой жизни.

ИЗ ЗАБЫТОГО

П.Я. ЧААДАЕВ О МОИСЕЕ

Из седьмого философского письма

...Вернемся, однако, сударыня, к тем крупным историческим личностям, которым, как я вам говорил наперед, история, по моему мнению, не отводит подобающих им мест в воспоминаниях человечества. У вас должно было получиться лишь неполное представление об этом предмете. Начнем с Моисея, самой гигантской и величавой из всех исторических фигур.

Слава Богу, прошло уже то время, когда великий законодатель еврейского народа был даже в глазах людей, претендующих на глубокомыслие, не более как существом какого-то фантастического мира, подобно всем этим героям, полубогам и пророкам, каких мы встречаем на первых страницах истории всякого древнего народа, - не более как поэтическим образом, в котором историческая мысль должна открыть лишь то, что он представляет поучительного как тип, символ или выражение эпохи, к которой его относит человеческая традиция. В настоящее время нет никого, кто бы сомневался в исторической реальности Моисея. Но тем не менее несомненно, что священная атмосфера, окружающая его имя, вовсе неблагоприятна для него, так как она мешает ему занять подобающее ему место. Влияние, оказанное этим великим человеком на род человеческий, далеко еще не понято и не оценено надлежащим образом. Облик его слишком затуманен таинственным светом, который его окружает. Благодаря тому, что его недостаточно изучали, Моисей не представляет того назидания, какое обыкновенно дает нам созерцание великих исторических личностей. Ни общественный человек, ни частное лицо, ни мыслитель, ни деятель не находят в истории его жизни всего поучения, которое в ней содержится. Это - следствие привычек, сообщенных уму религией и придающих библейским фигурам сверхъестественный вид, что заставляет их казаться совсем не такими, каковы они в действительности... Личность Моисея представляет, между прочим, какое-то необыкновенное смешение величия и простоты, силы и добродушия и особенно суровости и кротости, дающее, на мой взгляд, неисчерпаемую пищу размышлению. Мне кажется, что в истории нет другого лица, характер которого представлял бы соединение столь противоположных свойств и способностей. И когда я размышляю об этом необыкновенном человеке и о том влиянии, которое он оказал на людей, я не знаю, чему более удивляться: историческому ли явлению, виновником которого он был, или духовному явлению, каким представляется его личность. С одной стороны - это величавое представление об избранном народе, то есть о народе, облеченном высокой миссией хранить на земле *идею единого бога*, и зрелище необычайных средств, использованных им с целью дать своему народу особое устройство, при котором эта идея могла бы сохраниться в нем не только во всей своей полноте, но и с такой жизнедеятельностью, чтобы явиться со временем мощной и непреодолимой, как сила природы, пред которой должны будут исчезнуть все человеческие силы и которой когда-нибудь подчинится весь разумный мир. С другой стороны - человек простодушный до слабости, умеющий проявлять свой гнев только в бессилии, умеющий приказывать только путем усиленных увещаний, принимающий указания от первого встречного; странный гений, вместе и самый сильный, и самый покорный из людей! Он творит будущее, и в то же время смиренно подчиняется всему, что представляется ему под видом истины; он говорит людям, окруженный сиянием метеора, его голос звучит через века, он поражает народы как рок, и в то же время он повинуетя первому движению чувствительного сердца, первому убедительному доводу, который ему приводят! Не поразительно ли это величие, не единственный ли пример?

Это величие пытались умалить, утверждая, будто вначале он помышлял лишь об освобождении своего народа от невыносимого ига, хотя и отдавали при этом должное

героизму, выказанному им в этом деле. В нем старались видеть не более как великого законодателя, и, кажется, в настоящее время его законы находят удивительно либеральными. Говорили также, что его бог был только национальным богом и что он заимствовал всю свою теософию у египтян. Конечно, он был патриотом, да и может ли великая душа, каково бы ни было ее призвание на земле, быть лишенной патриотизма? К тому же есть общий закон, в силу которого воздействовать на людей можно лишь через посредство того домашнего круга, к которому принадлежишь, той социальной семьи, в которой родился; чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь. Чем более непосредственно и конкретно нравственное воздействие человека на его ближних, тем оно надежнее и сильнее; чем индивидуальнее слово, тем оно могущественнее. Высшее начало, двигавшее этим великим человеком, ни в чем не познается так ясно, как в безусловной действительности и верности тех средств, которыми он пользовался для осуществления предпринятого им дела. Возможно также, что он нашел у своего племени или других народов идею национального бога и что он воспользовался этим фактом, как и многими другими данными, почерпнутыми им в прошлом, чтобы ввести в человеческий ум свой возвышенный монотеизм. Но отсюда не следует, что Иегова не был и для него, как для христиан, всемирным богом. Чем более он старается замкнуть и изолировать этот великий догмат в своем племени, чем более он прибегает для достижения этой цели к необычайным средствам, тем яснее выступает во всей этой работе высокого ума глубоко универсальный замысел - сохранить для всего мира, для всех грядущих поколений понятие о едином боге. Среди господствовавшего тогда по всей земле многобожия можно ли было найти более верное средство воздвигнуть истинному богу неприкосновенный алтарь, как внушить народу, ставшему хранителем этого святилища, расовое отвращение во всякому племени идолопоклонников и связать все социальное бытие этого народа, всю его судьбу, все его воспоминания и надежды с одним этим принципом? Прочитайте с этой точки зрения Второзаконие, и вы будете изумлены тем, какой свет оно проливает не только на систему Моисея, но и на всю философию откровения. В каждом слове этого необыкновенного повествования видна сверхчеловеческая идея, владевшая умом автора. Ею объясняются также те ужасные поголовные истребления, которые предписывал Моисей и которые так странно противоречат мягкости его природы и кажутся столь возмутительными философии еще более непонятливой, чем безбожной. Эта философия не постигала того, что человек, являвшийся столь дивным орудием в руке провидения, доверенным всех его тайн, не мог действовать иначе, чем действует само провидение или природа; что для него эпохи и поколения не имели никакой цены, что его миссия заключалась не в том, чтобы явить миру образец правосудия или нравственного совершенства, но в том, чтобы внести в человеческий ум необъятную идею, которая не могла родиться в нем самостоятельно. Не думают ли, что, когда, заглушая вопль своего любящего сердца, он приказывал истреблять целые племена и поражал людей мечом божественного правосудия, он был озабочен лишь расселением тупого и непокорного народа, который он вел за собой? Поистине превосходная психология! Как поступает она, чтобы не восходить до истинной причины рассматриваемого явления? Она избавляет себя от труда, совмещая в одной и той же душе самые противоречивые черты, соединения которых в одной личности ей на деле никогда не приходилось наблюдать!

Что нам за дело, впрочем, до того, почерпнул ли Моисей некоторые указания из египетской мудрости? Что за важность, если он и помышлял сначала лишь об освобождении своего народа от ига рабства? Разве от этого становится менее достоверным тот факт, что, осуществив среди этого народа идею, либо заимствованную им со стороны, либо почерпнутую в глубине собственного духа, и окружив ее всеми условиями нерушимости и вечности, какие только можно найти в человеческой природе, он тем самым дал людям истинного бога, и, следовательно, род человеческий всем своим умственным развитием, вытекающим из этого принципа, бесспорно обязан ему?..

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АВЕРБУХ ИСАЙ. Родился в Киргизии, где семья была в эвакуации. Вырос в Одессе. Жил также в Караганде, Москве, Риге. По образованию - историк и филолог. В 1971 г. репатриировался в Израиль. В Иерусалимском университете занимался исследованиями по истории российского еврейства. Был членом кибуца, девять лет работал в сельском хозяйстве. Служил в израильской армии. Ныне работает преподавателем еврейской истории и экскурсоводом. Живет в Иерусалиме. Публиковался в журнале "Сион" (Израиль), "Новом журнале" и газете "Форвертс" (США).

ВИЛСОН(ФАЛЬКОВА) ЗОЯ. Родилась в Харькове. Жила в Ленинграде. Окончила институт культуры по специальности режиссер. Преподавала сценическое искусство. Занималась поэтическими переводами с идиш, украинского, азербайджанского, татарского. Издала сборник стихов "Самое-самое". Эмигрировала в 1994 г. В США. Живет в Кливленде, печатается в русскоязычной прессе. Учится на режиссерском факультете университета.

ГЕРТ АННА. Родилась в Харькове. Окончила Московский экономо-статистический институт. Преподавала статистику и экономику в Институте народного хозяйства в г. Алма-Ате. Статьи на темы, связанные со статистикой, экономикой, национальными проблемами, публиковались в специальных изданиях и периодике. Эмигрировала в США в 1992 г. Живет в Кливленде. Печатается в русскоязычной американской прессе.

ГЕРТ ЮРИЙ

Прозаик, публицист. Родился в Астрахани. Жил в Москве, Вологде, Казахстане. В 1992 г. эмигрировал в США. Жил в Кливленде. Автор романов "Кто, если не ты?", "Приговор", "Ночь предопределений", "Лабиринт", книги документальной публицистики "Раскрепощение", романа-эссе "Эллины и иудеи" (1997 г.), сборника рассказов "Северное сияние" (1997 г.), "Лазарь и Вера". Публикуется в русскоязычной американской прессе

ДОМБ СВЕТЛАНА. Родилась в Куйбышеве (Самара). Окончила филологический факультет Одесского университета. Преподавала эстетику и философию. Ее статьи публиковались в сборниках молодых ученых Академгородка Сибирского отделения Академии наук СССР. Эмигрировала в США в 1987 г. Живет в Минеаполесе штате Миннесота.

ЕДИДОВИЧ ВЛАДИМИР. Родился в Вильно, в семье еврейского общественного деятеля, педагога. Участник войны. Инженер-электронщик, кандидат технических наук. Работал в Академии наук СССР. Опубликовал более ста работ по научно-техническим проблемам. Эмигрировал в США в 1992 г. Основатель и главный редактор еврейского еженедельника на русском языке "Форвертс". (1995 – 2000).

КОЛКЕР БОРИС. Родился в Тирасполе (Молдавия). Окончил Кишиневский университет по специальности русский язык и литература. Кандидат филологических наук. Переводчик научно-технической литературы. Автор трех учебников языка эсперанто. Член Академии эсперанто. Эмигрировал в 1993 г. Живет в Кливленде.

ЛИПКОВИЧ ЯКОВ. Прозаик, драматург, публицист. Родился в Киеве. Жил и работал в Ленинграде. Участник войны. Окончил Ленинградский университет, филологический факультет. Эмигрировал в США в 1992 г. Живет в Кливленде. Автор повестей, рассказов, очерков, пьес. Публиковался в журналах "Звезда", "Нева", "Аврора". Книги: "Забытая дорога", "Только пять дней", "И нет этому конца", "Три повести о любви", "Так мало нас осталось", "Академики вы мои академики..." и др. Пьесы: "Несносный характер", "А над крышами - небо" и др. Широко публикуется в русскоязычной американской прессе.

МАЙСКАЯ ТАМАРА. Детство провела в Ленинграде, пережив блокаду. Потом переехала в Москву, где окончила филфак МГУ, работала преподавателем. Эмигрировала в США в 1974 г. Свои рукописи ей удалось вывезти лишь с помощью сотрудников американского посольства. В США у нее вышли три сборника: "Погибшая в тылу", "Корабль любви" и "Сто дней в России". Сборник "Боже, благослови Америку" вышел в России в 1992 г. Тамара Майская регулярно публикуется в русскоязычной прессе США. Живет в Кливленде.

РАХЛИС ЛЕВ. Детский поэт. Долгие годы работал доцентом на кафедре Челябинского института искусств и культуры. С 1993 г. живет в Атланте, редактирует газету "Русский дом". Издал пять книг для детей.

СОРОС ДЖОРДЖ. Родился в Венгрии, в еврейской семье. Изучал философию в Лондоне под руководством Карла Поппера. В 1956г. переезжает в США, становится обладателем крупного капитала и позже всемирно известным финансистом. Будучи убежден, что российская система образования - одна из лучших в мире, выделил в помощь ученым СНГ 120 млн.долларов.

СТУЛЬ МАРИНА. Родилась в Крыму. Доктор искусствоведения. Читала курс истории театра в институте искусств Челябинска. Опубликовала шесть книг по проблемам воспитания творческих способностей средствами искусства. Эмигрировала в США в 1992г. Живет в Кливленде. Печатается в периодических изданиях США.

СТУЛЬ ЯКОВ. Родился в Киеве. Участник войны. Доктор философских наук. Преподавал философию в институтах Баку, Ярославля, Омска, Челябинска. Автор книги "Как управлять здоровьем". Печатается в журналах и газетах Америки.

ТАМАРИНА РУФЬ. Родилась в Одессе. Многие годы прожила в Алма-Ате. В настоящее время живет в г.Томске (Россия). В 1937г. был расстрелян ее отец, арестована мать. Училась в литературном институте. Добровольцем ушла на фронт. В 1948г. была арестована по обвинению в антисоветской деятельности, приговорена к 25 годам лагерей. В 1956г. была освобождена по реабилитации. Среди книг, изданных Руфью Тамариной, - "Жизнь обычная", "Избранное", "Щепкой - в потоке" (книга лагерных мемуаров).

ФУРШТЕЙН ИСААК. Историк еврейского народа и иудаизма. Родился в Молдавии. Жил в Ленинграде, где перенес блокаду. Долгие годы работал главным инженером проектов. В 1983 г. эмигрировал в США. Живет в Кливленде. Его статьи по истории еврейского народа и иудаизма публикуются в периодических изданиях США. Ведет семинар и читает лекции по истории еврейского народа и его культуре.

ЭСТЕР КОЛКЕР. Фотографии к очерку о Кливленде.